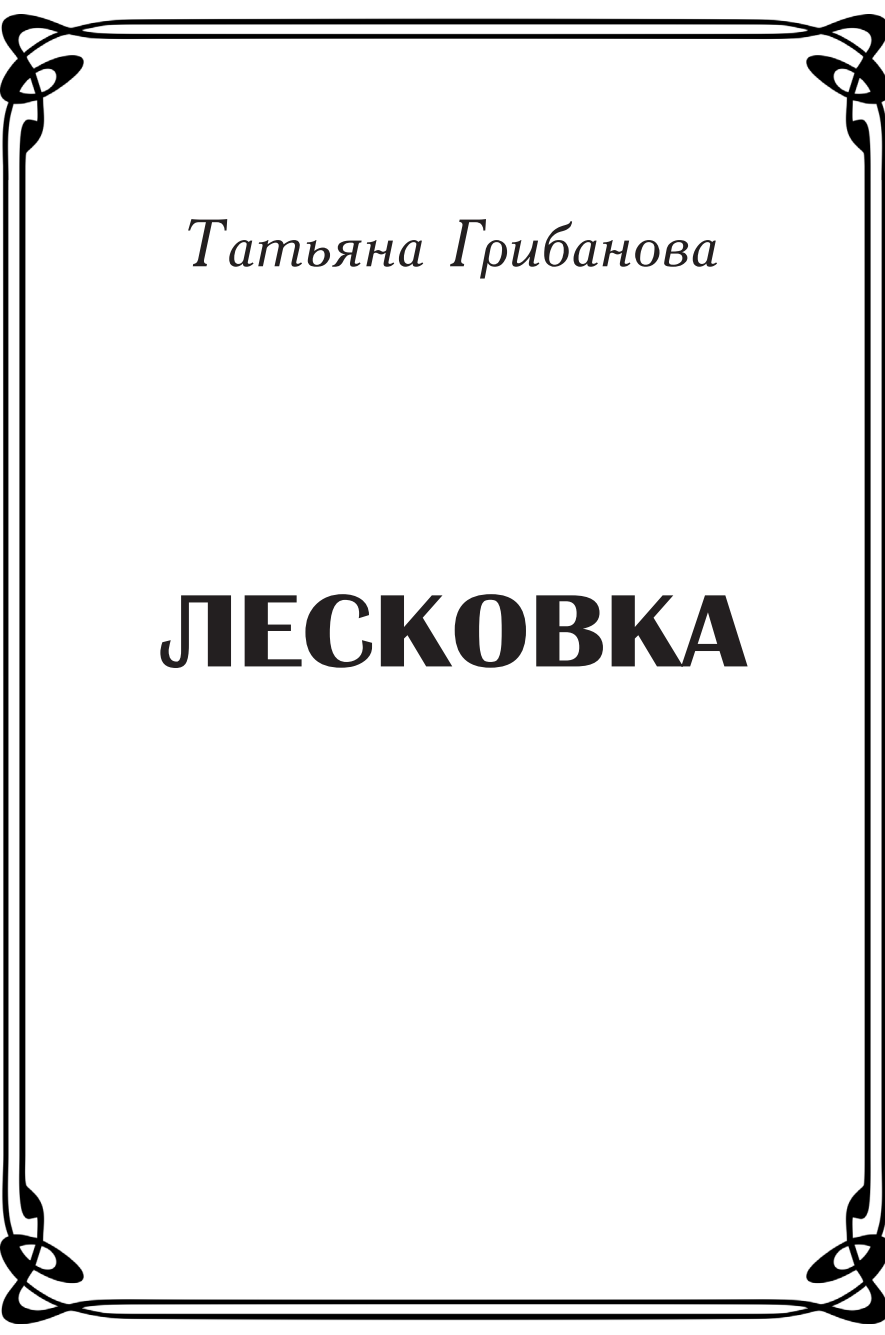




Татъяна Грибанова

ЛЕСКОВКА



Suzanne

Татьяна Грибанова

ЛЕСКОВКА

ДЕРЕВЕНСКИЕ РАССКАЗЫ

УДК Р
ББК 84(2)
Г 82

ISBN 978-5-91468-136-1

Оформление художника Грибановой Анны Александровны.

Г 82 Грибанова Т. Лесковка. Деревенские рассказы. – Орел:
Издательский Дом «Орлик», 2013. – 260 с.

Рассказы Орловского писателя Татьяны Грибановой отдают уже утраченной русской прозой свежестью. Это сбережённая классическая традиция в реалиях нового времени. Русский уклад, русская речь и родной язык, как они были и как ещё есть в неизъяснимой прелести и завораживающей простоте – вот центр, вот в чём философия, загадка и расшифровка настоящей книги.

Рассказы Татьяны Грибановой широко печатались в толстых литературных журналах Москвы и России – в «Нашем Современнике», «Молодой гвардии», «Московском вестнике», «Сельская новь», «Родной Ладогге», «Подъёме» и многих других.

ISBN 978-5-91468-136-1

УДК Р
ББК 84(2)
Г 82

© Грибанова Т.И., 2013
© Грибанова А.А., 2013
© Издательский Дом «Орлик», 2013

ТАК ПТИЦЫ БОЖЬИ ПОЮТ...

Литература полна самых разных и противоречивых целеуказаний и знаков судьбы. Для меня ясно одно. К знамениям, посылаемым свыше, стоит прислушиваться. И следовать прекрасному, ужасному ли, но своему гештальту. Зов свыше не бывает случайным.

Так автор трёх книг стихов, с недурными отзывами, Татьяна Грибанова вдруг почти оставляет поэзию, вопреки упрекам и предостережениям друзей, и обращается к «низкому» жанру – прозе, к одной, другой вещице, и вот уже целиком погружается в стихию рассказа, пишет, верно, ночами, напролёт, безотрывно и захлёб...

Что же на выходе?

«На веранде пахло оттопленным вишнёвым листом. Готовились варить «царское» варенье. Усевшись на маленькую скамеечку, я с утра вычищала шпилькой крыжовник.» («Рой»)

«Окошко растворяется и рисованные красногрудые петушки на голубых ставнях разлетаются ещё дальше в стороны. Из-за тюлевой занавески слышится: «Настёна! Зорьку не прогляди!» И оттуда же:

«Наконец, хозяйки разбирают кормилиц, циркают о подойники вечёришником. Пыль опадает на росные подорожники, деревня утомливается. Но запах молока, запах разгоряченного стада ещё долго плывёт по закоулкам.

Бабуля процеживает удой, сдувает пену. Ставит на стол две кружки: перед Настёной красненькую в горошек, а перед Васей – синенькую с золотой пчёлкой.

– Помочники мои безотказные! Пейте на здоровьице. Нынче молочко душицей пахивает. Видать, Петро в Ярочкиной балке пас. Там травки этой видимо-невидимо. От сорока болестей. Пейте, силушки набирайтесь».

Вот такая и проза у Татьяны Грибановой, парная еще, пахнущая молоком.

Травами и туманами. Свежая, душистая.

Вся книга, написанная словно на едином выдохе... Писалось, как выпевалось. Так птицы божьи поют по садам.

Мне бы хотелось обратить внимание именно на эту особенность письма Татьяны Грибановой, его безыскусность. И при безыскусности – безусловную красоту.

То, что кажется простым, вообще с трудом поддаётся нашей реакции, то есть анализу и толкованию.

Боюсь, что и сейчас не смогу дать сколь-нибудь вразумительного объяснения феномену языка Татьяны Грибановой. Меж тем как, по моему

разумению (вообще и в данном случае в частности), именно по нему пролегал дискурс, тот срез, через который нам чудится (или, может быть, таков он и есть) феномен Бога и образ целого мира.

Так вот. Автор не ищет слов, они сами его находят. Привычные и обыденные, принятые в быту. Но это устоявшийся быт деревенской жизни. И что же может быть проще, роднее и слаще его? Здесь каждая вещь покоится на своем излюбленном месте, в избе, на подворье (стоит и цветет в поле, прячется, темнеет в лесу). И каждая знакома до боли, на ощупь, до истертости и последней щербинки, вплоть до материала, из коего она изготовлена, вплоть до плотности его и рельефа, таких свойств, как запах, тепло... И соответственно сам народ расстарался для напевного, здесь убойного, там калиброванного, тут объемного, здесь неизъяснимого и полного тайны и прелести поименования и соответствующих единственных на земле, неповторимых определений. Так что слова эти самые округлые, самые красные и ядреные. Так народ определил их и так язык выточил их. И здесь чтобы красно и внятно говорить о мире, ничего и не нужно, как только называть вещи – своими, данными им от века именами (вот, собственно, чем и занимается автор настоящей книги), как только владеть данным тебе от природы языком, не предавая его забвению.

Вообще вся наша жизнь (как она может быть наиболее верно, точно и полно выражена) – в *родном* для нас словаре. Все бытие.

Оттого оно так полно в книге.

Оттого так тепло и уютно здесь среди этих божниц, махоток, кринок, кубанов, кубарей, липовых прялок, пеньковых вожжей, грушевых трубочек, ореховых костыльков. Это наш русский быт. Это наш русский мир. В нем яблонька – медовая, ландыши в тени дульки (груши) – белоснежные, «вербочка – свечонная», «веснушчатые – зонтики укропа», о дно эмалированной кастрюльки звенит «ядреная рябая фасоль», «сальце – морозовое» (тут и розовость, и мороз), «самосадик с донником», «лето порскает рыжей куропаткой», а «пригорок рыжий от зверобоя», здесь слева «Косёнихин шиповник», справа «кипрейник-погорелец», посередке «зарозовело, вспенилось гречишное поле».

Здесь язык, впитанный с тем же молоком (матери). Только и всего. Нужно было не изменить ему. Здесь жизнь, которая творилась рядом, на удивлённых изумлённых глазах. Просто. Нужно было не пройти мимо неё. Здесь красота, разлитая в воздухе, нельзя же было не дышать ею. И затем выдыхать из себя. Здесь деревня. Наша. Среднерусская. Какой её увидела девочка, подросток, далее городская образованная женщина, навещающая в селе каждую неделю любимых, уже предстоящих Богу, родителей (чаша будет испита до дна). Вот она, тайна «безыскусной» (да с дурманом русского языка) прозы. Да русской, как она есть, жизни. Со счастьем её, и с её дурманом, и с её разором. Три поколения много вместили в себя.

Мозаика, составленная из первых проб пера, из миниатюр – зарисовок, заметок, былей, и далее уже из полновесных и полноценных рассказов, по ходу своего развёртывания сложилась в целостную картину, в своеобразную повесть, или, если хотите, оду (Виктор Астафьев) русской деревне, – «Июньским вечером», «От рождества до Покрова», «Пчелиный батёк»; хотите, небольшую и все-таки энциклопедию (Беловский «Лад») уклада деревенской

жизни – «Рой», «Тришка», «Квас»; хотите, плач по нашей деревне и русской земле – «Заноза», «На хуторе Дальнем».

Может, это авторская непосредственность, но, скорее, сознательный акт. Как бы то ни было книга обязана автору *сквозными* героями, которые являясь в одном рассказе в качестве главных, в другом выступают в роли второстепенных, вовлекая в свою орбиту новые лица, в третьем на смену им приходят их дети и внуки, и т.д. Так создается набросок своеобразной саги...

На это же работает и единство времени и пространства. Рассказы – из одного, единственного, так сказать, угла России. Если не медвежьего, не разбойничьего, то определённо с норовом. Не дремучего, но шибящего русским духом, на крутом замесе. И край не то что бы непролазный, как, скажем, та же Мещера, меж Клязьмою и Москвой, – посветлее (ибо Орловский), но тоже таинственный, и тоже – из самой серёдки державы, – ещё остались, ещё не перевелись такие углы, как ни странно, в самом сердце России...

Это где-то за Гнездилово. Между Закамьями и Копытцем. Меж Гнилым болотом и болотом Моховым. Через Леший брод, через Савин и Ярочкин лог, вдоль ручья Жёлтого, через Филькин овраг, вот он уже Игинский пруд да над ним Мишкин бугор с глазастой дозорной избою, откуда, если встать на заре, навсозвз просматриваются окрестности. Стоят как на ладони. Так Фолкнер по толике собирал и составлял свою эпическую и грандиозную географию. Так наш автор уже собирает и обустривает русский мир. Но здесь топонимика – составная часть и продолжение собственно народного словотворчества. Народной приметливости. Как имена давались народом, так отозвались в книге. Каждую точку легко найти и определить на месте, – здесь ничего не придумано, можно сверяться с военными картами. И снова ничего лишнего, нарочитого и литературного. Как оно сложилось, так есть. И опять же и вместе. Так просто.

Но вот, пожалуй, что в этом самое дивное. Поучительное и бесценное. Что отдаёт сугубо нашим национальным менталитетом, или строем души, нашей склонностью к созерцательности, нашей русской предметной и неизбывной тягою к красоте, обусловленными мессианской жаждой всемирной гармонии и равновесия. Эти пространства, как они даны в книге, они в точности так же *обжиты* (вообще мужиком и в частности нашим автором), как у иных хозяев подворье. Натоптаны и исхожены. И как в избе каждая вещь, так здесь каждый бугор, каждая яма и даже выемка наперечёт. Каждый карасиный пруд. Каждое урочище, каждый лог с зарослями куманики. Каждая дичка, вроде лесковки. Или лещинки. Каждая обласкана взглядом и обихожена. Для иного глаза здесь всякое деревце, что в избе иконка. Это почти избыной быт. Только под небом. Только обширный. Вот так было у наших предков. И даже еще и до сих пор оно может быть так. Здесь, как она была и как есть – наша жизнь. Но не в узких и тяжких поселеньях городских бетонных гробниц. Городской быт – это такое завуалированное и цивилизованное погребение, он как вживе смерть. Книга как дверь – в ясный, в солнечный, в Божий мир. Мы забываем, мы почти забыли эту русскую даль. Эту ширь. Этот воздух. Этот свет (благодатный). С ним и в нём – наше возрождение.

Конечно, все не так, чтобы вовсе уж просто. Тут ведь вот какая закавыка. Только два соображения.

Да, есть такие утилитарные, или высокие вещи, которые и вправду – на подворье, в избе – всегда на виду. Как Божница в Красном углу... Но есть и другие, они лежат до срока в подвалах, в загашниках, по овинам и в омшаниках, и обнаруживают себя только изредка, иные вообще только раз в году, но зато с особой силой и праздничностью – в соответствии с *солнечным круговоротом* – в сенокос, при заборе мёда, во время жатвы и сбора урожая, по престольным праздникам. И вот тут уж вступает в силу категория времени, категория вечности. Она в крови у рассказчика. Это не аллегория (смотрите рассказ «От рождества до Покрова»). Отсюда же (от чувствования, от дыхания вечности) начинается философия и метафизика (Евгений Носов).

И Мишкин бугор с избою в деревушке Игино, от которого в книге всё пошло, разбежалось и поехало – это ж не просто бугор, это пуп и центр, это ось, вокруг которой вращается собственная, под синим небом, теперь открывшаяся и нам Вселенная. Книга-то с космическим замахом.

Как бы то ни было, но именно здесь, (где все просто) под открытым небом, через книгу для меня яснее открылся категорический императив Канта, философа, воскликнувшего со слезами на глазах: «Две вещи наполняют душу всё новым и нарастающим удивлением и благоговением... – звёздное небо надо мной и моральный закон во мне».

И, наконец... Ещё раз...

Отсутствие любой какой-либо «литературности» и искусственности в языке... Вот что, может быть, меня более всего привлекло и поразило в письме Татьяны Грибановой. Этот язык, как дыхание. Он вне литературы и условности. Его невозможно придумать, подделать или повторить. Широкий, вольный и чистый, он идёт откуда-то из родовых глубин самого строя русской души, из самого певучего, сказочного существа...

*Анатолий Загородний,
лауреат премии имени Бунина*

*Отцу моему Ивану Ероловичу
и матери моей Клавдии Михайловне
Андряхины и
посвящается.*



ОТ РОЖДЕСТВА ДО ПОКРОВА

(РОДНЫЕ ЗАПАХИ)



Под Рождество каждая половица нашего старенького домишки, каждая занавеска на окошке, где меж рам созревают подмёрзшие рябиновые гроздья, каждая крошечная, но уютная, словно бабушкина душегрейка, комнатка, напитывается смолистым сосновым духом.

Отец загодя, с утра, становится на широкие охотничьи лыжи, затыкает топор за солдатский ремень, подпоясывающий собачий тулуп. Подламывая корочку хрусткого наста, идёт через игинское поле в Хильмечки – ближайшую рощу. К обеду притаскивает на липовых салазках, справленных для хозяйских дел, сосну. Размашистую, под потолок. Приносит из амбара заготовленное ещё по осени на Жёлтом ведро песка. Сосёнку устанавливаем в горнице на самом видном месте.

Ледышки и снег обтаивают, хвоя размлевет в тепле и источает такой аромат, что замороженный происходящим кот Патефон выгибает спину и замирает на пороге. Принюхивается, а потом – боком, боком пробирается знакомиться с новой пушистой жиличкой.

Отец спускается в погреб и возвращается с ящиком синапа. Это особые яблоки, отборные, рождественские. Завёрнуты в бумагу, пересыпаны ржаной соломой. Дождались своего часу.

К палочке привязываю прочным, хитрым узлом нитку и украшаю жёлтыми, с румяными бочками, синапками сосну. Шишки оборачиваю припасённой за год шоколадочной фольгой.

Пахнет клеем, гуашью. Маленький братишка перепачкан красками с головы до пят. Колечки гирлянд, сугробы ваты, ливень серебристого дождика, стаи замысловатых легкокрылых снежинок...

– Принимайте с пылу, с жару, – мама вносит большущее блюдо. Золотистая гора печенья: зверюшки, звёздочки, ёлки, сказочные герои – свои игрушки из нашей печки. Духовитая сдоба не даёт покоя коту, устроившемуся под сосной на куче ваты. Он подбирается и уносит-таки пухленькую белочку.

– Пока не затвердели, продевай цыганской иголкой тесёмочки, – командует мама.

Развешиваю украшенные помадкой-глазурью печеньюшки на колючих лапах.

Ароматы сосны, синапа, ванили кружат голову. К ним примешивается запах плавящегося воска. Потрескивают свечи, пощёлкивают на кухне берёзовые полешки. Скрипят под окнами валенки, распахиваются промёрзшие сенные двери. С каляным морозным духом вваливаются ряженные. Шутят-дурачатся, распевают старые-престарые песни. Рассыпают по хате овёс, приговаривают: «Роди, Боже, жить, пшеницу, всяку пашницу».

Братишка прячется за мамин подол, боится размалёванной, с пеньковой бородой, «козы». Из-под её вывернутого наизнанку овчинного тулупа выглядывают стёганные в ёлочку приметные бурки деда Зуба. «Коза» склоняется к маленькому Андрюше, запускает руку в карман и вынимает горсть ирисок.

– Коза-дереза! – пыхтит мальчишка, но от конфет не отказывается.

– Угощайтесь, гости дорогие! – мама выставляет приготовленные вкусности.

Ряженные ссыпают сласти-угощенья в огромный мешок и, поблагодарив хозяев, пожелав им светлого Рождества, выкатываются в сенцы. А мы подбираем просыпанное зерно и храним его до весны.

Укладываемся в горнице у разряженной сосны, чтобы не проспать праздник. В окно глядится яркая-преяркая Рождественская звезда, и я уплываю навстречу ей по густым смолистым волнам.

* * *

Что означает фраза «ломать косарецкого», для меня и в детстве было тайной, и до сих пор остаётся непонятным. На Крещение зять в нашей деревне едет к теще ломать этого самого косарецкого.

За несколько дней до праздника в кухне ко вбитому в потолок кольцу подвешивают гуся. На пол расстилают холстину, и мама с бабушкой щиплют птицу. Пух ложится на табуретки, на стол, на загнетку и сундук. Ресницы, брови и волосы женщин становятся белыми-белыми. По дому, будто в форточку намело, порхают пушинки.

Железным крюком надёргивает дедушка в стогу за амбаром вязанку соломы и, когда тушку выносят на двор, разводит костёр. На большие вилы укладывает ошипанного гуся и палит на огне. Пахнет горелым пером, пушинки на гусе тают, словно снег, а дедушка знай поворачивает птицу то одним, то другим боком. Пламя слизывает пух и перья, гусь лоснится от вытопленного жира. Бабушка забирает его на кухню, добела натирает отрубями, гремит чугунами. А дедушка старается над очередным гуськом.

Спустя пару часов сквозь приоткрытую дверь на улицу выползает такой дух, что у меня текут слюнки, словно у соседского кутёнка Мухтара. Я бросаю салазки и спешу в хату.

– Проголодалась, поди, на морозе? – торопится подкормить бабушка, – бульонцу гусяного съешь-ка, голубка, – мясу-то ещё томиться и томиться.

Только к вечеру поспекает долгожданный холодец. Мама помогает бабушке его разбирать, а я кручусь рядом: то лапку погрызть дадут, то кусочек печёночки обломится. Пока женщины стряпают, я уж и сыта.

Может, зять приезжает к теще на Крещение не косарецкого ломать, а просто духовитый холодец есть? – размышляю я, укладываясь на печке с обьевшимися котейкой Патефоном.

Наступает Крещенское утро. Дедушка ещё вчера, пробравшись сквозь прибрежные лозняки, на Крому, вырубил во льду Иордань – двухметровый крест. Церковь на Поповке давным-давно взорвали, водички святой взять не-

откуда. В Крещенский Сочельник берёт бабушка воду из Иордани и кропит ею скот, хлев, дом и двор. А на само Крещение мы отправляемся умываться на реку. Набираем водицы у ключей на весь год. Когда бы не пробовала я Крещенскую воду, хоть в июльскую жару, кажется мне, пахнет она январскими сугробами да метелями. Ледяная, аж дух захватывает.

* * *

Сколько себя помню – под Сретенье всегда метёт, куролесит, будто стается зима на прощанье такого наворотить, чтоб запомнили её надолго. В такой выюжный день я и родилась. Предпраздничная, значит.

На Сретенье – успокаивается, любо-дорого поглядеть за окно – тишь да благодать. Солнце лупатит, на весну перелом. Середина февраля, а весна рядом бродит.

В хату со двора, чтоб не подмёрзли, приносят новорожденных козлят. От них пахнет парным. Кухня пропитывается козым духом.

Просыпаюсь поутру и чувствую: бабушка стряпает на завтрак омлет из молозева – первого коровьего молока. Значит, дождалась она таки, ночью отелилась Зорька. Бегу в хлев. Уже обсохший, чёрненький с белой звёздочкой во весь крутой лоб, бычок мукает навстречу, взбрыкивает и прячется за опавшие мамкины бока. В честь ли моего Дня Рождения, по случаю ли появления на свет Зорькиного Маврика, в кормушке настоящее лакомство – июньское сенцо с разнотравья.

– Не сено, а чай. Хоть в самоваре заваривай, – улыбается дедушка, зашедший взглянуть на телёночка.

Копаясь в хоботной плетушке. Собираю праздничный букет – сухие кукушкины слёзки, иван-чай, лисохвост, клубника луговая (даже с ягодками!), чуть поблёкшие васильки и целая охапка ромашек. Закрываю глаза, принимаю: букет дышит летом, Ярочкиным логом, сенокосом.

Днём на припёке взопревает навоз. Из-под сарая, от гречишной соломы тянет мёдом. Или кажется? Может, просто хочется тепла, и я тороплюсь почувствовать ещё неощутимые запахи?

Порывом ветра доносит от сирени, что за верандой, тонкую-тонкую, горечь побуревших почек. Чудится еле уловимый терпкий аромат пробуждающихся вешних соков.

На улицу из кухонной форточки вслед растолстевшему за зиму Патефону вышмыгивает запах поспевших тыквенных пирогов-гарбузят. Мама манит из окна перепачканной в муке рукой.

– Помоги-ка стол накрыть да за Андрюшей под горку сбегай. Укатался, наверно, валенки не стащишь.

Пьём чай. Наш фирменный: липа, мята, зверобой да щепоть земляничного цвета. Вспоминаем, улетаая пироги, как растили для них духовитые медовые тыквы. Вымахали громадные. В сентябре отец с трудом погрузил на телегу да перевёз дозреть под сарай.

* * *

За неделю до Великого поста днями напролёт рычит маслобойка, разливается по кринкам, густеет сметана. Топится масло. В дуршлаг откидывает-

ся творог, выкатывается снежными шарами из марли на кухонный стол. Отец собственноручно, никому не доверяя, варит сыр: долго бьёт масло, творог и яйца в ведёрной круглой макитре, следуя каким-то замысловатым прадедовским рецептам.

Сырная неделя – широкая Масленица. Кот лоснится от постоянного облизывания вкуснящих остатков, на столе не переводятся рыба, масло, молоко, яйца и сыр.

Накануне, вечером, с появлением первых звёзд, бабушка идёт к колодцу и потихоньку, чтобы никто не слышал, просит месяц заглянуть в кухонное окошко, осветить опару да подуть на неё. Бабушка ставит опару на чистейшем снегу, собранном на дальних огородах, пришептывает: «Месяц ты, месяц, золотые твои рожки, загляни в окошко, подуй на опару».

Дрожжевой дух бродит по дому, пьянит и дурманит.

– Отнеси-ка, Таня, блинчик на поветь, да гляди, чтоб Патефон не стащил, – подаёт мне бабушка первый блин, – на помин усопших.

Несу горячий с пылу с жару блинок на улицу, и слышу бабушкину присказку.

– Честные родители наши, вот для вашей души блинок.

Бабуля напекает целую стопу тонюсеньких дырчатых блинов. Поедаем одним махом.

– Блин не клин, живота не расколет, – подшучивает дедушка.

На другой день к печке заступает мама. Она жарит маленькие пышные оладушки. К ним подаёт прибережённое к Маслене любимое лакомство – земляничное варенье. Кубаны с томлёным молоком опорожняются быстро под мамины оладьи.

Отец запрягает Воронка, и мы отправляемся под Гнездилово на кулачки. Отведав кучу блинов, поднакопив силушки, местные мужички пытаются её в кулачных боях, ходят стенка на стенку, деревня на деревню.

Вечером – катанье с горок на санках, костры, и опять – блины, блины. С рыбой, с мёдом, с сыром, с творогом... Гречневые и пшеничные, кукурузные и овсяные, на любой вкус. И каждый день непременно другие.

Заканчивается Масленица. Патефон подбирает недоеденные блины. Мама обходит дом, вымывает подоконники и половицы уксусной водой – выгоняет масляный дух. Пахнет кислым. Начинается Великий пост.

* * *

Сходят снега, после первого тёплого дождика проклёвывается робкая зелень. Мимо тополя не пройдёшь: дышишь не надышишься пахучей клейковиной, не насмотришься, глаз радуют крошечные листики.

Из корзинки высаживаю на лужок желтопузиков – гусятков. Беру тёплый, махонький комочек, солнечный, словно одуванчик. Подношу к щеке – и пахнет одуванчиком.

По лознякам ползут длинные мохнатые гусеницы, кишмя кишат. Присматриваюсь: да это цветы. Ива цветёт. А запах!.. Вжикают, облёгиваются первые пчёлы. Наголодались за зиму, будоражат их весенние ароматы.

Припекает. Мама выкатывает из чулана квасную кадку. Заправляет первый квас – с мятой, с изюмом.

Во время Великого Поста начинается работа на земле. Чтобы поддержать семью, придумывает мама постные вкусоности-разности.

А что тут мудрить? Рыжики, например, и в праздник, и в будень – одно объеденье. Мама жарит картошку на конопляном масле (запах к соседям за забор идёт), рыжики посыпает мелконарубленным чесноком. За уши не оттянешь!

Как уж умудряется она капусту засаливать – до самой Пасхи хрустящая. Ешь и ещё хочется.

Особая гордость отца – мочёная антоновка. Разломишь яблочко – белое, сахарное, духовитое.

А на Благовещенье, когда «и птица гнезда не вьёт, и девица косы не плетёт», приносит дедушка с прудка, что у старой мельницы, десяток – другой краснопёрок. В саду, на собственноручно слаженной печурке коптит их на яблоне-веточках.

Обрезая сад, собирает поленицу, даже хмызник от яблонь и вишен не выбрасывает, складывает под сарай. Что на копченье пригодится, что в печи в холода сгорит, напитает хату ароматным садовым духом.

– На Благовещенье работать не след, – считает дедушка, – кукушка завет нарушила, вот и скитается теперь без родного гнезда, Господь наказал. Детей по чужим гнёздам раскидывает.

Сидеть, сложа руки, весь большой весенний день он не выдерживает, поэтому и приловчился на рыбалку ходить.

Бабушка на Благовещенье пережигает соль в печи, добавляет в тесто, печёт большие хлеба – «бляшки», угощает ими скотину от всевозможных хвоей. Ставит образок в закрое с яровым зерном, приговаривает:

Мать Божья!
Гавриил-архангел!
Благословите,
Благословите,
Нас урожаем благословите:
Овсом да рожью,
Ячменём, пшеницей
И всякого жита сторицей!

На восходе выносит отец клетку с синицами во двор, даёт нам с братом по птице, чтобы выпустили на волю.

День-деньской подкарауливает кот диких горлинок, слетающихся покормиться к куриной кормушке. От Патефона пахнет свежей рыбой, на морде сверкают серебристые чешуйки.

Вдоль стёжки, от клёна до ворот, натянута верёвка. Полощется свежести-стиранное бельё. Вчера затеяла мама большую стирку, весь день колотила вальком на омуте. От подсохших занавесок и покрывал тянет свежестью, речкой. А клеверный стог в углу двора задышал, подсыхая после первого дождика, парной мякиной.

* * *

В Чистый четверг с утра бабушка готовит кринки и махотки. В печи томится молоко, откидывается творог, собираются в узелочки яйца. Под Светлое воскресенье идём с ней к одиноким и хворым, несём угощения к празднику. Бабушка разливает по пузырёчкам какое-то благовонное снадобье, которое накануне варила под шёпот молитв. Может быть, в нём и не хватает всех компонентов, но она уверенно называет его «миро» и одаривает в Великий четверг односельчан. А ещё – пережигает спозаранку в печи соль с квасною гушей.

– Осквернил её Иуда-предатель, надобно очистить, – растолковывает бабуля.

Хранит в коробочке на Божничке и лечит ею от всевозможных болезней. Запах и свойства этой соли особые, и называется она Великочетверговая.

Хата к этому дню пахнет чистотой. Вымыты окна и полы, развешены праздничные занавески, из сундука вынута пасхальная скатерть: по домотканому льняному полю вышиты мелкие крестики, а по уголкам – ХВ. Она дышит прошлогодней пасхой и свечами.

В кухне стоит крутой луковый дух – мама красит настоем из шелухи десятилетия пять яиц. Несколько, смочив, обваливает в пшёнке, помещает в тугой марлевый мешочек. Весёлые яйца «в крапку» раздарит в Велик день маленьким крестникам.

Отец топит баню. Вечером смываем грехи, паримся берёзовым веничком, на голышки плещем мятным квасом.

– Теперь можно и Велик день встречать, – замечает бабушка, расчёсывая сполоснутые травяным взваром, волосы.

* * *

В правом ящике резного буфета и сейчас могу наощупь сыскать холщовый мешочек. В нём испокон веку хранится деревянная пасочница. Потемневшая от времени, с небольшой выщерблинкой по верхнему краю. На боках резные витиеватые буквы. Как только бабуля к ней прикасается, начинается священнодействие. Это случается раз в году – в пятницу перед самым большим праздником.

Накануне бабушка не ложится спать. Стоит в Красном углу и читает. С первыми петухами, обрядившись в свежий передник, убирает штапельным платочком волосы.

Выскоблив ещё на неделе стол, в большой с мелкими розанами таз выкладывает из-под трёхсуточного гнёта тугие плюшки белоснежного творога. Кисловатый запах его смешивается с запахом ванили, размоченного изюма. Липовой с прорезью ложечкой выкладывает она в тесто дышащий донником мёд. Совсем чуть-чуть, «коли переборщить – потечёт пасха, не собрать». Долго размешивает-соединяет. Наконец, вкуснящей массой заполняет пасочницу, поверх выкладывает изюмом православный крестик, освящает. А чтобы пасха укрепилась, затвердела, выносит до вечера на холод, в подвал.

И только теперь растапливает печь. Наступает черёд куличам. Из эмалированного ведра выпирает пушистой шапкой тесто. Бабуля обминает его ещё разок, добавляет изюмцу, маслица, яиц, сахарку и чего-то такого,

отчего у меня на печке сосед под ложечкой, и я вскакиваю ни свет, ни заря стащить горсточку ненашенских сладостей, облизать ложки-миски из-под взбитых белков, поковырять ложечкой в махотке с зернистым засахаренным мёдом.

Часа через два бабуля вынимает куличи из протопленной по особому случаю вишневым хворостом печи. Поверх румяной сдобы толстым жгутом выпирает крест и маленькие букочки хв и вв. Белки молочными реками стекают по бокам, искрятся на весёлом апрельском солнышке, заглядывающим в оконце справиться, готова ли хозяйка ко встрече Пасхи.

Бабушка кропит куличики святой водицей, что хранится у неё для особых случаев за образом Анны Кашинской. В сенцах приготовлен стол. Выносим куличи, прикрываем полотенцем – доходить.

Бегаю мимо, приноживаюсь. И опять кажется мне, нынче куличи лучше прежних: и душистее, и пышнее, и краше.

Пасох и куличиков хватает на всю Святую неделю. До самой Красной горки стоит в хате и во дворе дух Светлого праздника.

* * *

С первыми летними радостями – Троицей и Духовым днём связаны самые яркие, самые душистые воспоминания.

Природа утопает в цвету. Зелень ещё молода и свежа. С утра бабушка связывает в пучок четыре травки: зорю, калуфер, мяту и кадило. В середину ставит большую Троицкую свечу и поджигает её свечкой, привезённой для неё кем-то от Гроба Господня.

Травы, соприкасаясь с огнём, источают благовония. Бабуля заканчивает молиться, убирает обожжённые стебельки в резной ларчик и хранит для лечения разных болезней. Свеча же прячется в дальний угол (разыскивается лишь для того, чтобы дать в руки умирающему).

Хата разряжена спозаранку, что девка на выданье. Пахнет цветочным сенцом: отец окосил Мишкин бугор. Притащил хоботную охалку лютиков, колокольчиков да кашки. Полы устланы цветами. Стол накрыт весёлой скатертью, расшитой синеглазыми васильками, пшеничными колосками да молочными ромашками. Красиво и радостно.

Повсюду берёзовые косицы. В сенцах тоже благоухают травы. Тут и моза нашенских оврагов – прогорклая полынь, и лесная затворница – душица, и дикая мята-мелисса, и терпкий любимец ребятни – анис.

А за окнами – липы в цвету. Тихий летний вечер. Ещё сильнее раздушиваются в палисаде махровые жасмины. Кремовые пионы приманивают своим колдовским ароматом десятки изумрудных светлячков, охочих до их вкусного клейкого лакомства.

Чуден и прекрасен твой мир, Господи! Век бы сидеть на лавочке у крылечка, слушать перещёлк неумолчного соловья, дышать не надышаться дедовой махровой черёмухой, купаться в ароматах резеды и притулившихся в тенёчке под кряжестой дулькой заблудших когда-то из Ярочкина леса белоснежных ландышей, сдвигая к противоположному краю пушистую пену, пить прямо из ведёрка пахнущее Зорькой парное...

* * *

Природа, предчувствуя неминуемые холода, в середине июня торопится жить в полную силу. В ночь на Ивана Купала поспевает большинство целебных трав.

Бабуля ходит по вечерней заре и, различая в сумерках лишь по ароматам нужные травки, собирает их целую плетушку. Поутру связывает пучками и развешивает в полумраке на амбарном чердаке, «на вольном духу». Тут же подсыхают пахучие связки белых да подберёзовиков, проветриваются какие-то душистые коренья.

Из молодых сосновых шишек варим на сурепочном меду снадобье-варенье. Скольких на деревне поднимает бабуля своими микстурами от простуд! Пахнет смолой. Забористый сосновый дух пробирается во все уголки нашей кухоньки, ползёт за ворота.

В теньке под сиренью усаживаемся перебирать луговую землянику. Ягоды переспели, аж вишнёвые. Нюхаю выкрашенные земляничкой ладони. Что за дух! Пахнет лесом, землёй, летом, солнцем, июньскими грозами, чем-то очень любимым, знакомым с раннего детства.

А бабуля тем временем толкует о том, что солнце в этот день выезжает из своих чертогов на трёх конях: серебряном, золотом и бриллиантовом. Пляшет «Русскую», рассыпает в небесах огненные звёзды и едет к супругу месяцу.

Видать, она взаправду во всё это верит, если вечером на Ивана Купала, запалив во дворе костёр, сжигает на нём дедушкину рубашку, в которой лежал он хворый прошлую зиму, «чтоб болезнь не возвратилась». Потом идёт в дом, молится у иконки Иоанна Крестителя, чтобы зло в эту ночь не смогло причинить вреда нашей деревне.

* * *

Не менее богатый на ароматы август. На него приходятся три Спаса.

Самый первый – «Спас на воде», «медовым» называют. Отец говорит, что с этого дня пчёлы перестают носить взятки с цветов.

Последний раз качаем мёд. С разнотравья: с донника, с душицы, с переспевших летних цветов. В беседке, где жужжит медогонка, воздух пропитан густым медовым духом. От отца пахнет дымом и воиной. От переполненных баков тянет лугом.

Девятнадцатого августа – «Спас на горе» – Преображение Господне, или Яблочный Спас.

Под сучья в саду ставим подпорки. Яровые яблоньки и груши гнутся от созревших плодов. Вороха медовки и белого налива. Пипин-шафран просвечивается насквозь, видны карие семечки. Тряхнёшь яблоком у уха – семечки звенят, понюхаешь – и есть жалко. Яблоки падают, бьются в крошево. Прожорливые осы зундящим скопом наваливаются на переспевшие плоды, выгрызают мясистые дюшесы и дули, оставляя в них глубокие дырочки.

Третий Спас – «полотняный» – следует за днём Успенья, в самом конце августа.

Из раннего детства припоминается в углу горницы огромный стан. Бабушка ткала половики, покрывала и тонкие скатёрные-полотенечные ткани.

До сих пор стелятся на печку её домотканые постилки, ещё в ходу замашные рушники.

В нашей местности третий Спас называют ещё «ореховым». В эту пору подходит в Горонях и в Плоцком лещина. Весь неработный люд пускается за орехами. Расстилают вокруг куста холстинку и трясут ветки, обивают орехи. Набрав пудовичок, усаживаются на опушке. Чистят-лушат, откидывают «молоньёвые». Домой принесут, на печь, на камешки сушить-жарить под постилки рассыпят. В сказке принцесса спать на горошине не могла, а у нас ребята на орехах год напролёт дрыхнет и хоть бы что. Подсыхают орешки – по хатам щёлк идёт. И пахнет лесом, лещинкой.

* * *

А уж в пору Бабьего лета дня не пройдёт, чтобы мы с отцом в лесу не отметились. Руки от грибов чёрные, месяц не отмываются. Опята, маслята, рыжики! Для каждого гриба свой черёд. У каждого свой аромат.

Входишь поутру в Хильмечки и чувствуешь: воздух распирает от терпкого хвойного духа, замешанного на густом грибном запахе. Срежь рыжей палой хвой россыпь крупнящих тёмно-коричневых бусин-маслят. Тут же, только наклонись, подними лапник – яркие блюдца молочных рыжиков. По берёзовым да по дубовым пням гранки тонконогих веснушчатых опёнок.

Потянет опавшим листом, спелым грибом. Задышат овраги прелью, дохнёт с огородов костром, печёной картошкой. А там, глядишь: засеменит дробный ситничек, рассоплывятся дороги, а вскорости и морозец почувешь.

* * *

Пора справлять Покров, Зазимки по-нашему.

На дворе кучи подваленных берёз. Отец и бабушка возят их на Буянке из лесу. Пилят на раскатайки-кругляши. В доме слышны тугие удары колуна, звонкие щелчки лёгонького топорика. Под сараем под самую крышу вырастает белоснежная поленница. Двор затапливает берёзовый аромат. Над трубой поплывает лёгонький дымок – мама стряпает пироги к празднику. С чем только не придумает! Но вкуснее всех – с капустой. Вчера занесли её с улицы. Дозревала на дворе. Пощипали морозцы, забелела, подоспела. Целый день рубил её отец в деревянном корыте. Всем хватило работы: тёрли морковку, резали яблоки, грызли сахарные кочерыжки. В середину бочонка целиком уложили дробные кочанчики. Посыпали душистым тмином. От бочонка ещё не пахнет, как зимой, кислым, а капустно-морковно-яблочный сок, в котором утонул гнёт-голышек, кажется самым вкусным напитком на свете.

В другой кадушке, перестлав ржаной соломой, залив ключевой водой, замачиваем антоновку. Целый месяц стояли под моей кроватью ящики с яблоками. Проснусь ночью – как пахнет! – не удержусь, опущу руку, нащупаю самое лучшее и схрумкаю.

Бабушка входит в кухню, придерживает передник, наполненный полосатым штрифелем. Надкусываю яблочко – хрусткий запах поздней осени. Штрифелина гладкая, блестящая, внутри – розовая-перерозовая.

Бабушка усаживается перед окном передохнуть, размышляет.

– Журавлей не слышать, спровадились до Покрова. Знать, зима ляжет ранняя да студёная...

А мама накрывает на стол. Покров – последний большой праздник в году. Сытный, вкусный. По первому снежку закололи кабанчика – тушится печёнка, пошипывают зажаристые шкварки. Грузди, источая ароматы укропа, зарылись в листья смородины и хрена, разлеглись на блюде, словно недельные поросята. А рядом – лупастые пельмени. Мама любит пошутить над домашними и в один из них вместо мяса заворачивает какой-нибудь сюрприз: школьный ластик или кусочек морковки. И я с нетерпением ожидаю, кому же на этот раз посчастливится. На вид все пельмешки одинаковы: перепачканы чуть кисловатой сметаной, пахнут молотым перчиком, посыпаны какими-то бабушкиными духовитыми травками. Из чулана дедушка приносит бутылочку калиновки. С прошлого года. Нынешняя ещё не готовилась.

Ляжет потвёрже наст, ударят покрепче морозы – поедем в Плоцкий за ягодой-калиной. На Святках настряпаем с нею пирогов-ватрушек, наварим душистого варенья, наготовим вкуснящего квасу-морсу. Как же без калины? Без неё, без терпкого её вкуса-запаха и год не завершится.

Повяжем пучками, подвесим за наличник снегирей приманивать. И станем дожидаться Рождества: смолистой сосны, душистого маминоного печенья, аромата переспелых синапок.



КОЛДУЧИХА



В детстве была у меня закадычная подруга Галка. Зимой мы до блеска укатывали – то на санках, а то и на пузе – Мишкин бугор. А летом в Жёлтом меж камней ловили руками пескарей да головастиков. Всё как у нормальных деревенских девчонок.

Одно меня всегда смущало. Бабку её «Колдучихой» звали. Для Галки она – родная бабушка, а мне боязно. Я вечером мимо её хаты и проходить-то боялась. Засижусь у подружки, а потом она меня от собственной бабки провожает.

Полола я грядки на бахче (в деревне все с детских лет при деле). К вечеру сыпь на руке объявилась. Серпантинком обвила и чешется... Подпрыгнула температура.

Хутор он и есть хутор. Ни врача тебе, ни фельдшерицы. Бабка Галкина за всех сразу.

Промучилась я ночь. Наутро, боясь не бойся, а идти к Колдучихе надо. Никогда раньше у неё не была, а вот пришлось.

Хата под солому. На крыше поросль берёзовая. Мох шапкой набекрень напозаает на ветхое крылечко. Поднимаюсь... Порожки поскрипывают, сердце ёкает... Что как околдует, не вернусь? Превратит в гусыню какую-нибудь.

В углу метла из бурьяна. «Вот, – думаю, – и транспорт её». А сама бочком, бочком от метлы подальше и в сенцы.

Полумрак. Маленькое окошко в паутине – свет еле проникает. Слышно, как на чердаке воркуют голуби. Зачуяв меня, выпархивают в круглое отверстие под самой крышей. Я вздрагиваю.

По стенкам – плетушки, коромысло, пила двуручка, какая-то ветошь. На пыльной полке – старый медный самовар, керосиновая лампа да пара запасных пузырей.

Из угла в угол натянута верёвка. А на ней – связки сушёных грибов, яблоч, пучки калины, всякого чертополоха.

– Вот из чего зелье-то она колдовское готовит, – смекнула я, – небось, грибочки – мухоморы да поганки.

Тихонько отворилась дверь. На пороге стояла Колдучиха.

Наверно, ещё по фронтовой привычке она коротко стриглась и, к удивлению наших баб, никогда не носила юбку. После возвращения с войны ходила в солдатской форме. А потом – летом в брюках, которые сама шила, а зимой – в ватных штанах да душегрейке, подбитой заячьим мехом.

Признавала только самосад. Сажала в палисаде. Разбавляла его душицей и баловала себя самокруткой. Пальцы цвета ржавчины. Кашляла, словно заправский курильщик.

– Что стоишь, заходи. Я тебя уж и заждалась.

Колдучиха проводила меня в горницу. Я обомлела: как так заждалась? Откуда она могла знать, что я к ней зайду?

– Проходи, проходи, что заторопела? Помогу тебе. Только лечить буду, как ягнёночка, ты же нехристь. Ну, Господь никого не оставлял в беде. Пообещай, что не отринешь Спаса нашего, придёшь к нему.

Я молча кивнула.

Горницу на две половины разделяла цветастая занавеска. Бабка, оставив меня, шмыгнула на вторую половину. Что-то заплескалось, и послышался неразборчивый шёпот.

От нечего делать я стала разглядывать «избушку на курьих ножках». Хата как хата: печка с чугунами, ямки рядом, крылья гусиные на гвоздике загнетку обметать. На стене в одной большой раме фотокарточки, пожелтевшие от времени. Поверх рамы – расшитый рушник.

Я пригляделась: среди незнакомых людей – Колдучиха. Только совсем девчонка. Та же стрижка, те же глаза. Рядом такие же молоденькие санитарки. Стоят у танка, а на нём: «На Берлин!». Видать, правду в деревне говорят: всю войну в медсанбате отпахала.

На дощатом столе горой какие-то травки, корешки. «Работала», – подумала я. В углу под образами лампадка. Пахло чем-то очень приятным, неизвестным. Поразил иконостас. Казалось, такой древний, что лучше и не при-трагиваться, рассыплется. Оклады потемнели, но лики виделись отчётливо. Почудилось даже, будто святые угодники за мною наблюдают, следят, как я без хозяйки себя веду.

Прислушалась: «...и запрети духу немощи, остави от неё всяку язву, всяку болезнь, всяку огневицу и трясавицу...»

Скрипнула дверь. От неожиданности перехватило дух. В горницу ввалился кот. Ну, как же в этой хате да без него?

– Потерпи чуток, сейчас тебе помогу, – послышался голос Колдучихи.

Кот, не обращая на меня внимания, пытался взгромоздиться на табуретку. Голова его была ничуть не меньше моей. Никак не мог устроиться. Наконец, притворился, что затих, уложив только туловище на табуретке. Для головы, хвоста и лап места не хватило – свисали в разные стороны. Кот обтекал сиденье, шурился и зорко наблюдал за мной исподтишка. Казалось, даже ехидно ухмылялся, намекая на моё скорое будущее. Я боялась пошевелиться.

Вдруг громко закричал петух. Сердце моё оборвалось...

– Что вздрогнула? – послышался хриплый голос бабки, – это Стёпка ба-лует, петуха дразнит.

Я и не заметила, что в углу у окошка висела клетка, а в ней на сучке при-стился скворец.

– Всех во дворе переснял, шельмец. Как начнёт выдавать! И за гусака шипеть может, и за курицу кудахчет, а уж птичьих голосов знает – не пере-честь! Уймись, Стёпа, что ты нашу гостью напугал. А ты, Таня, посыпь ему конопелек, он тебе и споёт, спасибо скажет.

Сыпанула из плошки, стоящей на подоконнике, зёрнышек. Скворец щёлкнул раз, другой и запел. И на душе у меня отлегло, даже повеселело. А тут и бабушка выглянула.

– Заждалась, небось? Ну, садись, голубушка, поближе к окну, посмотрим, что тут у тебя.

Я протянула руку.

– Да тебя ужако, милая, укусил. Редко, но бывает такое. Видать, ты его потревожила, сам-то он добрейший, не тронет.

Сполоснула Колдучиха мою руку водицей нашёптанной, дала напиться из бутылочки с Божницы, а на прощание сказала:

– А ты с Галочкой моей заходи, не пужайся.

Возвратилась я домой, смотрю: рука – здорова, температуры – след простыл.

Так я побывала на приёме у Колдучихи.

С этих пор, когда бы мы с Галкой ни забегали к бабе Насте – так, оказывается, Колдучиху звали – на чай, кот тут же сползал и уступал мне табуретку, а Стёпка-пересмешник, приветствуя нас, орал на все голоса.



АНИСОВЫЕ ТУМАНЫ



Светаёт. Обивая росу с подорожников, подхлёстывая тёлочку-первогодку, отец спускается в анисовые туманы к Жёлтому. Наша очередь пасти стадо.

Выхожу на кручу. Хуторские петухи передразниваются с заречными. С низины слышится ленивое мычанье, щёлканье кнута, бабы окрики. Окутывая заросли ивняка, молочные клубы бесшумным потоком валют по подгорью, затапливают долину.

Полусонное стадо, бороздя парное июньское утро, ныряет в кисейные омуты, уплывает в непроглядные пойменные луга.

Прозябнув, кутаюсь в мамину шальку, шмыгаю в садовую калитку, стараясь не задеть отсыревших жасминов. По пути горстями нарываю охапку клеверной отавы, несу к сараю.

Отворяю дверь, обвыкаюсь глазами.

Посреди хлева рыжей горкой в белесых проплешинах виднеется Лыска. Вторые сутки не встаёт. Помирает. Старая совсем. Приносила ей ломоть с солью, даже не смотрит. А ведь как любила!

Ветеринар Петрович советовал прирезать. У отца руки не поднялись. Поручил за ней присматривать.

Подхожу, подкладываю поближе свежую охапку. Душа обмирает, слышу, как корова вздыхает болезной утробой. Присаживаюсь на корточки. Жалею. Глажу по худым старческим бокам, трогаю сбитый прошлой весной рог, ласкаю крупную белую звёздочку посередь курчавой морды. Приговариваю: «Кормилица ты наша!»

Лыска чуть поводит ухом, прислушивается. И вдруг – из её огромных глаз выкатываются слёзы.

Может быть, ей припомнились тающие в июньском мареве колокольчиковые поляны?

Нет сил вернуться на хуторские просторы, услышать треск невидимых кузнечиков в дремотной непролазной травнице у Закамней, постоять в прохладной сине-глинистой мути, пожевать сладкие будылья тростника на болотце.

А может, напоследок вздумалось Лыске хоть одним глазком, хоть на минуточку, посмотреть на хозяйку, спускающуюся к тырлу с подойником в томный июньский полдень. Мукнуть протяжно навстречу, углядев издалече знакомую косынку. Обнюхать и лизнуть от радости синюю в мушках штапельную кофточку. Пожевать духовитую, посыпанную зернистой солью, корочку, которую хозяйка припасла в фартучном кармане.

Ничего не поворотить, не возвернуть. Не рассмотреть сквозь щёлку сарая родные заливные луга, не увидеть расхворавшейся хозяйки. Не услышать ласковое, до каждого звука знакомое: «Голубушка, заждалась, моя хорошая!». Не взбрыкнуть, пьянея от весны и свободы по подгорью, не облизать в январскую стужу в душном хлеву новорожденного телка.

Всё в прошлом.

В полумраке слышится слабый стон. Я с холодным ужасом вижу, как стекленеет взгляд и закатываются Лыскины глаза.

Кидаюсь к ней, обнимаю, долго плачу. Горько от беспомощности. До вечера не могу отойти от сарая. Тяжело и больно, словно умер кто-то очень родной.

Возвратясь с пасьбы, отец выбирает в горе большую глинистую яму, везёт на телеге корову и закапывает.

...Тёлочку переводим из клетки в хлев, на Лыскино место.

И жизнь продолжается.



РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ



Если пробраться через малинник, нырнуть в лаз орехового частокола, а потом по скрытой в зарослях крапивы тропке пройти на край тополиного молодняка, наткнёшься на райскую яблоньку.

Когда-то обронила птица семечко, и в захламлённом незаметно для нас выросло чудо-дерево.

В сентябре на желто-золотистом покрывале сада порхает деревце жар-птицей, машет на ветру алыми веточками – крыльями, словно вслед за перелётной братией готовится к отлёту. Кажется, взмлет сейчас над хутором. Лишь обронит в пожухлую осеннюю траву яркие пёрышки-яблочки.

А иногда покажется прохожему с дороги, что и не яблоки это вовсе, а крупнющие вишни. Удивится прохожий, откуда они в разгар сентября у Фролыча за бахчой взялись.

После первых морозов ахнет яблонька и отряхнёт плоды свои, и загрузит, осиротев. Тут самое время варенье из её яблочек варить.

Возьмём мы с мамой по плетушке и проберёмся сквозь малинник к нашей полудичке. Разгребая листву, отберём самые красивые, самые гладкие да спелые. И непременно с палочками. Зальём их в тазу кипящим сиропом и дадим настояться, пропитаться, чтоб светились насквозь, чтоб каждое зёрнышко видно было.

Сосед наш, дед Кит, никогда не упустит этого момента. Подставив лавочку, зависает над забором и начинает судачить с мамой о жите-бытье. У неё уже внуки взрослые, а для деда она как была молодой, так и осталась. Любит дед Кит полакомиться нашим вареньем из райских яблочек, вот и заходит издалека.

– Ну, что, молодка, – обращается к маме, – баклажаны-то ноне уродили у вас?

Это он так почему-то помидоры называет. Спрашивает, а сам поглядывает на лавочку у крыльца, где в ряд выстроены плетушки, доверху наполненные помидорами. Мама насыпает в фартук самых лучших и несёт деду.

– Вот, дедунь, нынче «Бычье сердце» с внучкову голову уродило, попробуй, какое сахарное да мясистое.

Дед разламывает помидор и крикает.

– Надьсь бабы ввечеру у Митривны на завалинке балакали, у кого лучше бахша ноне. Дык я отпрапортовал, лучше твоей и не видывал. Повезло с тобой Ивану-то, руки у тебя золотые.

– Скажешь тоже, дедуся, золотые! Вон от прополки заглубели совсем, растрескались.

– А я тебе, молодка, барсучьего жирку подкину. Вчёрась в сосёнках словил лихоманца полосатого. Дык я шас прямо и доставлю.

Кит, кряхтя, сползает с забора и семенит под сарай. Галоши не по размеру пискляво хлюпают и оставляют клубы пыли. Там на распорке висит шкура злосчастного барсука. А в махотке, обвязанной клетчатой тряпочкой, застывший барсучий жир. Дед ковыряет его чистой вишнёвой палочкой и несёт маме в гранёном стакане. Подаёт через забор, а сам заискивающе спрашивает:

– А что, молодка, варенье-то уж варила?

Мама заранее подготовилась к дедову вопросу. Подавая банку, говорит с улыбкой:

– Ну-ка, дедунь, испробуй. Может, кисловато будет?

Кит, понимая важность момента, пролезает на нашу территорию, раздвинув в заборе доски. Берёт одной рукой банку с янтарным вареньем, а второй за палочку вынимает райское яблочко. Жуёт беззубым ртом и, довольный, заявляет:

– И как у тебя, молодка, получается, что с каждым годом варенье всё вкуснее становится. Отродясь ни у кого такого не пробовал.

Мама только посмеивается.

Дед, смумлив ещё пару яблочек и облизав палочки, уносит банку во-свояси.

А мы разводим самовар на можжевельновых веточках и тоже снимаем пробу. Прав дед Кит, ох и удалось же нынче варенье!



ЛЕДЕНЦЫ

В глубине сада, в захолустье, присев на правый бок и облокотившись о размашистый штрифель, притулился ветхий-преветхий пчельник. На зиму отец прячет ульи в этот сараюшко. Каждый год грозитя развалить его да сладить новый. А пока по осени, обшипав по верху прогнившую солому, подвозит возок-другой ржанки и наваливает её на крышу сарайчика. Отец считает, что под железной или шиферной крышей пчёлам зимовать холоднее, а потому укрывает ульюшки соломой. Уж и не помнит, сколько слоёв взвалил на крышу допотопного пчельника. Посмотришь издали: небывалый муравейник на наших задворках взгромоздился.

Зимой амбарчик заваливает снегом по самую макушку. А по весне, как разыграет солнце, пчельник вытаивает: сначала соломенный стог покажется, потом проглянут и стены. Они у сарайчика глиной для тепла обмазаны. Такие хатки мазанками называют.

Во всей деревне не сыскать длиннее и вкуснее сосулек, чем те, что свисают с соломенной крыши нашего пчельника. То ли оттого, что сосулька, прежде чем стать «долгоиграющим» леденцом, пробежалась водицей талой по свежей соломке, то ли оттого, что штрифель усыпал крышу последними яблоками, и они так и остались на ней зимовать, вкус у ледышек с нашей мазанки особый – кисло-сладкий. И пахнут они чем-то очень знакомым, нашенским: вощиной, ржаной бабушкиной краюхой, яблоневым цветом.

Ребята с нашего переулка выпрашивают у меня «соломенные» карамельки. Все знают, что они не хуже покупных барбарисок. Даже в очередь за ними выстраиваются. У каждого своя сосулька. День ото дня она, будто морковка, растёт и зреет.

В марте с утра, даже по тенёчку, снег на крыше начинает подтаивать, и малюсенькие струйки воды с соломинки на соломинку подбираются к гирлянде ледышек. Коснувшись сосулек, вода замерзает, а ледышки толстеют и набирают в весе.

Пронырливое солнышко дотягивается, наконец, своими лучами до «конфетной фабрики», и карамельки от тепла начинают плавиться. Вкуснющие медовые капли стекают по разбухшим соломинам, по сосулкам, вытягивают их в длину. Срываются с кончика сосулек, и снизу, из снега, навстречу им растёт бугорок не менее сладких ледяных бобышек.

После полудня начинает прихватывать. Морозец к вечеру крепчает. Ручеёк уже не бежит, а медленно сползает по прозрачной морковине. Капель звучит всё реже и реже. Зато сосулька вытягивается всё длиннее и длиннее.

Наступает самый важный момент: надо изловчиться снять, не обломав, свою конфетину. А потом, гоняя в Шешкином овраге на санках или, чиркая по запорошенной глади Жёлтого ручья коньками, успеть (до того, как загонят домой) излизать, исхрустеть, изгрызть свою сосульку, при этом умудриться не подхватить ангину, потому что через пару дней подрастёт карамелинка куда вкуснее этой, насквозь пропитанная солнцем и весной.



КИТАЙСКИЕ ФОНАРИКИ



С майских не унимались дожди. Не просыхало до самых Петровок. Наконец, скомканное кучее лето порскнуло ржаной куропаткой в переспелые августовские травы. Облудившись, выпорхнув роем перламутровых мотыльков, зацвёл Косёнихин шиповник. Зашебуршала деревня. Спихватилась, бросилась догонять упущенное тепло. словно молодуха, заболтавшись с товаркой, кинулась собирать уплывающее по течению бельё.

Бабка Анисья, накопошившись в палисаде, присела было у крыльца перевести дух. Но не прошло и минуты, как спихватилась, всплеснула руками, непривычными к безделью, и, поставив наземь перед лавкой полную плетушку, защёлкала поспевшими стручками. Заквохтали куры, не доверяя Аниске, за-

шуршали скрюченными шелухами, выискивая оставленные по бабкиному недогляду фасолины.

Старушка кышкала наглых, норовивших запрыгнуть в корзинку, кур. Звенела о дно эмалированной кастрюльки ядрёная рябая фасоль. Нежилось, раскачиваясь, словно в люльке, в Кузиных ракетках, незрелое солнце.

На ворохе почерневшего серебристого тёса Анискина соседка, хлопотная Степановна, разостлала справленную лет пятнадцать назад перину. Накидала подушек-думок – дочернино приданое.

Ей без надобностей в городской фатери, а матери маята с ними. Соседка ворчала, поворачивала добро с боку на бок. Отсырели, небось, за дожди-то в кладовке. На кой ляд ентакую агроменную свостожила? Тягай теперь!

– Сдам закупчику, как пить, сдам!- серчала она на «пастелю».

Но не успела Степановна «как следно перо прожарить». Снова заненастило. Только теперь по-осеннему, с хрусткими утренниками, с печалью потянувших за Дмитровские леса журавлей.

– Год нагужный. В численнике прописано – високосный, – просвещала Степановна подругу, бабку Анисью.

Некошеные травы, вымахавшие за мокрое лето, полегли, спутались от заморозков. Сник не ко времени расхорохорившийся шиповник. И только китайские фонарики, заполонившие Анискин палисадник, всё никак не гасли.

Много лет назад, когда перестали вызреть помидоры, зачернели прямо на корню, и соседки плетухами потащили гниль за бакшу, завезла Нина, Анискина дочка, невиданный на деревне овощ-физалис. Пообвыклись деревенские, полюбился им физалис. С картошечкой в холода – только подавай!

Как уж затесались семена другого сорта, неизвестно, только на некоторых растениях высыпали ягодки с ноготок. Душистые, земляничкой отдают. Бабы навестились из них варенье стряпать.

А уж после этих чудо-ягод объявились пустышки–фонарики. Полыхнул по осени палисадник у Анисьи – подивилась деревня, закалякала, мол, всегда бабка выдумщицей была. Даже физалис у неё не как у всех. Охапками таскали букеты с её усадьбы. И светили Анискины фонарики на кухнях зиму напролёт, и радовали глаз под заунывные страдания ветродуев.

... Размиселило дороги. Грачи, заложив крылья за спину, будто фермер Петрович натруженные за уборку руки, осматривали пахоту, пробегались вдоль озимых, взмывали и терялись за погасшими перелесками. Голосившие за амбаром вёты, повязав чёрные вдовьи платки, срывали с себя поседевшую заскорузлую листву, сметали с упавшего неба грязные ошлёпки туч.

Из города за Степановной прикатила дочка Раиска. Посбирав хархары, Степановна заглянула к Анисье попрощаться, завсхлипывала.

– Ну, прощай, подруга... Годы наши какие... Не поминай лихом, коли чего... Может, и свидеться не придётся...

Вздумала было попытаться, нет ли весточки от Нинки «запропашшай», но, взглянув на Аниску, не решилась. Подбросила ей двух хохлаток да кота Дармоеда. С тем и отбыла.

... Остались на их урынке две хаты топлёные. В одной – Аниска с оглохшим «посля фронтовой контузии» дедом Грихой, в другой – бедолажный сын – дед Филька. Старуха его, Пантелеевна, под Красную горку преставилась, наказав «блюсти как следно» двор, не оставлять без пригляду хату, не иссушить гераньки.

Сентябрь хрустко ложился на ступеньки крыльца, покрывал изморозью истончённые многолетними дождями перильца. Попервости Аниска до свету выползала посыпать курам пшенички, выпустить по нужде кота. Кое-как она спускалась со склизкого камня, лет пятьдесят назад положенного мужем заместо первого порожка к новой хате. Останавливалась у знакомой до каждой трещинки скамьи. Смотрела, как колышутся на ветру лёгкие коробочки физалисов – бумажные китайские фонарики.

К октябрю ноги её совсем перестали «слухать». Кое-как Аниска ещё перебиралась от кровати до печки, но в сенцы выйти уже не пыталась.

Хата зачуяла неладное. Сникли балзамы на оконцах. Кот Дармоед, шаркающий с сундука в печурку, поднимал пыльное облако пыли. И без того кашляющий от своего забористого табака дед Гриха начинал перхать и вышвыривал «фатиранта» в сенцы «на прогул». Самовар, оставшийся ещё от Анискиной матушки, напрочь запамятовал любимую «кадрель», прикорнул на полке, загрустил, роняя горемышную старческую слезу. Не пахло вишнёвыми веточками. Чай в закопчённом чайнике, с загнетки, отдавал помоями, словно Гриха заваривал его не из пачки со слоном, а тайком от бабки кидал в его утробу горсть прошлогодней сенной трухи.

Петухи на рушниках поблёкли, облиняли. То ли свет перестал проникать сквозь дырочки ришелье на ситцевых занавесках, то ли бабка совсем обе-

зглазела: не различала уже китайку на купленном в молодости плакате. Но до мельчайшей подробности помнила (в такие-то годы!) и кимоно, изукрашенное невиданными зверями, и многоярусную пагоду, и цветущую сливу, и фарфоровое лицо улыбчивой девчонки.

Когда-то белёные стены деревенских хат увешивали плакатами с корявыми буквами-пауками и приветливыми узкоглазыми девушками. Теперь, поди, не сыскать таких картинок! Только Анисья не смогла расстаться с той красотой. Так и прижилась в её горенке красавица-чужеземка, напоминая бабке о бесследно канувших годах её молодости.

... Аниска, как больной младенец, путала день с ночью. Неразговорчивая всю жизнь старушка, не умолкая, часами, рассказывала деду посередь глухой ночи о годах работы на Донбасских шахтах, о том, как в сорок втором фашисты под дулами автоматов затолкали её с подругой в товарняк и угнали в неметчину.

Деду Грихе казалось, что старуха его вообще перестала спать. Всё говорила и говорила. Вспоминала, как увидела его, сержанта Григория Трифонова, в августе сорок пятого. Как спустя год, подгуляв на радостях, плясал он «Барыню» под окнами роддома. Как ведро молока парного принёс, велел акушеркам новорожденную поить, не жалеть.

– А помнишь, Гриша, какого ты петушка вырезал на новое крылечко? – умилялась бабка, впадая в детство. – Наш-то горлопан обознался, крыльями захопал, на крышу вскочил, давай на него налетать, думал, всамделишный.

Иногда захаживал одинокий Филя. Садился на табуретку у двери, чтобы «не загварыздать половики», скручивал цыгарку, угощаясь хозяйским табачком.

Затянувшись, дед Филя откашливался и, подступаясь к больному вопросу, начинал издадека.

– А что же Зинаида, не появлялась? – пытал он о почтальонке. – Пенсию добавили, нет?

Аниска наперёд знала все его ухищрения. От скуки дед днями слушал радио, был в курсе всех надбавок и добавок, просвещал и соседей. Но как же он мог напрямки спросить о соседском горе? Жалостливый Филя притворялся, что не знает о муках стариков – об исчезновении их беспутной дочери. Этот невынутый крыжовниковый шип рвёт дни и ночи их души. Ни запить, ни заесть.

Зинаиду в забытой Богом деревеньке ожидали, словно во время войны Ньюру-почтальонку. Ну могла же она, наконец, порадовать угасающую Аниску весточкой, сыскать её никудашнюю Нинку! Мало ли – ссора вышла! «Свое ведь... Как бывает... Отойдут, опять ладят. А тут – смертная обида. Да на кого? На мать родную!» – возмущался про себя Филя.

– Нет ли чего от дочери? – виновато поглядывая на Аниску наконец-то насмеливался дед.

Бабка затихала, казалось, даже переставала дышать. Выручал Гриха.

– Вот диву даюсь, Хвилипп Николаич, сколько годков бок о бок земельку топчем, а на огороде твоём век табаку не видывал.

– Так я его за бакшой, подале от бабки сеял, дужа ворчала... Теперь вот и поворчать некому...

– А скажи, мил человек, почему же ты мой изводишь?

– Чужой завсегда скуснея! И подмешиваешь ты, Гриша, чегой-то – ох, и духмяный! У меня посла твоего табачку усы неделю пахнуть.

– Чего, чего? Донничку, ясно дело, – важничал довольный похвалой Гриха. – Только неприменно жёлтого, с Плоцкой ложбины. Аккурат щепоть на цигарку.

Скрутив пару козых ножек про запас, Филя отправлялся «за гусьми». Возвращаясь с копаней, швыдко гнал табун мимо соседского двора, стараясь, чтобы гуси не какали, «не докучали» хворой Анисье.

По весне, как преставилась старуха, остался он неприкаянным сиротой. Детей Бог не дал. Из родных – соседи – Аниска да Гриха. Вместе хаты отстраивали после войны, вместе на сенокосе управлялись, вместе радовались урожайным годам и перебивались в лихолетье. Припомнилось, как обучала Аниска его старуху с гусьми управляться.

– В Германии-то я на хуторе жила... при кухне определили, – вспоминала соседка. – Девчонка совсем... Хозяин, чтоб на фронт не услали, откупался от властёв гусьми. Не один табун держал. Уж сколь их перещипала – не припомню. Научилась у них, у германцев, не по-нашенски гусей обрабатывать. Возмёт ихняя фрау уютю, угольёв раскалённых засыпит. Тушку тряпицей мокрой накроит и пришпарит сверху тряпицу-то. Перья горстьми сымай! Лёгонько. За день сколь птицы уработаешь! Уважал меня хозяин за усердие. Порядок они любили.

Вот и на этот раз после ухода Фили старушка очнулась, попросила Гриху принести с улицы «Ниночкины фонарики». Дед, накинув фуфайку, вышел в палисад, принёс несколько веточек, подал бабке.

Аниска не могла уже видеть ярко-оранжевые коробочки, только слушала их шуршание, ощупывала исхудалыми руками.

– Не горять... потухли, – расслышал Гриха, щипавший петуха «на бульонец для Анисы». – Как она там... солнышко моё? Не дождуся, видать... Можить, с ней что приключилось?.. Семь лет!.. Хотя бы взглянуть напоследок!..

Аниска таяла на глазах. Гриха уже не отходил от жены.

Заглядывавший «поздоровкаться» Филя, выходил, осторожно прикрывал дверь. Смекнув, наконец, что приходит Анисье последний час, молча запряг Воронка и покатыл на село.

Спустя несколько дней почтальонша Зинаида доставила телеграмму.

Гриха взял с этажерки развалившиеся очки, долго цеплял на ухо резинку, приложенную вместо дужки. Никак не мог расслеповать: буквы мельтешили, скакали, словно блошки по клочку казённой бумаги.

– Не сподоблюсь я, Зина, ты уж сама.

Почтальонша вздохнула и, не глядя в телеграмму, прочла: «Нинка! Мать плохая! Срочно выезжай».

– Возвернули, – добавила. – Адресат выбыл.

– Не пойму я никак, милая, растолкуй ты мне старому.

– А что тут не ясно? Нинка ваша съехала с квартиры или прикинулась, что там не живёт.

– А я не отбивал телеграмму-то.

– Ну, энтова я не знаю... – Зинаида помялась и прошептала: – Отходить, знать, Анисья Микитишна?

Гриха всхлюпнул, заскоргыкал на вторую половину к бабке.

И без того затяжные октябрьские ночи стали для него нескончаемо-бессонными, маятно-тяжёлыми. Рассвет проникал в щёлку отзынутой Дармоедом двери, напоминал о своём появлении голодным урчанием кота, квохтаньем пеструшек, обклёвывающих глину с завалинки под окном светлицы. Дед ненадолго отлучался, затапливал печь, согревал чай. Отыскав в чулане собранный в Ярочкином логу девясил, беспрестанно заваривал его. Иногда выходил в сенцы, садился на лавку, тихо, чтоб не слышно было в хате, толковал сам с собой. Вспоминал забросившую их с бабкой на произвол судьбы дочь.

– Ну за что осерчала, не едет? – Мучительно раздумывал Гриха. – Пенсию внукам, Толику да Славке всю как есть ... на ученья. Так её ж дети-то... И ей доставалось, не обижали. Материны марки германские сама по доверенности получала. Анисья и в руках не держала. Чего разобиделась, в толк не возьму. Бе-да!

Под Покров явилась Степанидина Раиска. Побежала в сельсовет, оформила материны бумаги. Перед отъездом заглянула к соседям.

Посередь комнаты на чисто выскобленном столе, покрытом суконным одеялом, лежала бабка Анисья. Руки крест-накрест. На глазах по медному пятаку. Вместо свечки – веточка с горящими китайскими фонариками.

Раиса молча прошла на кухню, захлопотала.

К вечеру с дальнего краю подтянулось несколько старух. Открыли Анискины сундуки, разыскали узелок со смертным. Тут же расшитые скатерти, занавески, пододеяльники... Вспомнили: ни одна баба на деревне не выдала дочку замуж без Анискиных вышивок, без справленных её руками наволочек, карнизов, подзоров. А уж рушников перевышивала – и не счесть!

– Оттрудилася рукодельница, – Раиса услышала, как приговаривали бабки, снаряжая Анисью в последний путь, – Нинка-то поди не знаить. Сообчи-ли аль нет?

– Под праздник какой преставилася! Под Покров! Не кажнова удостоить так-то Господь.

С рассветом пошёл снег. Дед Филя привёз на санках по первопутку трёх гусей.

– Накося, Рая, на холодец... На помин души навопреставленной... Умела его Анисья стряпать...

Раиса вспомнила, как тётка Анисья учила её когда-то управляться с птицей.

Подготовив гусей, растопила печь, задвинула ведерный чугун подальше в жар. Шмыгнула во двор за дровами. Набрав из под сарая охапку, замерла – к дому шла Нина с сыновьями.

Филя, сгружавший с саней столы и скамейки утёр кулаком глаза:

– Ничего... Ничего, что опаздала... Приехала и хорошо... Душа Аниски-на ишо тут... видит...



РОЙ



а веранде пахло оттопленным вишнёвым листом. Готовились варить «царское» варенье. Усевшись на маленькую скамеечку, я с утра вычищала шпилькой крыжовник.

Оставалось полведра. Вихрем ворвался племянник Илюшка. Он выл и размахивал руками. Ещё чуть-чуть и разревелся бы, но я вовремя придавила пчелу в его растрёпанной копне.

– Тётё Тань, что творится! Улей под бузиной разроился! Папку отхватили, в сарай нырнул, теперь дотемна не вылезет.

– Поди, на кухне петрушка лежит. Пожуй да приложи.

Прямо на глазах у малышки, словно у молодого бычка, среди кудрей пробивался рог. Илюшка шмыгал носом, но крепился.

Окольными путями, сквозь заросли жасмина, на веранду вломился брат Андрей.

– Чтoб я до вечера вышел на двор! Ни за какие коврижки! Прямо озверели! Что будем делать? Сорвутся ведь!

Сызмальства не переносил он пчелиного укуса. Покрывался сливовыми плитами, подсказывала температура. Пластом лежал, еле отхаживали.

– Отца нет, ушёл к Афоне за медогонкой, – Андрей с надеждой посмотрел на меня.

Когда-то родители держали немалую пасеку. Мёд качали сорокалитровыми бидонами. Нынче лишь пара ульев погуживала под кронами сада. Понятно, почему брат тревожился: последние разорятся, улетят.

– А меня, значит, не жалко, пусть съедят? – заворчала я. Вспомнила, как в детстве двоюродная сестра посадила на улей, а сама сбежала. Я ревела до тех пор, пока кто-то из взрослых не снял. Потом ночами просыпалась, кричала и отмахивалась: «Алёны! Алёны!» Так в деревне майских жуков зовут, я и приняла за них пчёл.

Ворчала, а сама торопилась в кладовку.

В полумраке дремали дымари разных калибров и возрастов. На гвоздиках под потолком порхали сетки – шляпы с вуалью.

– Как раз для дам дельце, – съязвила и сняла одну поновее, без дыр.

В углу на полке примостилась роевня. От неё шёл особый дух, который ни с чем не спутать, – дух пасеки. В мешке, сдёрнутом на шнурок, нащупала гнилушки. Отец набирал их с осени в Макеевых раkitках, зиму сушил в печурке, а с весны курил-дымарил вокруг ульев.

Старые, отслужившие век рамки, знакомый с малых лет облезлый ящик с вошиной. У стены штабельком – заготовки для нового улья. На вешалке тёмно-синий халат, пропахший дымом, прополисом, с верёвочкой в кармане вместо пояса.

Сколько себя помню, столько помню пасеку. Все почему-то считали, что я пчёл не боюсь. Как же! Не боюсь! Просто хотелось в детстве козырнуть: вот, мол, какая смелая. С годами обтерпелась, а теперь и отступать не к чему.

Начиная с июля мёд качали несколько раз за лето. Отец вынимал кишащую пчёлами рамку, фырчал дымарём. Я принимала её и несла в беседку. Там под кустами сирени, на столе, стояла выдавшая виды медогонка. Стряхнув пару-тройку неотвязных злюк, срезала острым ножом запечатанные соты.

Смотрела на солнышко. Самый расчудесный цвет для меня был и остаётся – медовый. Домашний, родной. Не люблю, когда говорят «янтарные соты». Янтарь – камень, значит, твёрдый, холодный. А мёд – тепло, солнце.

Ставила по две рамочки в каждое крылышко медогонки, вращала ручку. Золотые капли выплёскивались на борта, медленно заполняли дно. Открывала краник. Мёд густой. Тёмно-коричневый – гречишный, бежево-песочный – с разнотравья. Рисуя какие-то старинные узоры и хитросплетения, вязкая неотропливая струйка устремлялась в эмалированное ведро.

Подставляла палец, снимала пробу. Вкуснятина! Сразу не разобрать, с каких трав-цветов взяток. Букет клевера и чебреца, душицы и донника, а то – дохнёт вдруг сурепой.

– Таня! Что ты замешкалась? Уйдут же!

Андрей, притащив ведро с водой, связывал второпях наломанный за амбаром бурьянный веник.

Надела отцовский халат, завязала на запястья резиночки, чтоб ни одна кусака не забралась, подпоясалась потуже. Натянув ватные штаны, нахлобучила сетку, вооружилась веником, подготовилась к бою.

Брат занял место у форточки, занавешенной тюлем. Оттуда, как на ладони, видно поле битвы.

Спустилась с крыльца. Во дворе переполох, повсюду пчёлы. Полдневный зной кишел несносными созданиями. Хаос и зловещий гул.

Мимо пронёсся визжащий Дружок, нырнул с разбегу в кадушку под водосток. Летом её наполняли водой, замачивали под осенние маслята. Не раз наблюдала, как в жару щенок становился на задние лапы, передними опирался о край кадушки и лакал дождевую воду. Видать, несчастный не мог придумать ничего лучше, как нырнуть с головой, отбиваясь от пчёл. Окунувшись несколько раз, Дружок забился в будку и, постепенно отходя, всхлипывал, словно обиженный ребёнок.

Живность попряталась от разъярённых полчищ. Только я, будто завороченная каким-то волшебником, продвигалась по двору, стремясь попасть в самое пекло.

У картофельных гряд наткнулась на обезумевших индюков.

Каждый день с ними морока. Проныривают в известные только им щели горожи, срываю огород. И всё ради лакомства – отвратительного колорадского жука.

Не подозревая о надвигающейся пчелиной атаке, наглея оттого, что никто не гонит прочь, забрались они в картошку. Пчёлы в диком разгуле набросились на потерявших бдительность индюшек, изжалив плесневые лысые головы.

Зарывшись в землю, подбрасывая тучи пыли, птицы отбивались от врага. Жалобно гундосил рассопливившийся индюк, на распухших головах пучились бородавки.

– Инопланетян-страшилищ увидеть не желаешь? – обернулась к брату.

– Если б вовремя не смылся, сам таким же марсианином стал. Угомони, ради Бога, эту свору. Не бойся, заходи с сирени!

Подбадриваемая его командами, решительно направилась к ульям.

В кроне налива завихрялась и кружила со страшной силой пчелиная метель.

– Во, во! Туда сбиваются! – услышала голос из форточки. – Лестницу тащи из-под сарая. Смотри, тяжёлая! Волоком, волоком!

– Может, принесёшь? – подшутила над братом.

Знаю, что не проберутся злодейки сквозь сетку и ватные штаны, а до жути неприятно. Окунула веник, яростно забрызгала по веткам, обходя яблоньку.

Пчёлы, слетевшиеся со всех углов двора, кучковались на самой верхушке.

Размахивая бурьяном, взобралась на дерево.

– Форменный ад! – донеслось сквозь свирепое жужжанье.

– Интересуешься? Можно посмотреть поближе!

– У меня и так волосы дыбом.

– И чавой–то вы тут разгальделися? – от калитки семенила тётка Ненила, старшая отцова сестра. Поставив тяжёлую плетушку под куст на лавочку, заспешила «поздоровкаться».

– Чужала, в Закамнях боровики должны проявиться, какой день собиралася. Сбегала, душу отвела. Теперя насушу, Вовчику посылочку справлю. Дык и Любе тожить надо.

Тётка у нас – «ванька-встанька». Спора на руку, легка на подъём. За долгую, ухабистую жизнь ничем не хворала. Иногда лишь «вздирал коренник», мучил день – другой и занигумливал. И опять бегала тётка Ненила в свои восемьдесят от родника на Мишкин бугор с двумя полными ведёрками, не пыхалась.

С зари шмыгнет в окрестные урочища. Она будет не она, коли первая не напорет белых да подосиновиков в Савином логу.

Маленькая, тощая, в чём душа теплится. В ходаках, подвязанных у щиколоток шнурками от дедовых старых ботинок, мелькала она то на бакше с тяпкой, то на ручью с вальком, а то «причепуривалась» и отправлялась «на Слободную» к Вальке Михайловой в гости.

Разговаривала тётка на одном ей ведомом наречии. Деревня привыкла к выдумкам-причудам и почти всё понимала. Дорога у неё не извилистая, а «авилоньями», «как-нибудь» на её языке «тёх-верентёх», а вот «чёрт-морд» употреблялось в нескольких, порою совершенно разных значениях.

Тётка, ничуть не страшась, подошла к яблоньке, на которой я сражалась с роем.

– Ты не мельтешь, не мельтешь. Не ровён час, распужаешь, – советовала она, отмахиваясь голыми руками от выбившихся из клуба пчёл, – шчас по-соблю. Накося, – протянула пук свежего бурьяна, – одни былки от твово-то осталися. Вишь, как поистрепала, не трепи зазря.

– Тётъ Нин! Ты куда без сетки-то, раздетая? Сожрут!- волновался о старушке Андрей.

– Пушай ишо угложуть! Жалы поломають! А ты не дремь тама, дымарь разводь! Ишь, рукавадетель нашелси!

Тётка «свостожила» себе веник и, встав на нижнюю ступеньку лесенки, притрухивала на гуртующихся пчёл.

Наконец, они сбились в плотный клуб на кончике ветки. Сверху облепились листьями, сразу не распознать. Висят, монотонно жужукают, затихают.

– Поди, девонька, вздохни, а я их, тѣх-веренътѣх, попасу тута. Надоть им дать очахнуть.

Я оставила ведро под яблонькой. Тётка, словно часовой в дозоре, заходила с веником на изголове вокруг ствола.

– Пойду, роевню сготовлю, дымарь поднесу.

– Иван-то и не знать, что работницы его разбеглись? Сбири, поди, чёрт-морд!

– Илюшку за ним спроважу, – крикнула я от крыльца неугомонной старушке.

Исчезла в кладовке и не увидела, как рой сорвался с налива и начал стремительный облёт сада, взмывая и садясь там, где взбрендит, попеременно распускаясь и сбиваясь снова в клубок.

Тётка носилась за ним по картошнику, по огуречным грядкам, щедро присаживая прибаутками воду, которой неотступно сбрызгивала сумасшедший рой. Голыми руками, без сетки, халата и брюк мужественно сражалась с «басурманским отродьем». Наконец, вдоволь набегавшись, усадила рой на клѣн.

– Татьяна! Куды ж ты запропустилася! Принимай, чёрт-морд, не ровѣн час сбегутъ!

Я примчалась с роевней, с горем пополам огребла рой, опустила в подвал.

– Пушай охолынуть окайные, – проворчала умаянная бабка.

Платок у бедняжки сбился, ходоки соскочили и бежали, будто щенки, следом. Шнурки, завязанные на двойной бантик, плотно удерживали их у щиколоток. Она подошла к кадушке, в которую недавно нырял Дружок, сполоснулась.

– Ну, плименница, разводи ввечеру самовар. А с Ивана причитается. Так и передай, тётку, мол, чуть не сглодали. Полдня авелоньями по картохам! Слава Господу, ходоки подвязала Вовчиковым вузлом, выучил в прошлом годе, заверял, вузел-то морской, не распутяется.

Поправив обувь, вскинув на плечо плетушку, тётка Ненила нырнула в черносливы – кратчайший лаз меж нашими дворами. Отправилась, как ни в чём не бывало, восвояси. Я кинулась дочищать крыжовник, доваривать «царское варенье».

Вечером в беседке пили чай. Старый медный самовар заварили вишнёвыми веточками. Малосольные огурчики обмакивали в свежем меду, похрустывали. Подшучивали над Илюшкой. Рог его исчез, но глаз заплыл. Мальчишка перевязал его чёрной лентой, надел отцовскую тельняшку и носился вокруг стола с самодельной саблей, пиратствовал.

– Нин! А ты аль поправила за день? Вчѣрась как щепка была, а нынче прямо расцвела, – подшучивал отец над сестрой.

Тётка сверкала щелками глаз. Руки, словно у младенца, в перевязочках. Нижняя губа отяжелела и отвисла, мешала жевать соты. Тётка добавляла мѣд прямо в чай, пришлѣпывала распухшей губой и недоумевала:

– Ить сколь лекарства на меня срасходовали зазря, каналы!



ПЛЕТЕНЬ



Вернувшись с фронта и поставив на месте сгнувшейся в лихолетье хаты новую (благо лес под боком), Кузьма, по заведённому со стародавних времён обычаю, обнёс усадьбу ловко сработанным плетнём.

Ивняка у речки – руби, не хочу. Четыре года не резали деревенские лозняк: и корзины плести некому, и особо собирать в них нечего было. Заматеревшие ветки – не хмызник-однолетка, прослужили Кузьме долгие послевоенные годы.

Старый тын, иссушенный студёными лютыми ветрами, прожаренный раскалённым летним солнцем, казалось, окаменел. Без него невозможно представить подворья деда Кузьмы.

Изредка в допотопном плетне то там, то тут появлялись бреши (камни, и те времени подвластны). Старик шёл в пойму, нарезал охапку ивняка, смахивал тесаком листву и наглухо замуровывал дыры.

Вьюжными зимами у тына пластались сумёты. Снеги горами наваливались на приседавший под их нахрапом плетень. Оседлав его, залихватски заламывали козырьки над его верхушкой.

По весне Кузьма подпирал рогатулями покосившийся, всё больше сжуривающийся, сгорбленный, словно вековой старикашка, тын. И тот, зарастая за лето глухой крапивой и чистотелом, поскрипывая, покряхтывая, продолжал нести свою не приметную службу.

Иногда дед не доглядывал, и жуликоватый кочет Горлопан проныривал сквозь обветшавшие прутья, скликал на луковые гряды оголтелых пеструшек, и те в одночасье срывали бахчу, купаясь в парной пыли, склёвывая первые огурчики, обирая увесистые кисти перестоявшей смородины.

Подслеповатый Кузьма препоручал внучонку Мишутке обходить дозором плетень, выискивать куриные лазы. Но с каждым разом их объявлялось всё больше и больше. Плетень рассыпался на глазах, умирал.

– Видать, подходит наш черёд, – вздыхал Кузьма, не пытаясь уже ладить отживший свои лета лозинник.

По осени, лишь прибрали бахчу, дед, приспособив в помощники внука, принялся разбирать тын, стаскивая его остатки на зады. Земля казалась неуютной, голой сиротинкой. Приблудная скотина своевольно разгуливала по бахче, копалась в куче повядшего свекольника, подламывала смородиновые кусты, топтала малинник.

Вздвигив шалашом трухлявые плетины, Кузьма запалил кострище. Пристроившись на подваленной раките, дед вынул кисет, достал коробочку с ровно нарезанной газетой, скрутил сигарку. Мишутка хлопотал у огня: пошевеливал прогоравшее, охапками подкидывал извивистые прутья развалившегося плетня.

– Выходит, внучок... закончилась страда моя... Не к чему огород городить, – дед прищурился и посмотрел на огонь, словно хотел в нём рассмотреть пережитое, – так вот по прутику, по веточке и жисть прогорела... Закончена моя пахота... Всей землицы в запасе – два метра на Поповке.

– Ты, деда, гляди у меня, не хандри! С кем же я подсолнухи по весне посею? А лузгать, как вырастут, кому стану? А рогатки кто мне меткие сладит? Дрозды без тебя весь вишенник обдёргают!

С того дня дед затужил-захворал и не спускался с печи, а как выполз под Покров на завалинку, пощунял одобрительно: «Ах вы, такие-раздакие, что ж в тайне держали? Когда ж плетень-то успели сладить?»

Мишутка с отцом съездили на Карюхе в низину, прошлись бережком, опилили ракитки, нарубили ровненьких колышков. Натаскали лозняка. Вбили ракитовые черенки, переплели прутьями. Ракитка – дерево неприхотливое, где воткнёшь, там и прижилась. Только полей! Не ветродуи осенские не страшны ей, не снега-метели.

А под Светлое Воскресенье прибегает Мишутка с улицы.

– Дедка! Плетень зацвёл!

– Молодой-зелёный... Жисть из него наружу прёт, вот и хорохорится-радуется. Пущай цветёт... твой это плетень-то Мишутка, и землица на подворье – твоя. Береги!



ОДОЛЕНЬ-ТРАВА



Весь июнь полоскали дожди. Трава вымахала в человеческий рост. Стёжка к роднику поросла анисом. Белые шляпки его укрыли днище оврага, словно снегом завалили-заметелили крутые скаты Мишкина бугра.

Сняв вёдра с коромысла, Катька славливала ладонью с воды белых мушек и сердилась.

— С анисом-то вкуснее, оставь, — подшучивал отец.

— Ты бы лучше стёжку обкосил. Сил нет пробираться.

Василь Петрович проходил ручку, другую, сбивал разбушевавшуюся траву. Но от тёплых ли дождей, от нашей ли благодатной землицы она пёрла, как на дрожжах.

... Пробившиеся сквозь разрывы облаков лучи заштопали прохуdivшиеся небо лишь в августе, через неделю после Ильина дня, когда лето пошло на убыль. Дожди прекратились. Прояснило. Грозовые облака похохатывали где-то за Богачевым урочищем. Небо, отяжелевшее от беспросветных туч, вдруг очистилось и взмыло на такую высоту, что жаворонки затерялись в его бездонности.

Солнце, соскучившись за густыми облаками, обрушило на хутор нескончаемые потоки тепла и ласки. Над Жёлтым зависла шафрановая радуга. Один её конец опускался в Сидоров сад, второй, густо окрашенный, напитался рыжевато-коричневой болотной водой, упал в торфяниках на Ломинке.

Отец загорелся: «Теперь уж устоится. Долгожданный нынче сенокос. Завтра с утречка и начнём. Не сгниёт сенцо, подсушим, подворошим». И застучал, затюкал, отбивая под сараем косу. Вскорости и у Меркуловых послышалось: «Дон-дон-дон», и у Стёпиных подхватили: «Дилинь-дон, дилинь-дон».

Завидя, что мать готовится закатить постирушку, отец упредил: «Все дела в сторону, едем на сенокос, в Ярочкин. Делянку нынче там отвели».

Раным-ранёшенько, ещё и кочет не в полную силу голосил, а так, подкуреквивал только, отец запряг Буяна. Не заходя в дом, приоткрыл окно, окликнул Катьку. Мать заспешила с подойником из сарая. Плеснула через край в кошачью миску на крыльчке, направилась к телеге, накинув на плечи белокрайку и прихватив стоящую на лавке у крыльца корзинку.

Отец привязал вожжи к гороже, постучал кнутом в двери соседской хаты:

— Шур, пусти Лёньку с нами, пусть пособит на косовице.

— Заглянь на сеновал, дрыхнет ещё без задних ног, — откликнулась, не отворяя, тётка Шура.

– Боец, подъём! – и отец забарабанил кнутом по перевернутому вверх дном корыту.

Катька сидела на телеге, свесив ноги меж лесинок. Рядом пристроилась мать с корзинкой. Из-под рушника торчали хвостики лука, пахло гусятиной. В узелке ещё теплились лепёшки со шкварками. Россыпью на дне плетушки белел недоспелый налив. Сбоку телеги болтался закопченный чайник – спутник всех сенокосов. Под траву уложили пару граблей, косы.

Заспанный Лёнька с сенной трухой в смоляных волосах уселся на задке. Длиннющие ноги почти коснулись земли. Он поёжился и стал натягивать впихнутый тёткой Шурой свитер. Отец прикрикнул на Буянку.

Дорога заметно подсохла. Лишь иногда в лощинах попадались лужи. Лёнька соскакивал, подталкивал телегу, упираясь жилистыми руками в лесинки, а потом на полном ходу ловко запрыгивал на своё место. Ехали молча, досыпали. Увязавшийся следом Дружок шлындра по росе, стряхивал мокрую пыльцу с кремовых свечей подорожника и заливисто лаял. На Глиняной дороге из овса прямо перед мордой Буянки выпорхнула какая-то птичка. Замельтешила, засеменила маленькими ножками, не уступая дорогу и подсмеиваясь: «Не догонишь! Не догонишь!»

Тонкий утренний холодок бодрил и мешал Катьке дремать. Лёнька пристроился к ней калачиком, прикрылся охапкой травы и тут же затих.

На верхушки Плоцкого березняка опустилось, задрожало на утреннем ветерке розовое пёрышко. Присмотревшись, Катька увидела чуть поодаль ещё одно, а потом ещё, и ещё. Казалось, какая-то розовокрылая птица, пролетая, обронила в перелесок, в курящийся Ближний лог подёрнутые перламутром перья. А через мгновенье явилась и сама. Распластала чудесные крылья, закрыла собою восток и полетела навстречу Буянке, навстречу улыбающемуся во сне Лёньке, навстречу заворожённой рассветной красой Катьке.

Вот высветился Филькин овраг, очнулся Жёлтый, засверкал, зажурчал, убегая за Савин лог. Отступила в чащу Закамней ночная мгла, и ясное августовское утро засияло алмазами-изумрудами в зонтиках придорожной сныти, вспыхнуло рубинами в иван-чае, янтарём да редкими аметистами заиграло в иван-да-марье. Брызнули и потекли вдоль откосов кукушкины слёзки.

И вот уже слышно: вжикнула первая пчела, возвращаясь из разведки, а чуть позже замелькали, понеслись с хутора на гречишное поле, что пенится на Мершине, её товарки.

Косить по росе – самое время. Потому заторопился отец, встал во весь рост, закрутил над головой вожжами, засвистел. Буянка заметно прибавил, и косари въехали в Ярочкин лог.

...В стародавние времена, когда предки ещё не обустроили на Жёлтом хутор (а может, когда их и самих-то ещё не было), столкнулись два богатыря, упёрлись лбами, не уступая друг другу ни пяди земли. Заупрямились, замерли, да так и остались стоять в противоборстве на столетия. Лбы их – крутые горки – состарились, поросли мхом, травую-муравую, засеялись перелесками. А теперь шумит лес – стволы не обхватишь. Раскатился на километры, упираясь на юго-западе в Кромю реку. Разросся дальше по горкам, развеивая осенью крупую манной семена на прилесьные поля.

Буянка подустал... Долго колесить по лесу не пришлось: отец хорошо знал наделы. Выбрали местечко посветлее, поскидали грабли, косы, конька распрягли, стреножили.

Травища! Потеряться можно. Заколосилась, поспела – самое сенокосное времячко. Дух в лесу крепкий, хмельной, на клеверах-донниках настоящий.

Присмотришься: и не видать ни колокольчиков, ни мятлика... одно лёгкое кисейное облако парит над поляной. И не различаешь уже: туман ли последний тает, дымка ли над чебрецом-душицей кружит. Елеем проливается аромат трав лесных на душу хуторянина.

Парят неожиданными снежинками зонтики сныти. Пробираешься в их зарослях осторожно, словно боишься: оборвутся, спутаются тончайшие кружева. Потянешь, за паутинку-ниточку – распустишь невзначай, нарушишься извечный порядок, не переснимется уже никогда старинный узор, утерается на веки вечные.

За густыми зарослями орешника, где-то на дальних пригорках послышалось ржание. Чуткие уши Буянки тут же уловили радость в голосе отпущенной на волю кобылицы. Конь откликнулся, и разнеслось над лесом счастливое приветствие, его подхватили, затрещали сороки и растрезвонили на весь Ярочкин лог. Вот, мол, какое утро чудесное, празднуйте с нами пору сенокосную.

Жикнул брусок. Отец налаживал литовку. Со всех концов леса послышалось: «Вжик! Вжик!» Это хуторяне подоспели, тоже к косьбе готовятся.

Лёнька между делом нарубил лапника, соорудил шалашик. В тень задвинули корзинку со снетью, жбан с квасом. Мать расстелила лоскутное одеяло.

Закатав повыше рукава клетчатой рубахи, отец пошёл первую ручку, за ним пристроился Лёнька. Ещё не так умело, но ладил, старался не отставать. Вжик-пережик – падает стена разнотравья, вжик-пережик – поют, переключаются литовки.

Всю свою недолгую восемнадцатилетнюю жизнь старался походить Лёнька на Василь Петровича, своего крёстного. За отца родного почитал.

Завербовалась Шурка, Лёнькина мать, когда-то, уехала на заработки. Всё, что привезла из краёв чужих, – черноглазого смуглого пацана. Сокрушался отец её, дед Зуб, мол, приبلудила мальчонку, позор на всю округу. Да и поднимать как? Нищета нищетой.

Катькин отец мечтал о сыне, но Господь дал ему трёх девчонок. Привязался он к соседскому пацану: жалко, безотцовщина. Да и Лёнька потянулся к Василь Петровичу. Спозаранку пролазал через дырку в горшке на его двор и щенком бегал за соседом. То строгают-пилят вместе, то плетушки плетут, а то отправятся за гусьми на пруд. Заплывут вредины к неподступным болотистым берегам – и попробуй вымани на ночь. Выручал Лёнька. Плавал, будто рыба, с тех пор, как ходить начал. Да и вообще, на зависть деревенским бабам, Шурка не пичкала Лёньку микстурами. Ни соплей тебе, ни корей, ни кашлей-простуд. Раз только прихватило Лёньку крепко лет в пять – и то по дури, от жадности. Забрался к Макеевым в сад – у бабки крыжовник крупный – Лёнька и обтрескался, неделю штанов не носил, за двором сидел. Шурка сходила к Колдучихе, та без всяких наговоров посоветовала перво-наперво Лёньку выпороть, чтоб неповадно было, и корешков каких-то дала,

велела с дубовой корой смешать и Лёньке отвар вскипятить. А так, ничего особенно болезного Лёнька за собой не припоминает.

Привязался он к соседскому семейству так, что тётка Шура даже ревновала.

– Мёдом тебе на ихнем дворе намазано что ли? Прижился совсем.

Лёнька молчал, а после школы опять бежал к соседям и пропадал у них дотемна.

А тут ещё Катька: то задачку подскажи, то стенгазету нарисуй. Разница в возрасте небольшая, но он – старший, вот и присматривал повсюду за соседской малявкой.

Однажды собрались Катькины родители в клуб и тётка Шура с ними, фильм индийский смотреть, девчонке тогда года четыре было. Лёньку за няньку оставили. Рассказывал он ей сказки, смотрит: вроде, спит, а глаз один всё-равно приоткрыт, за ним наблюдает, не сбежал бы мальчишка...

Сейчас уж Катьке пятнадцать, а Лёньке осенью служить.

...Подвязав косынку, Катька шла следом за косцами, разбивала густые валки. Не первый год берёт отец её на сенокос. Уж и руки окрепли, не зажимают грабли, не напрягаются, не срывает она кровавые мозоли, как поначалу. Играть грабельки в девичьих руках. Посмотришь издали: не девчонка-малолетка, а девушка ладная.

Сняла по весне пальтецо, а и не Катька уж – Катерина. Расцвела, повзрослела за зиму. Хотел было Лёнька вечером на лавочке, как раньше, жука майского ей за шиворот кинуть, уж и руку занёс, да, взглянув на завитушки на шее, остановился и неожиданно для себя самого спросил:

– Кать! Не замёрзла? Холодает.

– Ты, что, Лёнь, духота какая! – рассмеялась Катька.

С той поры, куда бы она ни пошла, рядом возникал Лёнька, долговязый, чёрный, как смоль, глаза – вишни карие. И с кем его только Шурка приспала?

Слышно, где-то впереди отец подбадривал Лёньку:

– Не спи, боец, догоняй!

Парень приостановился, скинул рубашку, отшвырнул подальше. Поплевал на ладони, как заправский мужик, азартно рванул вперёд.

– Запалит Лёньку, – подумала Катька об отце.

К запаху свежескошенной травы примешивался аромат луговой клубники. Собрав наспех пучок переспелых ягод, девчонка перевязала его стебельком овсяницы, кинула на приметное местечко и заторопилась вдогонку косарям.

– Обед! – послышался голос отца с конца делянки.

Она и сама порядком устала.

Мать возилась у шалаша, раскинув скатерть-самобранку. Первые молодые огурчики, десятка два яиц, хлеб, нарезанный крупными ломтями, куски пахучей гусятины, домашний сыр.

– А что ж ты, забыла что ли? – подсаживаясь к «столу», покачал головой отец.

– Да прихватила, прихватила, – отвечала мать, вынимая завернутую в газетку поллитру.

Готовил её хозяин сам, никому не доверяя, на не распущенных почках чёрной смородины. И рецепт свой держал в тайне. Считал каждую почку,

и потому называл этот продукт «штучным товаром». Употреблял только по праздникам, а сенокос в деревне исстари самый весёлый, самый чистый, самый цветастый праздник.

Пообедав, отец забрался в шалаш вздремнуть.

— Лёнь, и ты отдохни, вон какой гай смахнуть до вечера придётся, — посоветовал он, и уже через минуту из шалаша донёлся мерный посвист.

Мать, пользуясь минуткой, поспешила в лес. В эту пору она всегда собирала ежевику, непременно с листьями. И сушила их потом в чулане. Рядом висели мешочки с липовым цветом, заготовленные в конце мая. За лето по пути с обеденной дойки набирала она пуки зверобоя, развешивала в том же чулане для просушки. Когда зацветала мята-мелисса, заполонившая задворки, мать обрывала самые цветочки, и опять — в чулан.

Зимой соседи ходили к ней на чай. Она брала по горсточке всех трав, заваривала в чайнике, добавляла топлёное молоко, и долгими зимними вечерами соседки засиживались у неё на кухне.

...Солнце цеплялось за деревья. Над поляной змеилось марево. Неразбитые валки, как гребни волн, накатывали с пригорка. Море травы, непечатый край работы: и разбить, и поворочить.

Припекало. Лёнька подсел к Катьке, пристроившейся на подваленной берёзке. Набрав охапку пропахшего мёдом сергибуса, она очищала стебли от кожурки. Прозрачно-зеленоватые стружки падали к ногам.

— Может, искупнёмся?

По Лёнькиному смуглому телу стекали ручейки пота, а волосы ещё больше кучерявились. На прожженном солнцем лице сияла белозубая улыбка. Катька вспомнила, какая тёплая, парная бывает в эту пору вода, и ей захотелось окунуться, смыть жар с опалённых плеч. Нос облупился, лицо полыхало переспелым помидором.

...Они шли по заросшей дроком тропинке.

— Хочешь во-он на той осинке имя твоё вырежу? — спросил вдруг Лёнька, показывая на высоченный остроконечный обрыв, прозванный хуторянами Иван-царевичем. На самом краю росло одно-единственное дерево.

— Хвастаешь, туда и взобраться-то никто не сможет.

Лёнька молча снял сандалеты, подкатал до колен штаны и, цепляясь за свисающие корни, полез по отвесному склону. Глина крошилась, осыпалась под ногами, но упрямец карабкался вверх. Большущий ком отвалился и полетел в ложбину, поросшую крушинником. Лёнька сорвался, но успел схватиться за оголившийся корень.

— Лёнь, не надо, Лёнечка, я пошутила. Я верю, ты долезешь, возвращайся! Но его уже ничто не могло остановить.

Вот ухватился за ствол осинки, вот медленно пополз вверх. Остановившись на середине, вынул из кармана рубашки перочинный ножик. Крупными буквами вертикально по стволу вырезал: «Катя». Потом сполз чуть ниже и добавил: «Я тебя люблю». Убрав нож, схватил самый длинный корень, оттолкнулся от Иван-царевича и приземлился чуть поодаль девчонки.

— Дурак! — крикнула та, и, не оглядываясь, побежала вниз, к озеру.

Только бы не разглядел счастья в девичьих глазах, только бы не расслышал радостного стука сердца!

Лёнька догнал её у воды.

Потянуло свежестью. Озеро напоминало блюдце из буфета в Катькиной горнице: края густо расписаны изумрудной ряской, купавы крупными куртинами желтели у берегов, болотник разбрызгал алые звёздочки среди острых листьев аира, рогоз многочисленными свечами украшал левый край озера. А в центре – водяные лилии, или, как их в народе называют, одолень-трава. Бело-розовыми чашечками стояли цветы на круглых буро-зелёных блюдах.

Лёнька, не снимая штанов, нырнул с поросшей водорослями коряги и выплыл только на середине. Он что-то прокричал, но Катька не разобрала. Она вошла в воду, подоткнув сарафан, смочила косынку и покрыла голову. Умылась, сполоснула грудь и плечи; купаться не стала, заметив в камышах змейку-ужовку.

Стояла на песчаной отмели у берега. Вода была настолько прозрачна, что Катька до каждой песчинки-камушка видела дно. Меж ног стайками шныряли беззаботные мальки, щекотали икры. Пару раз объявлялись рыбы покрупнее, но, заподозрив чужака, отплывали и, сбившись в небольшие косяки, фланировали на глубине. Иногда рыбка всплскивала, взлетала над водой, и Катька успевала разглядеть серебристую спинку. Рыбка исчезала, и по воде разбегались круги.

Водомерки, как залётные марсиане, расхаживали по недвижимой глади на своих длинных тончайших лапках.

Стрекозы носились парами над заводью. Они тарасили глазища и шуршали: «А ты зачем здесь?» Голубые мотыльки беззаботно роились у берега.

– Ка-тя! Кать! – донеслось с озера.

Лёнька плыл, держа в зубах водяные лилии. За ним тащились длинные стебли. Катька расхохоталась. Он был похож на щенка. Чёрный, лохматый Тяпка так же плавал за палочкой и приносил её в зубах.

Лёнька вышел, протянул кувшинки.

– Ты что смеёшься?

– А ты на Тяпку похож.

– И преданный такой же, – вспыхнул парень.

Одним движением подсек, подхватил её на руки и понёс в озеро.

– С ума сошёл, я же не плаваю.

– А ты держись за меня крепко-крепко, – шептал Лёнька, – не отпускай никогда рук.

И целовал.

Катька не услышала, как закуковала кукушка, не увидела, как мать, вышедшая с охапкой можжевельника к озеру, вдруг повернула и заспешила на покос.

Она смотрела в горящие глаза, чувствовала надёжные Лёнькины руки и понимала, что даже если расцепит свои, он никогда её не уронит.



КРАСНОТАЛ



Тальник – кустик неприхотливый, где лозинку воткнёшь, там и приживётся. А уж у нас на Орловщине по берегам Оки, вдоль ручейков-речушек, у малых прудков этого добра такие дремучие заросли, что порой к воде из-за него сразу и не подступиться. Да и растёт лозинник с такой скоростью, что никакие ветры буянистые не успевают его изломать, ни морозы лютые выстудить, ни летняя беспросветная жара иссушить.

Если свернуть с большака у расщепленной грозой акации, а потом всё балкой по-над Гремучим, то ныряющим в осоки, то выскакивающим на луговой простор, глядишь, через четверть часа на хорошем ходу упрёшься в прудок, из которого по недогляду местных мужиков сбежал этот самый ручеек-шустрячок.

Когда-то в Лебяжьей низине деревенские миром вбили ракитовые да ивовые колья, переплели их крепко-накрепко, насыпали вал и обустроили небольшую плотину. Образовался прудок. Откуда-то сама собой взялась полагающаяся такому водоёму растительность – зашуршали камыши-осоки, зажелтели купавки да кувшинки, выстлались сине-шёлковыми коврами незабудки. Налетели чирки, растрещались в краснотах соловьи, разорались лягушки, пошли кружочки-круги от мелкой да ядрёной рыбыцы.

На правом, хуторском, берегу, в самом тальнике, затерялся деревянный крест. Замшел от низменной сырости, но всё ещё различимы на верхней тесинке вырезанные плотником Петром Коноваловым слова: «Мир праху твоему, Фёдор Устинов, Божий человек!»

Лет, почитай, семь кресту тому. За такие годы нахрапистый лозинник заполнил своею порослью всю низину. Чужому глазу не разглядеть прозеленившийся крест. Но сквозь задичавшие заросли пробита к нему тропинка. Видать, помнят о Божьем человеке на хуторе. Такова людская психология: имена злодеев постепнно исчезают из его памяти, имена же сеятелей добра остаются навсегда.

Не забыл Фёдора Устинова и Илья.

В тот год, в канун Бабьего лета, Илья Светлов, начинающий московский художник, ещё ни крошки не вкусив от пирога славы, рванул в осень, наугад

в центральную Россию. Не имея ни перед кем обязательств, сколько хочу – столько и пробуду, прихватив палатку да этюдник, укатил на Орловщину. В областном центре сел на автостанции в первый попавшийся автобус и через пару часов вышел на обочине суглинистого просёлка. Проведя душевное лето в столице, он томился по долгожданной поре, по этим первым, тёплым, лучистым дням осени.

Несмотря на облупившуюся краску, художник смог разобрать надпись на дорожном указателе: «Красное – 3 км». Свернув на утоптанную до блеска тропку и взобравшись на пригорок, остановился, заворожённый открывшейся с высоты холма панорамой. Широкую долину серебряными стежками прошивал ручей. Берега его, до хutorской плотины, обрамлял разбушевавшийся краснотал, бордовым пламенем полыхавший в полуденных лучах. И впрямь «Красное», подумалось Илье, красотища-то какая! А ведь простенький, самый обычный среднерусский пейзаж. Воистину, красота не нуждается в дополнительных украшениях, больше всего её красит их отсутствие.

Как же ему не хватало в городе этого простора, этой бездонной поднебесной сини! Никуда отсюда, решил сразу, до самых метелей! А то и вообще – остаться бы здесь до конца дней, вслушиваясь в шум прибрежных лозняков, наблюдать за неспешным движением облаков, вдыхать ароматы спелых трав... и не спешить, писать себе и писать эту вечную, первозданную красоту.

Прибавив шаг, художник направился к плотине, а когда сквозь заросли различил тихую, усыпанную цветастой листвой заводь, понял, что тут-то и разобьёт палатку.

До самого вечера обустроивал жильё: натаскал из ближайшего соснячка густого лапника, устелил им пол палатки, распаковал вещи, порадовался, что не забыл спальник и тёплый свитер (всё же сентябрь, и от воды наверняка потянет сыростью), до заката успел поймать парочку карасей, и, обновив котелок, сварил вкусную ушницу. Похлебав её уже при звёздах, подкинул в костёр пару раковых коряг, упал на лапник и проспал сном невинного младенца до самой зари.

То ли устал с дороги, то ли воздух местный настолько упоителен, только по утру не расслышал Ильи ни горлающих на всю округу хutorских петухов, ни прокатившей по плотине молоковозки, не разбудил его и гусиный гвалт, поднявшийся на противоположном берегу у ракитника. И только когда у входа в палатку кто-то кашлянул, и снаружи потянуло самосадам, заспанный художник, наконец-то, выбрался на объятую редущим туманом лужайку.

– Христос воскрес, радость моя! – поздоровался с ним незнакомец.

– Воистину воскрес! – подивился приветствию Ильи. Подкинул в прогоревший костёр дровишек, загремел чайником.

– А я думаю: дай разведая, рыбаки што ли с городу прикатили... Фёдор, – представился мужик и протянул приезжему ручищу, – Фёдор Кузьмич.

– Илья, – услышал он полусонный ответ. – Рыбки маленько поудил, был грех, но только не за этим я к вам, – и, кивнув на этюдник, Илья пояснил, – из Москвы я, художник.

– Важное дело! Одобряю! – Фёдор посмотрел с любопытством на деревянный ящичек, – ну-ну... у нас есть чем похвалиться. Края удивительные.

А туда, дальше, ещё краше, – Фёдор махнул рукой на запад, – леса да перелески, а меж ними хутора да деревушки. Гавриловка, Сквородовка, Гончаровка.

– Бог мой! – подивился художник. – А названия-то какие! Глубинные, коренные!

– Попожжа забегу, коли дозволишь, взгляну, как ты нашенские лога да холмы пропишешь, – гость выдернул свой топор из подваленной коряги, заткнул его снова за ремень, одёрнул фуфайку и нырнул в краснотал – как не бывало.

Изголодавшийся по живой природе, Илья с азартом окунулся в работу. Куда ни кинь – левитановский пейзаж. И это местечко не забыть бы, и это не пропустить. Оглянуться не успел – уж и день на исходе. А там другой, третий... Жаль, конечно, но с осенью не поспоришь, деньки куцы, шибко не разбежишься.

Две недели проморгнули, как одна минутка. От художника не могли ускользнуть малейшие изменения в Лебяжем логу. Протянулись к югу, за поредевший осинник, за стриженные под ёжик хуторские поля караваны диких гусей и уток; осела, перестала летать над пажитью паутина; потяжелела, посуровела вода в затоне.

Илья не мог не расслышать, как по утрам заскрипела от первых заморозков пожухлая трава, не мог не заметить по краю пруда тончайшие стёклышки льда. К полудню они растаивали, но с каждым днём воздух становился забористей и звонче. Не давая спать припозднившемуся художнику, с обмерших кустов лился и лился шуршащим потоком ржавый, словно вырезанный из тонкой жести ивовый и ракитовый лист. Илья всё чаще вставал среди ночи, подбрасывал сучья в костёр.

Придётся собираться. Захолодало, снега, видно, лягут раньше обычного, – размышлял он, сидя у костра, когда к нему на огонёк неожиданно-негаданно заглянул Фёдор Кузьмич.

– Я вот чего надумал, радость моя, – поздоровкавшись, перешёл он к делу, – коли домой не сбираешься, дак поквартировал бы у меня, чего зазря мёрзнуть. И мне веселея. Хатёнка, правда, не ахти какая, я ить только в горенке теперя и живу, но на двоих места хватит. Ты покумекай, а коли надумаешь, к вечеру добро пожаловать. За плату не боись. Разговорами расквитаешься. Двор мой легко сыщешь, любой на деревне покажет. А я за рыжичками смотаюсь... Ну, к ужину, на грибочки милости прошу, – и исчез так же, как и в прошлый раз, нырнув в самую гущу красноталов.

Илья – квартирант недокучливый. День деньской пропадал в полях, лесах, лишь затемно являлся на порог, перекусывал чем Бог посылал через Фёдора Кузьмича – и на боковую. «Намаивается сердешнай», – понимал хозяин, не обижался, подносил поближе к лампочке картинку, пытаясь признать на холсте очередной хуторской бугор или ложбину.

Одним художник неудобен для жилья – куча холстов, но и ей сыскалось место: сколотили в сених широченную полку и разом водрузили все леса-пригорки.

После Воздвиженья небо словно прохудилось, день напролёт накрапывал промозглый ситник. Илья, дожидаясь просвета, поправлял, доводил до ума начатое, затеял с этюда, что написал как-то в Марьином овражке, большую картину, благо никто ему в этом не мешал. Фёдор не то чтобы телевизор, даже радио у себя не держал. А на кой, кады правду всё одно не скажут? Художнику не приходилось скучать. Не скучал с ним и Фёдор, радуясь живой душечке в его «задичалой берлоге».

Илья настолько приладился в Кузьмичёвой избе, что, казалось, съезжать и не думал. Довольный хозяин подговаривал: «Живи, радость моя, сколько хошь! Картох – навалом, огурцов да маслят в погребе – ешь, не хочу. После Покрова капустки нарубаем. Опять же антоновки намочим, улежалась, поди. Самую стужу прокормимся, а тама опять на подножный корм.

Скоро догадался Илья, что пенсия у Фёдора мизерная, и жил он натуральным хозяйством да «лозинным» приработком.

О своём «баловстве» Кузьмич толковал часами. Илья с уверенностью мог сказать: на сто вёрст в округе не сыскать мужичка, так искусно владевшего лозинным делом, как этот дотошный старик.

– Что это ты, Кузьмич, – радость моя да радость моя, – полюбопытствовал однажды Илья.

– А как же иначе! Пресвятой Серафим Саровский и друзей и недругов так-то встречал и нам завещал, дабы любили друг друга.

Подивился Илья, откуда Кузьмич про Преподобного знает. Из Святых книг одна-единая Библия. Правда, старая-старая. Никаким иным книгам старик не доверял: «А пошто другие-то, коли в Евангелие обо всём как надоть прописано!» Остальная библиотечка (и не малая!) состояла из «книжонок об тальнике».

Как-то полюбопытствовал Илья, раскрыл первую попавшуюся и удивился. Оказывается, лозоплетение – дело невероятно древнее. Даже при раскопках в гробнице Тутанхамона обнаружены два плетёных стула. Мало того – стулья эти хорошо сохранились и выглядят вполне современно. И в древнем Риме такой мебелью не брезговали: патриции предпочитали возлежать на ложах из ивовых прутьев.

– Дед мой Поликарп Лексеич, рассказывают, кустарь был, да не простой, держал когда-то артель, – пояснил Фёдор. Дак когда то было! Уж сколь тальника с тех пор я по-над Гремучем перерезал, что и счёту нет. Дед-то на большой воде жил, рыбёшка тогда водилась немалая. Отбоя от рыбаков не было. Заказы за полгода принимали: и корзины, и верши, и кубару, и мережи, да и всякие другие снасти... И я пока в силе был, по мере надобности то сундучок сварганю, то этажерку, то сумку-чемоданчик. За баловство держал. А как жизнь поприжала, дедово дело для меня куском хлеба обернулось. Бакшу-то ишо не перестали на хуторе держать, а потому плетухи под картошку – на расхват. Да и на речку бабе любо-дорого с такой-то корзиной... по грибы, по ягоды опять же...

Прежде чем что-нибудь сплести, Кузьмич заготавливал сырьё – молодые побеги ветлы, ивы трёхтычинковой или корзиночной. Для грубой работы в ход шли двухлетние побеги, для мелкого же, изящного плетения старик отыскивал однолетние, тонкие, длинные, подобные шнуру, лозины. Фёдор

Кузьмич знал цену материалу. Отбирал только тонкий, гибкий, вязкий, прямослойный да хорошо расщепляющийся вдоль волокон. Резал лишь такие прутья, поверхность которых после снятия с них коры выглядела глянцевой.

За месяц Фёдоров пригорок с вросшей в него избёнкой, с курящимся у подножия в непролазном ивняке ключиком, стал для Ильи в сотни раз роднее и ближе любой городской улицы. А то, что хата Кузьмича «недюжила» всеми своими углами, ни хозяин, ни его жилец, казалось, не замечали.

Было время, когда Фёдор держал жильё в «аккурате, уборным». Гордился: просторная изба-пятистенка о двадцати венцах, на красную сторону – резной теремок, чердачное оконце... Но тогда ж был «другой коленкор»! Строилась она ещё отцом, на велику семью, широко и добротню. А теперь и прибираться не для кого, да и выжился Фёдор, что не месяц – хворает. Хворает и изба: брёвна от старости посерели-побурели. Дворовая воротина соскочила с петли, установить мочушки у Фёдора не достаёт. На её место сладил Фёдор из раkitника кой-какую калитку, посередь – вертушок, чтоб не хлобыстала, да чтоб скотина чужая на двор не торкалась. Только на такие малые дела и был теперь способен Фёдор Кузьмич.

Вот и опять, как только засопливилось на дворе, разломило ему спину. Вытащил Кузьмич из чулана бурки, выбил от пыли-моли, прямо в них забрался на печь, укрылся лоскутным одеялом и принялся стонать. Но как только «прожарился», чутко поотпустило, повеселел, разговорился.

– Ты бы, парень, древо-то напоил, а то не ровён час захиреет, – беспокоился Кузьмич о «мужицком сердце», огромном кусте, стоявшем под окном на табуретке в кадushке из-под селёдки. – Живая сущность, – пояснил он Илье, – тожить сердце имеется. Я так полагаю: не станет его, и я помру, потому и хожу за ним, паче себя лелею.

Чтобы видеть своего постояльца и ловчее разговаривать, Фёдор выглянул из-за припечки, и от цепкого глаза Ильи не ускользнул его болезный, посеревший цвет лица, выцветшие, в тёмном окружье, ушедшие куда-то вглубь, глаза. С момента первой встречи Кузьмич изрядно сдал, не его это, видать, время. С началом распутия (уж кой год!) кукожит его и ломает до самого первопутка. Лягут снега, и хворобы поулягутся, и, может быть, опять воспрянет Кузьмич с надеждой протянуть до травки, до первого коровьего мымыканья.

Хоть и казалась снаружи Кузьмичёва хата ветхой да неказистой, горенка, которую делили хозяин с квартирантом, выдувалась не шибко. Забив остальные комнатухи, чтобы не гуляли ветра, беспрестанно подкидывая в каменку поленья, пережидали они ненастье, справляя всяк своё дело: Ильа «изводил» краску, а помаленьку оклёмывающийся Фёдор доплетал из лозин хатку ни хатку, что-то вроде собачьей будки.

Прошлым летом косил он лопухи на запустевшей бакше, смотрит: ёжон-сосунок. Как прибрлудился, и сам не знает. Подобрал его Кузьмич, выходил. Сколько раз в лес откомандировывал! Возвертался шельмец на подворье поперёд спасителя. Видать, навсегда прижился. Ну, коли так, мастеровой

Кузьмич, срабатывавший из лозы на своём веку и не такое, справил на хлебнику норку-плетушку, окрестил приёмыша «Айкой».

Прожорливый Айка скрёб по перевёрнутому тазу своими игличами, требуя яблочка или молока. Мыши в подпечье с его появлением поутихли, перестали воровать со стола хлеб, дыравить в подклети мешки со всякой рухлядью. И кошки вовек не надобно. Куда лучше молчаливый хозяйственный Айка. Что где не в приборе – «слямзит» к себе в угол, там пропажу и ищи.

По ночам ёжик устраивал прогулки под раскладушку художника. То отыскивал там потерянные карандаши и, принимая их за сучки-веточки, упорно катил к себе, то, накалывая бумагу на кончики иголок, подворовывал сложенные в стопку зарисовки. Доставив добычу в своё жильё, с полуночи Айка принимался гнездиться, пристраивая в лежбище новую находку, и угоманивался только к заре. А днём из-под козырька напущенных иголок лукавыми конопелинками снова высматривал, что не так лежит, чтобы «спереть» по темну.

Ни Фёдор, разыскивая спичечные коробки, ни художник, постоянно не досчитывавшийся своих бумаг, не сердчались на хлопотливого жильца. Какие обиды? Ночные похождения – обычная ежиная жизнь.

Даже с беспрестанно хлюпающим рукомойником Илья свыкся и не представлял уже себе, как сможет в будущем обходиться без его бормотанья, равномерного, словно тиканье будильника.

За день до Покрова дождь прекратился, к вечеру небо над хутором скаталось в огромные валы. Грязно-серые, словно куски застарелого ватина, выбившегося из Кузьмичёвой «одежды», они покрыли дальние перелески, раскатились по-над балками, а когда наткнулись на верхушки соснового бора, прорвались окончательно, и на мокрую землю шуманули, повалили крупными лохмотьями пригоршни долгожданного снега. Первые таяли в лужах, киселились по просёлкам, но на них наваливались другие, придавливали слой за слоем, и, наконец, в праздник, к самой заутрене неприглядное месиво превратилось в светлый Богородичный Покров. Прищипнул морозец, и округа засияла под восходящим солнцем, словно под парчёвыми ризами.

Фёдор по мужицкой привычке поднимался затемно. К тому времени, как успевал натянуть бурки и телогрейку, в ходиках просыпалась кукушка. «Опять проспала, – «подшкеливал» её хозяин, – и на што тебя только держу? Мёрзла б сейчас где-нито под кустом, ан нет, присусежилась, дармоедка, теплом моим пользуешься, а дело справно не знаешь! – и, закончив шунять «непонятливую брехушку», поддёргивал гири.

Накинув фуфайку, старик отправлялся под сарай, где с лета просыхалась берёзовая поленица. Набивал хоботную плетуху дровишек, с краю выдёргивал пяток вишнёвых поленьев. Стараясь не шуметь, в сенах обметал бурьянным венником обувку, растапливал печь.

Покуда та распалаясь, ходил посыпать конопелек Петровичу. Кроме этого петуха на подворье Кузьмич никого не держал. Да и его – из жалости. Сколько Петровичу лет, не знал, наверно, и Господь. «Ста-рай! Бревно бревном, – толковал хозяин о своей «скотинке», – жалко мне его... осип, голос утерял, третий год не кокочет... ну дак сам знает, кады помирать». В припеч-

ке про Петровича прожаривался у Фёдора Кузьмича холщовый мешочек с конопельками. В начале осени, перед самой уборкой, нашмурыгивал он пару плетух конопляника. Провеивал, просушивал у крыльца на железном листе, тем и подчивал своего безголосого товарища.

Накормив престарелого петуха, Кузьмич отправлялся в погреб «по картохи». Никогда не чистил, мал мало помоем – и в чугун. В мундирах-то, радость моя, завсегда скуснея, любил приговаривать старик, вываливая на блюдо мелкие картофелины, пахнущие августом, бакшой и ещё чем-то, ставшим Илье очень близким. Быть может, деревенским духом?

– Навозцу, радость моя, от одного петуха мало ли прибудет? Только на «мужицкое сердце» и достанет. А бакша моя почитай лет пятнадцать Святым духом кормится, потому картохи, что орехи. Так и на том Господу спасибочки... хватает... куды мне одному-то! Вся сила мужика русского от хлебushка да от картох. А тебе, небось, наскучило, радость моя?

– Мне не привыкать. Студентом в общаге порой и того не видал, – подбадривал Кузьмича квартирант, закусывая картофелину крупно накромянными бочковыми огурцами.

Отрадно было ему просыпаться в протопленной берёзой и вишняком хате, смотреть на облепленные пушистыми хлопьями оконца, делить обычную трапезу с этим приветным человеком, Фёдором Устиновым.

После завтрака, натянув Кузьмичёв подарок – побитые «шашалом» валенки и засаленный, но ещё добротный собачий полушубок, Илья становился на широкие «охотничьи» лыжи, закидывал этюдник за спину, отталкиваясь отполированными орешинами, скатывался с Кузьмичева бугра, и логом, логом – в хуторские окрестности, куда душечка пожелает. Бери те же самые холмы-овражки и пиши заново. Всё с приходом зимы изменилось до неузнаваемости. О Москве Илья и вспомнить недосуг. Работы – непочатый край!

Возвращаясь под вечер домой, продымлённый костром (на морозе без обогрева не попишешь), Илья ещё из сеней чуял запах варёной картошки. Кузьмич, привязавшись всем сердцем к постояльцу, как к родному, старался ему угодить и разнообразить рацион. Устраивал «царский» ужин: поскольку первое блюдо оставалось на веки вечные неизменным, Кузьмич изобретался и подавал на второе рыжики. Со смородиновым листком, с хреном и чесноком. Обычно грибы уничтожались куда раньше, чем картошка, и каждый раз старик сетовал: «Кабы вдвоём, поболее б по осени насобирали». А не то затеет драники. О, это настоящий пир! Тот, кто не пробовал орловских драников, вообще ничего не смыслит в картошке. А коли полазать в чулане да сыскать ненароком затерявшуюся четверочку конопляного маслица, да сбрызнуть ими оладушки, так и больше ничего в это метельное время не надобно!

Раз в неделю, чтобы не прослыть нахлебником и подсласить сиротский стол, Илья в тайне от Кузьмича по набитой лыжне мотался в сельпо за провизией.

Дед, бережно уложив в шкаф с десяток зачерствелых буханок, помогая распаковывать сидорок, покрякивал на банки консервов, на пряники-печенья, неодобрительно ворчал: «Баловство одно... Не привычны мы к этому».

С ноябрьских зачастил в Кузьмичёву хату мальчонка лет одиннадцати.

– Сидора Паромонова внучок, – познакомил с парёнком Кузьмич. И шёпотом добавил, – смышлѣ-най! Уж второй год ко мне просится: подучи да подучи. А я – что жа, не жалко... а то не ровѣн час помру, и дело захиреет, как народ деревенский без него... никак нельзя... может, из Женька что и выплутится.

– Не хитри, Фёдор Кузьмич, артель «Устинов и К» сколачиваешь? – пошутил Илья.

– А хочь бы и так... тожить не худо, – отбился старик.

И открыл в своей горнице Ликбез, невольным слушателем которого стал и заезжий художник.

Как только заканчивались уроки, Женька, не заходя домой, лопухами, тайком от мамки, летел к мастеру. А тот, обрядившись (для важности) в новую рубаху, беспрестанно выглядывал в окошко, поджидая ученика. В углу громоздилась куча заготовленного мастером лозняка. Женёк усаживался на лавку, «вострил ухи», и урок начинался.

Вот и в этот раз, позабыв свои забавы, забросив «ножички» и «копырки», Женька ловил каждое слово мастера.

– Всего в мире Божьем произрастает лозы видов до полста. Всех названий я уж и не припомню, но кой-какие, самые важнецкие, назову: чернолоз, мохнач, верболоз, коноплянка... – Кузьмич пытался припомнить ещё, но, видать, память у старика издырявилась, и, немного подумав, он продолжал, – но в работу идуть два-три вида, не боле. А вот самай из самых, гибкай, да прочнай, откроду тебе, Женёк, тайну, а ты художник, – Фёдор Кузьмич погрозил пальцем Илье, – не подслушавай, – бе-ло-лоз!

Женька шмыгнул носом в знак того, что тайные знания Кузьмича достигли его разумения, и мастер продолжил.

– Дужа приятнай, послушнай это матерьялец. Мозгуй, что хошь и что хошь с него выкручивай! Не согласный я, мол, приёмов новых не изобресть. Не пасуй, Женёк, измудрись, а свой собственнай, неповторимай сыщи.

И «лозоплѣты» принялись за практическое занятие.

Илья только дивился мудрости и навыкам старого мастера, принимая его советы и на свой счёт. Художник почувствовал, что для него вдруг стало дорого одобрительное «ну-ну!» Кузьмича, его цепкий, пристальный прищур, скупая, словно осенское солнышко, улыбка. Захотелось написать эти лучистые глаза, ловкие, натруженные руки, сутуловатую спину.

Обнаружив среди бумаг постыльца не портрет, скорее зарисовку к нему, Фёдор Кузьмич принял суровое выражение: «Ты это... Ты зачем это... Нам такое ни к чему...» Унёс куда-то набросок, и больше его Илья никогда не видел.

К Николе хутор забудоражился. Мол, детям войны, германец компенсации ссудил. Деревенские ринулись оформлять бумаги. Два года под немцем гнулись, пусть расплачивается, хоть рублём, хоть марками, один чѣрт, лишь бы приварок к крохотным пенсиям приписали.

– Что же ты Фёдор Кузьмич, в собес не идѣшь, или тебе деньги вовсе за ненадобностью? – допытывался Илья.

– Нужны, радость моя... Как не нужны... Вона и крыша совсем расхристалася, да и кирзы б к новолетью справить, – нехотя отвечал Кузьмич.

– Так чего ж не торопишься?

– Мамаля поторопилась... сколь расхлёбывала, и мне не дохлебать, – выдал Кузьмич и умолк на весь день.

Илья знал, коли разговор не пошёл, к старику лучше не приставать, вздумает Кузьмич открыться, сам заговорит.

Так оно и случилось. Не прошло и два дня, Фёдор, доплетая после ужина заказную корзинку, не стерпел-таки, всё выложил сам.

– Вот ты, Илюшка, молодой, войны не ведал. Как на твой взгляд... человека неизраненного, за что я столько лет кару несу?... – И не дожидаясь ответа, продолжил. – Как немец навалился, мамаля меня под сердцем носила, а сама того ещё не ведала. Аккурат в начале июня свадьбу они с отцом сыграли... Отца, как полагается, призвали. Ни одной весточки не успела родимая получить, сгиб, как и не жил... Не узнал даже, что посля себя меня оставил... Не довелось... Германец-то молодежь хуторскую в работы погнал... Война ведь – тяжесть, не стоко для воюющих, большею частью страдают от неё бабы да дети... У мамани – сестра-малолетка. Пожалела сердешная сестрицу-то, годков себе скинула (ей-то уж двадцать пять стукнуло, а гнали четырнадцати-двадцатилетних) и замест девчонки записалась... А Дуняшку-то, тётку мою, значит, припрятали, на дальний хутор спровадили... В неметчине и родила меня мамаля. Получается, из Германии я привезённый.

Илья не перебивал расспросами. Понимал, старик сам выложит всё, что наболело, а что не захочет, так из него клещами не вытянешь.

– Не помню уж её... так – платье в горох, воротничок беленький... а лица не помню... малой был, – казалось, старик разговаривал сам с собой. – Как в Германии жил, тожить не помню. Тока обрывки всплывают: деревня какая-то, мать при свинарнике. А вот, как плакала она, меня целовала, радовалась: «Войне конец! Домой, сынок, поедem!» – это врезалось на всю жисть... Ну, и поехали... Война превращает в диких зверей людей, рождённых жить братьями... Кто-то из наших же донёс: мол, Мария Устинова сама в неметчину напросилась... Прости его, несчастного, Господи! Нарушитель любви к ближнему первым из людей предаёт самого себя. Нельзя быть злодеем другим, не будучи и для себя негодяем. Как не изгваздаться самому, уготавливая подлянку другому? Ить, я так мыслю: предательства свершаются по большей части не из ненависти, а так – по слабости характеру... Затолкали в эшелон, да только не домой, а на лесоповал, в глушь сибирскую... Так и не пришлось ей, страдалнице, с родными свидеться. Года не протянула, от сыпняка померла... Ни могилочки, ни крестика... Царствие ей небесное!.. Помни, Илюша, сынок, – мать – всё в жизни, и утешит тебя в печали, и обнадѣжит в отчаянье, а в минуту слабости поддержит, придаст силы. Потеряешь мать, потеряешь человека, на чью грудь в любой момент мог преклонить голову, чьи глаза зорко охраняли, а руки давали благословение.

Ошеломлённый Кузьмичёвым рассказом, Илья оставил холст, ловил каждое его слово, каждый вздох.

– Как же ты здесь оказался, на родине? – осмелился он прервать молчание.

– Долгая история, радость моя, долгая... Как отходила маманя, поманила к себе, прижала крепко и суёт в ручонку тряпицу, вузелочком завязанную: «Береги Федюня, тут всё про тебя прописано: кто ты, чей, откуда. Да помни всегда, что бы тебе ни говорили: папка твой – Кузьма Устинов... сгиб на фронте».

– А потом?

– Потом? Потом – детдом... для детей врагов народа, где я узнал, что зовут меня, оказывается, не Федя Устинов, а фашистский выб....к... Правда, мир не без добрых людей. Помню няню Кондратьевну. Чем уж ей приглянулся, не знаю... нас таких-то, горемычных, душ тридцать в детдоме обреталось... Но, бывало, окликнет меня нянюшка, заманит в свою коморку, то картошку печёную в карман засунет, то стакан киселя крахмального из столовки под фартуком унесёт, мне припрятет. Всю жисть за неё молюсь... Сколько раз сбегал – не помню, сколько таких домов поменял – не считал. Знаю только одно: всегда стремился сюда добраться, во что бы не стало. Порою мне казалось, что этот хуторок на Орловщине для меня дороже себя самого. Вот ведь что удивительно: я, не видевший его даже краешком глаза, страдал об нём и тосковал. До боли сердешной снился мне он, неведомой, по ночам... Хотелось добраться до этого бугра, врати в него всеми корнями, точь-в-точь, как дедовский дуб у ворот, и чтоб уж никакие ветры-буяны не выкорчевали меня отсюда вовеки вечные.

– Сколько же лет, Кузьмич, ты шёл к родимым берегам?

– Лучше и не спрашивай, радость моя... Столько помыкался, столько повидал... На пять жистей – через край! Только к сорока годкам переступил отцовский порог.

– А семья? Жена, дети?

– Это особая статья... не береди, – Кузьмич примолк, но потом решил-таки и этой бедой поделиться с пришедшимся по душе постояльцем. – И жена была... И дитё должно было народиться... Земля слухом полнится. Знали, конечно, в «Красном», где сгинула маманя моя, где я столько лет пропадаю, – старик снова замолчал, тяжело через страшную завесу, посмотрел отрешённо в никуда. – Поселились мы с Аксиньей, женой, значит, у бабки Устинихи. Прямо скажу, приняла, как следно, честь по чести. Аксинья на сносях, уж за половину перевалило... И надо ж такому случиться, как не задалась, видно, судьба моя сызмальства, так и потом – комом, по пням да бугракам... Загорелся колхозный двор, скота немало сгинуло. Прикатил следак. Так, мол, и так, товарищи колхозники, поджог получается, никак иначе. Ну, я, конечно, под рукой и оказался. Мстить, мол, Советской власти фашистский выб....к явился...Какая месть?.. Да и кому?.. Лучшая месть – забвение, кто прощает, никогда не жалеет об этом... Отомстить своему врагу, уж я-то знаю наверняка, можно только одним – стараясь сделать ему как можно больше добра.

– И сколько же дали?

– Дали, да добавили! Мало не оказалось. Им десятку влить, что в сортир сходить. А ведь невинно осуждённый всегда на совести честного люда. Издревле известно: лучше не наказывать злодеев, чем наказать невинных.

– А жена?

– Аксинья-то?... А как руки заломили, кинулась она ко мне, на шее повисла, не оторвать. Конвоирные отпихивают, а она ни в какую... Ну, и замахнувшись, что слева, на неё прикладом, она, лебёдушка моя, шарахнулась, да с порожков навзничь... головой... Уж без меня Устиниха схоронила сердешную. Следом и сама прибралась... А ты говоришь, поди, мол... марки раздают... Может, и раздают... да не про меня!

Всё это говорилось без ожесточения. Не один год обтёсывал Кузьмич свой норов, воспитывал смирение, испытав на собственной шкуре, сколь бесполезен гнев бессильных. К тому же полагал, что это напрасная потеря душевного равновесия, а без него не выжить бы Фёдору Устинову в его передрягах, потому как даже если гнев его был и справедлив, всё равно достойно не покарал бы свалившееся на Кузьмича зло, а принёс бы ещё большие беды.

Ни Илья, ни Фёдор Кузьмич к разговору о марках больше не возвращались. Только стали они с того дня безгранично ближе и роднее. Илья, оставаясь один в поле ли, в лесу ли, подолгу размышлял о Фёдоре Кузьмиче. Понимал, что не просто так пересеклись их дорожки, не зря столкнул их Господь на жизненный пути. В судьбе нет случайностей.

О многом тогда передумал становившийся на крыло художник: и о судьбах таких, как Кузьма, простых российских мужиков (достойно вести себя, когда судьба благоприятствует, всегда легче, чем когда она враждебна), размышлял и о своём дальнейшем пути. А для обездоленного старика Илья стал вместо сына родного.

Дни потекли своим чередом: художник бегал на этюды, правил их дома; старик давно сыскал себе способ забыться от тягостных дум-воспоминаний – искал заботы, приговаривая: «Работа задаром лучше безделья», день-деньской топтался «по хозяйству», «сполнял» заказы – плёл детские кроватки, хлебницы, корзинки, кошелки, плетушки да кузовки; Женёк не без успеха постигал под руководством мастера науку лозоплетения, а заодно и расширял кругозор.

Всё, что выведал Кузьмич в своих многочисленных книгах, не таил от ученика. А тот слушал, будто сказки, рассказы старого мастера.

– А знаешь ли ты, радость моя, – начинал издаലെка Кузьмич, – лоза ещё издревле используется человеком, как волшебный инструмент?

Женёк раскрывал рот от изумления.

– Ещё в Ветхом Завете прописано, как пророк Моисей при помощи посоха из лозы находил в горах подземные источники. Как-нибудь научу тебя родники лозой отыскивать, дай до лета дотяну, – пообещал мальчишке Кузьмич и продолжил свои невероятные истории. – В древнем Китае при выборе места постройки округа обследовали с помощью лозы, и дом ставился только там, где лоза не отклонялась. А в стародавние времена считали, что лозоходы с нечистым знаются. Но ты, радость моя, в колдовство не верь. Я в жизни столько перенёс, давно бы помереть пора, а вот здравствую. А ты спроси: «Почему?» Так я тебе отвечу: «И верба, и лоза сльвут «пользительными» растениями. Кто с ними дружбу ведёт, не хворает до самой старости.

Иногда корзинщик брал с собой на заготовку материала и Женька. По берегам Гремучего да Лебяжьего прудка высматривали они прутья длиной

шестьдесят-семьдесят сантиметров. Но прежде, чем срезать, проверяли на качество: коли один в кусте хорош, значит и остальные такие же. Кузьмич поучал: «Если у ивовой ветки на срезе слишком большая сердцевина, да ещё с коричневато-красноватым оттенком, не бери с такого куста, радость моя, – ломкие лозинки, не гибкие. Нам, Женёк, нужны ветки, у которых на торце среза маленькая, чуть различимая сердцевинка. Да выбирай побеги прямые, без наростов, без сучков».

Дома прутья вымачивали: связывали в пучки, погружали на две недели в корыто, наполненное водой, а сверху – камушек-валунок.

Иногда, чтобы сократить срок обработки, лозинки пропаривали. И тогда в избе, словно в аптеке, стоял запах лекарства. Илья распознал его сразу – ненавистный с детства пенициллин. Оказывается, ивняк содержит его в немалых количествах, и, как пояснил Кузьмич, ещё Авиценна пользовал болящих настойками на его коре.

Порой к запаху ивняка примешивался спиртовой. Кузьмич, не бравший в рот и капли, заходя, «для хозяйских нужд» гнал из сахарной свёклы первач. «Без его, паразита, как без рук, – оправдывался старик перед постояльцем, – ни дров подвезти, ни бакшу вспахать. Председателю кланяйся, не кланяйся – всё одно... Я и порог конторский позабыл. Сам справляюсь... как могу».

За бураком для «змеиноного продукта» с августа до конца уборки, прокравшись хуторскими задворками, потемну, нырлял Кузьмич в колхозное поле. Воровство – дело не хитрое, к тому ж, как гласит Библия: «Краденая вода сладка, а тайно съеденный хлеб – приятен». «А по-нашенскому, по-мужицки, – оправдывался Кузьмич, – не пойман – не вор». По налаженной тропке старик натаскал «цельный подпол» да на бакше, укрыв ржаной соломкой, по правде сказать, тоже ворованной, заложил немалый бурток.

– Спиртзавод на дому открывать собрался? – подкалывал Илья Кузьмича.

– Тебе смешки, а моей душечке так спокойнее. Ить, сляж Кузьмич, лошадаёнки в больничку доехать задарма не дадут. За всё в жизни приходится расплачиваться, за каждую малость. В прошлом годе прихватило, а его треклятого, – Фёдор Кузьмич кивнул на бутылку, – не оказалось, дак еле уломал Кольку Бекасова: мол, попожжа расквитаюсь, только затёр, ещё молодой самогоначик, брага брагой.

Вообще-то старик не любил по врачам «шляться». Сам себе врач. Разнылся у него по весне зуб, да так, что спасу нет. И сало солёное прикладывал, и чеснок жевал, и прополисом обкладывал – только сильнее дерёт. А тут, как назло, единственный в райбольнице зубник в отпуск отчалил. Что делать? Кузьмич света белого не взвидел, смерти предавался. Двое суток терпел, а на третьи – пулей к Егору Смолкину. А тот – сажень косая в плечах, под два метра. Фёдор знал, к кому идти. Спасай, мол, радость моя, погибаю!

Прокалили мужики клещи на костре – и в сад. Там пипинка от ветров изломалась, выгнулась, что в зубном кабинете кресло. Кузьмич прихватил по такому случаю поллитру свекольной. По его убеждению, врач, как и священник, служит посредником между людьми и небом, и, приступая к лечению пациента, эскулап должен делать это дружелюбно, с приятностью для больного. А потому накатали по полному стакану. Егору, чтоб не промахнулся,

какой надо выдрал, да с маху, а себе – в виде исключения, в связи с невыносимостью положения. Улёгся он на яблоню, Егор и рванул...

Фёдор Кузьмич, видать, свыкся с тем, что с самого рождения «без вины виноват», и когда на другой день Рождества в окно его хаты постучал бригадир Калмыков, старик невольно подобрался, ничего хорошего не ожидая, посуровел лицом.

Бригадир, не оббив валенок, не поздоровавшись, прошёл к столу, шнырнул по хате замутнёнными со вчерашнего праздника глазками, принюхался, но, не сыскав ничего предосудительного, заговорил «об деле».

– Покосу нынче – с гулькин нос, жарень какая стояла, сам помнишь. Солому с дуру спалили. Стога, что по балкам кой-какие стояли, подбелись. Падёж начался. Хошь вырежь поголовье, хошь землю рой, а корма сыщи. За ржанкой хрен знает куды, за тыщу вёрст, обоз машин спровадили.

– Ну, дак я-то что за помочник? Козы кой год не держу. Откуда сено-то?

– Знаем, заем: безлошадной-бескоровнай... сноровка твоя лесоповальная понадобилась. Сосняк в Курной лощине помнишь?

– Как не помнить... помню, – кивнул Фёдор.

– Пойдёшь с бабами... командовать. Стёпка Микешин к вам приставлен. Сани к дизельку подцепит, и прямо на фермы сваживать. Да... что надо – двуручку там, топор, смотри, прихвати!

Бригадир ушёл, а Кузьмич не стерпел во след: «Вот ведь и помочи просит, а всё ж таки и тут норовит вернуть, я, мол, власть, и всё про тебя знаю. Помню. Никуды ты, милоч, не денешься. До смертной досточки не отбелишься. В списочках состоишь». – И чуть позднее: «Не... я не скажу про всех... Народ у нас сердешнай, простой. Супротив него обиды не держу... Копни, дак у кого жисть – не сахар! С рассвету до заката – работа, забота да хлопоты в придачу. Какие обиды? Коли кто тебя обидит, можно и простить, а коли ты? Как с этим потом жить? До последнего дня об том станешь помнить! А потом – смолчишь на обиду, глядишь, она и умолкла, а вскипишь – закрадётся у людей сомнение: мол, прав обидчик-то».

Неделю пропадал старик на заготовке «зеленца». Одежа его пропиталась сосновыми смолами, казалось, Кузьмич и с лица помоложавел: залучились глаза, на обветренных крещенскими морозами щеках проступил румянец. Видать, острые на язык хуторские бабы своими недвусмысленными подковырками отогрели бобыля, и он раздухарился, позабыв о своих радикалитах.

Насмотревшись, как жаден Кузьмич до работы, как ловко ещё управляет топорами-пилами, стали забегать безмужние соседки: то дровишек наколоть пособи, то сарайка прохудилась, заколотить бы пару-тройку досок. Плату брал только за «изделия» и то в основном натурпродуктом. За «хозяйскую помощь» – ни-ни. «Ничегошеньки ему не ушпилишь, а ведь день на подворье провозился!» – судачили бабы меж собой. Фёдор только успевал поворачиваться. Как своим, «по-соседски», откажешь? Крутился, «как меня на жаровне».

И докрутился... К Сретенью, в самые метели разломило старика так, что до ветру выбраться невмочь.

– Расхорохорился старый хрен! В такие-то годы место своё помнить следно... Туда же! Бабий угодник! И тебя вот от дела отбиваю... Ты уж не сердчай, радость моя, как метели сшумнут, и мне полегчает... Навязался я на твою голову! – ворчал на себя Кузьмич, конфузясь перед Ильёй, не отходяв-шим от старика, помогавшим бедолаге справлять малую нужду.

Соседка Макаровна, прознав о Кузьмичёвой беде, натопила баньку, пришла за болезным. Илья, доставив старика на санках, пропарил старика от души. Глядь, через пару дней Кузьмич, как огурчик.

– А что же валяться-то, кады дел невоворот! – пояснил Фёдор Кузьмич. Перехватив удивлённый взгляд постояльца, добавил: «С виду – дуб стоялай, а внутри – пень трухлявай. Дак с моё на повалах пообретайся, не то заработаешь... Там не до лекарей ... «Подъём!.. Отбой!» А меж ими лес да мороз... По ту пору в нашем бараке со мной и тягаться никто не смел. Больше всех кубов выдавал. Работы никогда не боялся.... Раз как-то по осенней хляби застрял леспромхозовский ГАЗик, ни туды, ни сюды. Пятером не справились. А я на спор один подналёг да и выкинул машинёнку на обочину. Ты не гляди, что я теперь поджарай да сутулай. Знал бы меня прежнего!... А теперь одно спасенье – печка».

Уезжая в деревню, Илья оставил другу Виктору Самохину с десятка картин на продажу. На исходе зимы художник получил перевод и коротенькую телеграмму: «Работы куплены тчк Тобой заинтересовался известный галерейщик тчк Если что есть зпт высылай тчк». Илья упаковал пять законченных работ, съездил в Орёл и, подплатив проводнице, отправил поездом посылку для московского галерейщика.

До отправления автобуса на «Красное» у художника оставалось время, и он пробежался по магазинам, накупил всякой всячины: макарон-ов-круп, консервов-колбас. Заглянул в охотничий магазин и, коли Кузьмич плату за жильё ни под каким предлогом не берёт, навывирил старику подарков: не-продуваемый бушлат, подстать ему штаны, нательное бельё. Словом, экипировал как надо.

Когда Илья разложил перед Кузьмичём покупки, старик от неожиданности некоторое время молчал, а потом, поборов смущение, выдал: «Что же ты, радость моя, деньгами швыряешься? Цени их ровно настоко, насколь они того заслуживают. Слуги-то они хорошие, а хозяйва – неважнецкие. Деньги, кады их невоворот – трава, а коль нету – смертюшка голодная. Убережь деньгу, порою, больших трудов, стоит, чем добыть... Бабка моя, Устиниха, бывало, любила говаривать: «Кидай деньги на ветер, коли он дует в твою сторону»... Это ж, почитай, моя полугодовая пенсия! Чем же я тебя отдаривать стану? Не приму... вези обратно, Христом Богом прошу, пушай примуть».

Илья, конечно, слушать такие речи не стал, и Кузьмич поворчал, поворчал да на том и съехал.

Через неделю пошли они в баню, смотрит Илья, а на Кузьмиче новое исподнее. «Ну, что же, без носки, того гляди, мошь прошкондыбарит, – улыбнулся старик, – знатная вещица, тепленная-а!»

Как узнал потом Илья, моль – наипервейшая, скорее и единственная, лютая вражина Кузьмича. Полез он зачем-то в Устинихин сундук, приходит опечаленный, разворачивает на свет пиджачишко, а он, словно дробью, изрешечен.

– А брюки, того лишей. Про смерть берёг, думал в бабкином сундуке не расчит, а она, злодейка, и туды прошмыгнула. Спасу от ей, проклятушшей, нету!

– Значит, погоди, Кузьмич, чуток поживи ещё, ну, хотя бы пока костюм новый справим, – подтрунивал художник.

Не сказать, чтобы Кузьмич слыл прижимистым, однако счёт копейкам своим вёл. «Откуда боле взять?» – то ли извинялся, то ли пояснял он квартиранту. Но при скудности сбережений рука старика не дрогнула, полез за Божничку, развязал носовой платочек, и, не торгуясь, отложил большую часть на строительство церкви в соседнем селе. «На колокол... Коли к службе не дойду, хочь звон малиновой послухаю», – поклонился он батюшке, собиравшему по округе «на храм».

Не шибко подосадовал и когда через неделю не обнаружил своего «вузельчочка» за образами. «Видать, кому-то позарез понадобились, коли на такой грех пошёл, – заключил старик, – что жа не спросился, созоровал, я б и сам одолжил, – недоумевал он, запамятавав, как два дня назад заходила напиться цыганка с малым дитём. Кузьмич выходил в сени за водой, пока та дожидалась в горнице. Видать, она-то и не обошлась без Кузьмичёвых копеек. Увела, а спроситься позабылась.

– Э-э-эх! Грехи наши тяжкие! – повторял он с неделю после воровства. Чьи грехи имел в виду Фёдор Кузьмич? Один Бог ведал. Сам-то старик «за жисть» моли не обидел.

Илья среди прочего привёз из области небольшой телевизор. По вечерам, за чаем, усаживался старик «поглядеть, что в мире деетсяя». Не проходило и получаса, как он терял интерес к новостям, заявляя каждый раз одно и тоже: «Суета сует... Устал я от ей... Жалко мне человеков, спуют, мельтешат... Не ведают, зачем Господь их жизнью наградил. А ведь чего проще – побори в себе суетное, и проклонится истинное».

В конце марта, когда самая пора развенеться ручьям, в поле всё ещё метелило, выюжило, на двор не хотелось и носу высунуть. День деньской мотался ветер вокруг хутора, сучил на упруго выгнутых ракитовых ветвях жёстко выработанную пряжу. Шаг за порог ступишь, огляненься, а уж и следов не видать. Но, зная, от того, что солнышко ходило совсем рядом, были те последние метели светлые-пресветлые. Где-то высоко в поднебесье неслетные рои снежинок напивывались ярким солнечным нектаром, устремляясь на землю, пролетая сквозь зелёные боры, розово-сиреневые березняки и голубоватые осинники, подкрашивались их отсветом, и мартовские метели становились светло-перламутровыми.

Потеплело настолько, что печь протапливали только на ночь. В сенях, у самого порога в горницу, размислилась первая лужица.

Илья рвался в эту весёлую куролесь, часами блудил по окрестностям. Глаза горели, тулуп – враспашку, треух – на затылке. Возвращался – в душе восторг, словно ждал чего-то радостно-неизбежного.

И перемены не преминули нагряться в самом начале апреля. Накануне метели поутихли, хутор окутала туманная, небывало тёплая ночь. А к заре кто-то невидимый заворчал, закашлял, простужено забубухал за Савиным урочищем. Совсем рядом внезапно сверкнуло, и закропил не по-апрельски парной дождик.

Кузьма, не зажигая огня, присел на лавку, поближе к окну, вынул кисет.

– Ну, вот и дождались! Теперь не удержать! – заговорил он с постояльцем, видя, что тому тоже не спится. – Молодик зародился, дождем умывается, – произнёс он с каким-то особенным выражением: то ли облегчённо-радостно, то ли озабоченно-тревожно.

– Замечательно! – буркнул Илья и, не успев разглядеть в предутреннем небе только что народившийся тончайший серпик луны, провалился в сон, полный какого-то нетерпеливого ожидания.

Весна напирала молодо и дерзко. Через пару недель от зимы остались лишь грязные лохмотья по лесным оврагам да буеракам. К Вербному солнышко лупастило так, что осинки и орешины в лесах, словно девки красные, обрядились в длинные серёжки.

Лебяжий пруд, не сдержав напора снегов, хлынувших с хуторских полей, плесканул свои воды вместе с крошевом зеленоватых льдин в долину. И они, сливаясь с Гремучим ручьём, подбирая талые снега со всех окрестных полей, заполняя до краёв долину, понеслись за Меньший лог, в без того переполненную Кромку. Утопая по пояс в разливе, дожидались цветения красноталы и ольховники.

К апрелю лозинные запасы (из-за наплыва заказов) у Кузьмича «подъелись», и он, присмотрев в обтаявшей Плоцкой ложбинке немалые куртины краснотала, нырял за ними по два раза на день. Связывал увесистыми пучками, и, возвратясь, складывал в тенёчке под амбаром.

Весенние каникулы в деревнях, как правило, не совпадают с городскими, и обычно приходится на самое распутие, на самую непролазную грязь. Но кто удержит мальчишек дома, когда на просохших пригорках можно поиграть в лапту или, нацепив отцовские рыбацьи сапоги, промерить запретные лужи, да хотя бы побегать за бумажными корабликами, свёрнутыми из тетрадных листов, по сверкающим солнечными зайчиками ручьям?

Всё это простецкие мальчишьи игры, в которых участвовал каждый. А вот промчаться вдоль берега на льдине, да перескочить на плаву с одной на другую, а не то и на тот берег пермахнуть – это забава, так забава. За неё хоть и выпорот мать, коли узнает, зато среди деревенской ребятни прослывёшь лихим малым.

Кузьмич, гружённый тальником, возвращался берегом, по самой кромке воды, из Плоцкого. Уж и полтропки, что поднималась к хутору, осилил, как услышал на разливе детский крик. Скинув вязанку, старик метнулся к воде...

Последнее, что он успел увидеть: к берегу мчалась толпа мужиков.

Илья, возвратившись только вечером и не обнаружив в хате Кузьмича, подумал: «Не жалеет старик себя. Вот ведь как припозднился». Наварил картошки, прикрыл чугунок, чтоб не остыл, старой фуфайкой, и, просматривая сделанные за день наброски, уселся дожидаться хозяина.

Когда совсем стемнело, забарабанили в воротину. Илья выскочил на крыльцо.

– Илюша! Кузьмич-то наш... – из темноты выступила Макаровна.

Вошли в хату. То и дело утираясь кончиком подшалка и всхлипывая, соседка с горем пополам рассказала о несчастье.

– Илюша! Как же так! Мальцов спас, а самого не сыскали. До темна бились, всё впустую...

Сперва Илья никак не мог поверить, что Фёдора Кузьмича больше нет. Ещё утром спорили они о пользе научно-технического прогресса, а сейчас ему говорят, что даже хоронить некого, словно Кузьмич никогда и не жил...

А поутру произошли три странных события, разгадать их причину художник не может по сей день.

Прежде всего, исчез безвозвратно Айка: то ли весну зачуял, в леса подался, то ли хата ему без Кузьмича сразу же стала неудобной.

Престарелый Петрович, когда Илья вышел сыпануть ему конопелек, вдруг жалобно-жалобно заголосил, лёг на солому и всегда алые бурды его на глазах у Ильи начали синеть. Отжился Петрович...

Самое странное произошло с «мужицким сердцем»: рябые листья цветка за ночь опали, а ветки поникли, словно с ними стряслась неожиданная беда.



ЛЕСКОВКА



Восьмое октября. У нас Престол, Сергей Радонежский. Гости, понаехавшие из соседних деревень родственники, разомлели от гусиного холодца и забористой сливовицы.

Встали из-за стола, вышли на веранду. Тут же появилась видавшая виды ливенка, и отец затынул: «Ой, Самара-городок...» И вот уже раскрасневшаяся мамина тётка отплясывает «Барыню», аж половицы гуляют. Пересыпает дробь частушкой, да такой, что мне, семилетней девчонке, становится неловко.

Шмыгаю во двор, насыпав в карман горсть карамелек-подушечек. К нашему новенькому дому почти прилепилась бабушкина хата. Крыша её, покрытая соломой, кажется бархатно-изумрудной в лучах осеннего полуденного солнца. Мох расползается вдоль и поперёк великолепными куртинами. Избушка почти вросла в землю, присев на левый бок. Входная дубовая дверь с дырочкой от выпавшего сучка в дожди покосилась. Отец снял её с петель, подпилит одну сторону и водрузил на место. Сколько лет хате, никто и не помнит.

Неделю назад бабушка обновила полы, вымазала свежей глиной. Теперь они высохли, залубенели. Кажется, их только что выкрасили специально в тон осени рыжеватой матовой охрой. Печку мы к празднику побелили, добавив молочка, чтобы не пачкалась.

А чугунки-сковородки отнесли на Жёлтый. Так ручей наш под Мишкиной горой называется. Выдраили утварь крупным песочком да вышелушенным подсолнухом, натёрли крапивой, сполоснули, и на колья — сушиться. Оттого и холодец такой духовитый получился, в чистых чугунах. И варенец с толстой-претолстой золотистой пенкой утомился потому, что кубаны долго прожаривались на загнетке.

Над бабушкиной хатёнкой распластался такой же древний, как и она сама, клён. Раскинув по небу свою густую крону, он многие годы прикрывал избушку, хранил её от осенних ветродуев, оберегал от зимних затяжных вьюг.

Привязав к суку, нависшему над узловой тропинкой, хоботные вожжи, положив старую фуфайку вместо сиденья, бабушка сладила мне качели. Подорожник под ними вытоптан, земля до блеска натёрта моими сандалиями, испробовавшими огонь костра и воду Жёлтого ручья.

На этих качелях и прошло моё хуторское детство...

Влетаю выше окон, на которые мы под праздник повесили нарядные занавески. На каждой по центру ришелье – дырочки такие выбиты, а приглядишься – не дырочки это вовсе, а цветы, узоры всякие. По краю вышиты крестиком кисти красной смородины да листочки резные. А ниже, до самого подоконника, длинные кружева. Это бабушкина старшая дочка, моя тетка, мастерица-рукодельница, прошлой зимой постаралась.

Высмотрев меня за окном, бабушка стучит в стекло и манит меня зайти.

Я торможу, соскакиваю с качелей. Влетаю в низенькие сенцы. Проскакиваю светлицу, где всегда пахнет травами, собранными под Ивана Купала, где висят пучки калины, шалфея (коли зубная боль скрутит), пижмы (на случай, если корова не растелится). Охапками берёзовые веники, срезанные непременно на Троицу. В плетушках вылёживается, ждёт мочки антоновка. Мы для неё уж и соломки ржаной заготовили, и мятки кошачьей под кручей целую плетушку набрали. Дух от антоновки такой, что не могу не соблазниться, и выхватываю на бегу самое крупное, в рыжих мушках яблоко. Не ем, а нюхаю, вдыхаю этот ни с чем не сравнимый запах.

Распахиваю двери в горницу. В Красном углу горит лампадка, у образа Сергия Радонежского – свеча. В крошечной махотке золотится Божья травка. У родника её видимо-невидимо, летом мы насобирали да в пучки повязали, а потом высушили в чулане, пригодится. Поверх образов – старинный, почти истлевший, но бабушке очень дорогой, рушник. На нём по краю – узорные крестики, поблёкшими, но всё ещё алыми нитками: «СПАСИ И СОХРАНИ!»

Чисто выскоблен стол. Гора пирогов: с черноплодкой и сливой, с яблоками и капустой, с маком и печёной.

Обычно часа в три утра бабушка ставит тесто. И начинается волшебство. В это время сенцы закрыты на щеколду. Бабушка никого к себе не пускает, колдует одна. Обещает, как подрасту, и меня научит, рассекретит тайну своих знаменитых на всю округу пирогов. А пока я хватаю горяченький и не успеваю оглянуться, как рука уже за другим тянется. Набиваю карманы. От пирогов становится тепло в куртке и радостно на душе.

Отхлёбываю калинового морса из кубана, что в углу на липовой резной этажерке. У бабушки напитки вкуснющие получаются! А больше всего люблю её квас с мятой дикой, с хреном. Пьёшь и не напиваешься.

В фартуке с петушками, закатав рукава штапельной кофточки, бабушка хлопочет у печки. На лице её отражаются отблески пламени. Трещат вишнёвые дрова, даже в сенцах духовитый дымок. Старушка поправляет выбившиеся из-под ситцевого платка седые пряди, достаёт чипельником сковородку от двухвердного чугунка. А на ней! Знает, хитрая, чем побаловать! Яблоками печёными. Да не просто яблоками, а «лесковкой с секретом». В каждой вынимается сердцевина, маленькой деревянной ложечкой накладываются засахаренные крупки липового мёда, а сверху громоздится орешек – лещинка. Бабушка целый пудовик наносила из Богачёва урочища. Вчера вечером готовилась, колола молотком орешки на камне у крыльца.

Налив из чугуночка горячего топлёного молока, ставит мою любимую зелёную кружку с узором из васильков да лупастых ромашек по краешку. На деревянный кружок водружает шипящую сковородку. Яблоки растрескались, пропитались мёдом, пузырятся.

– Ешь, голубушка, пока с пылу-с жару, вишь, как подрумянились!

С тех пор минуло немало лет, но лучшего лакомства не приходилось пробовать. Я и сейчас ощущаю этот кисло-сладкий вкус печёной лесковки, вкус моего детства.

Секрет приготовления берегу. Пойдут внуки, стану запекать им яблочки да о прабабке рассказывать: о хате с глиняной завалинкой, о могучем клёне, с которого смотреть не насмотреться на потонувшие в калужнице приречные балки, на убегające за дымный горизонт сосновые боры и перелески, на несущиеся за дальние дали белогривые табуны облаков.



ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА



Исход марта. Вчерашний тёплый дождь подхлестнул усталые стада зачуханных снегов. И они, наблудившись по оврагам да балкам, суетясь и толкаясь, рванули в пойму, чтобы там бесследно затеряться среди таких же, как они, чумазных и грязных, но ещё более усталых и обессиленных, согнанных Кромой со всей округи в одну огромную неумолчную отару.

Павлуше скучно одному на хуторе. Мать с утра до вечера по хозяйству, а отец и соседский Лукич пропадают второй день в Савином урочище. Готовятся к тетеревиному току. Лукич – заядлый охотник. Несколько лет назад сманил отца с собою. Известно, кто побывал хоть раз на тетеревиной охоте, заболевает ею навсегда. И вот теперь из разговоров, а порою, жарких споров отца и Лукича, Павлуша знает всё об этих замечательных птицах.

Иногда отцу удаётся подстрелить парочку тетеревов, и бабуля готовит такое жаркое! Небольшие ломтики мяса по какому-то волшебному рецепту запекает в гоголе-моголе и щедро сдабривает подмороженной калиной.

В конце марта – начале апреля на вырубке, на лесные поляны слетаются тетерева потоковать. Самое время помериться силой, похвастаться опереньем перед самочками.

Таких токовищ в наших краях несколько. Дед Лукич рассказывает, кроме Савина леса, встречал он тетеревов и в сенокосах у Большого лога, и в Копытцах, где они облюбовали небольшое местечко в зарослях лещинника.

Сколько Павлик ни кланчил, сколько ни умолял взять его взглянуть на дикие танцы тетеревиные, охотники не соглашались. «На следующий год обязательно», – отнекивались каждый раз.

По всему видно, схрон готов. Ещё с вечера отец переговорил с Лукичом, почистил ружьё, просмотрел патронташ, собрал тормосок.

Павлик решил во что бы то ни стало увязаться за охотниками. Из дому они выйдут до свету, и чтобы не прозевать, парнишка, улёгся на ночь в горнице. Он уже знал, что тетерева начинают токовать в полнейшей темноте, за час до рассвета.

Не успел отец подняться с постели, Павлик в полной амуниции сидел на кухне, дожидаясь. Деваться некуда! Сколько раз отговаривались.

– А ты куда это, пострел, наострился? – подивился Павликовой прыти появившийся на пороге Лукич.

– На токовище, за тетеревами, – ничуть не смущаясь выпалил Павлик.

– Ну что ж... За тетеревами, так за тетеревами... Только не распушай ненароком, – крикнул недовольный Лукич и с надеждой посмотрел на отца.

У Павлика замерло сердце... Сейчас отец передумает и отправит досыпать!

Но тот, будто не заметил ворчания старика, перекинул тормосок через плечо и вышел на крыльцо.

Павлуша с облегчением вздохнул, нахлобучил предусмотрительно, чтоб уж не возвращаться, кроличий треух на голову и шмыгнул за дверь. «Колька с Ромкой дрыхнут и ни о чём не догадываются! Обзавидуются пацаны!» – радостно промелькнуло в голове.

Зрелая мартовская ночь дышала лёгким морозцем. Двинулись гуськом: впереди Лукич, следом – Павлуша, а отец, чуть поотстав, замыкающим.

Из перелесков тянуло перепрелой прошлогодней листвой, из оврагов – талой водой и размокшей глиной, с обочин – полынью, а с дороги, от расхристанных там и тут охапок силоса – прогорклостью и прокисшими щами.

Шли молча. В этот час малейший шёпот слышно за версту. Павлик потстал и зашушукался с отцом, но Лукич цыкнул на них, и мальчишка до самого леса уже не посмел открыть рта.

Луна белая-пребелая, словно застывший круг топлёного смальца, выкапталась было над Глиняной дорогой, но то ли от пара, поднимающегося из Марьиной лощины, то ли от дыхания споро движущихся людей, начала заметно таять. А когда остановились передохнуть у росстаней, от неё почти и след простыл. Истончилась. Не луна, а чуть приметная дымка.

Справа из полумрака вышел кособокий омет. Запахло мокрой мякиной и мышами. «Уху!» – послышалось над головами охотников, и, сверкнув хищными зелёными звёздочками, тяжело взмахнула сова. «Уху!» – послышалось уже со стороны сосняка.

– Мышкуют плутовка, – шепнул отец мальчишке на ухо.

Лукич подал знак, и, притаив дыхание, охотники вошли в Савин лог. Павлик старался ступать так, чтобы не хрустнула веточка, не щёлкнул камушек. Первый раз на тетеревиной охоте! Не мог же он подвести отца. Кажется, у мальчишки даже сердце остановилось. И забилося опять лишь после того, как услышал: «Всё. Пришли».

Павлик огляделся. Шалаш так ловко запрятан, что никакая птица его не распознает. Берёзовый хмызник переплетал вбитые в талую землю кольца. Шалашик притулился под густой развесистой сосной. Мохнатые лапы её служили надёжной крышей. Постарайся – ничего не разглядишь. А уж тетеревам додуматься ума, точно, не хватит. Да и не до того им. В этой поре они полуглухие, полуслепые, настолько токованием увлечены.

– Главное, чтобы понизу схрон неприметным был. Высоко-то они сейчас не заглядывают, всё по земле вытанцовывают, – пояснил Павлику отец.

Лукич дело своё знает. Всё предусмотрел. Шалаш как раз в самом центре токовища сдвинул. И обзор из замаскированных лапником бойничек-окошек что надо. Даже ольховые пенёчки-сиденья имеются. Павлик устроился на одном таком круглячке и замер.

Кажется, чуть посветлело. А может, просто глаза пообвыклись. Утро в лесу наступает после того, как слетятся старые петухи-тетерева на токовище

и для почину оттокуют около часа, заманивая на свои весенние турниры молодняк, а вместе с ним и рассвет.

Боясь пропустить появление петухов, Павлик изо всех сил вглядывался в березняк.

Старый тетереvятник Лукич ходил в Байкальской тайге на глухарей, на Сахалине брал рябчика. По молодости бывал в Приполярье. Там водится ещё одна родственница нашего тетерева – белая куропатка. Каких только охотничьих баек-небылиц о тетереvиных не знает старик!

«Птица эта не простая, – говорит он, – для царской охоты. В старые времена государи наши выезжали в марте-апреле полюбоваться токующими тетереvами. Блюда из дичи у них завсегда не сходили со стола, а уж тетерева были украшением любого пира».

Все тетереvины неприхотливы, питаются, чем Бог послал. Зимой из-под снега какой корм добудешь? Перебивается птица в холода с веточек на почки, с почек на хвою. Иногда, правда, посчастливится полакомиться в орешнике серёжками.

Летом, конечно, попривольнее: и травка, и цветочки. А коли комарик-паучок под клюв попадётся, так и он согдится.

Осень – самая сытная пора. И ягодка любая, и грибы – клюй, не хочу. Отъедаются тетерева, запасаются впрок.

Вспомнилось Павлику, как ходили они с отцом на лыжах под Рождество за ёлкой. На поляне в Ярочкином логу прямо из-под ног у него тетеревок выпорхнул. Подивился Павлик, узнав, какое необычное зимовье устраивают эти птицы. Выкапывают в снегу лапами и клювом камерку-жилище. Размером чуть побольше себя, чтобы места хватило оперенью распушиться, «угреться».

Проехались они с отцом по березнячку и обнаружили несколько дырочек в снегу.

– Это трубы тетереvиных хаток, – пояснил отец, – спит тетеревок и в ус не дует. Под снегом тепло, минус два, не больше. Проголодается, выпорхнет, пообклюёт почки-веточки и опять – нырь домой, в сугроб.

Только представил Павлик, как он в школе об охоте друзьям расскажет, слышит: «Фр-р-р, фр-р-р, фр-р-р!» – опускаются на полянку три петуха. Оперенья не разглядеть, слышно лишь, как шипят друг на друга, «чуфыркают». Подпрыгивают, подлётывают и поют-бормочут, словно вода в котле булькает-кипит.

А как забрезжило, рассмотрел их Павлуша: чуть поменьше деревенских, аккурат с курочку-несушку. Сами иссиня-чёрные, а хвостики в белых кружевах. И на крылышках манжетки белые. Головку алая шапочка-гребешок украшает.

Прошло около часа, заметно посветлело, и на поляне можно было разглядеть до двух десятков птиц. Явились молодые самцы. Заслышали призывное бормотание старых петухов и слетелись на турнир. Да и перед тетёрками не грех покрасоваться. Буровато-рыжие, невзрачные, в чёрненьких веснушках самочки заинтересовались песнями петухов и не заставили себя ждать.

Восхитительное зрелище! Около десяти самцов, напирая друг на друга, квохчут, чуххх-ххыкают, булькают, бормочут. Вот два ближних петушка

разодрались в пух и прах. Развёрнутые веером хвосты подняли вверх. Вытянув шеи навстречу друг другу, бойцы раскрыли крылья и опустили их вниз, будто для того, чтобы размахнуться и с ещё большей силой броситься в атаку. Тот, что покрупнее, оттеснил соперника на край поляны, и несчастный петушок, чужфрыкая и всхлипывая, закандылял подальше от обидчика.

Победитель, горделиво вышагивая, направился к курочкам. А те, не подозревая о присутствии людей, разгуливали под носом у охотников. Петух шёл прямо на шалаш.

Павлик мог отчётливо видеть, как тетерев пританцовывал на месте, делал какие-то замысловатые коленца, нежно булькал навстречу самочкам, опять танцевал, то подбирая, то распуская опущенные крылья. При этом хвост его выдерживал вертикальную стойку. Цветочек на склонённой голове то становился пунцово-красным, то бледнел, распускаясь на два лепестка. Иногда ухажер задирает головку и издавал такие отчаянные звуки, что его, наверно, было слышно на краю леса.

Петушок подобрался так близко, что на лапках и пальчиках было видно густое оперенье, как говорил дед Лукич, «лыжи». Это благодаря им тетеревок не проваливается в рыхлом снегу, не промерзает в морозы. Сидит на них, словно на тёплой подстилочке. Из ноздрей тетеревка торчали мелкие щёточки. «Чтобы снег не набивался, когда бултыхнётся в сугроб», – вспомнил Павлик. Он мог любоваться этими чудесными птицами бесконечно.

Совсем рассвело. Важный петух вытанцовывал для самочек, распевая их любимые песни. Чуть поодаль несколько других тетеревов подтягивали ему в лад и кружили вокруг курочек.

Лукич молча указал отцу на ближнего петушка, а сам прицелился в того, что токовал у поваленной коряги.

Павлика обожгло. Он должен что-то сделать! Сейчас эти великолепные птицы умолкнут навсегда, и эта поляна никогда уже не услышит их волшебного токования. Павлик вскочил и ломанулся вперёд, сминая хмызник. Закричал, захлопал в ладоши, стараясь произвести как можно больше шума.

Птицы шарахались от шалаша, вспархивали одна за другой и исчезали в рассветном лесу. Павлик носился по поляне и орал, что есть мочи. Сейчас он не думал ни об отце, ни о Лукиче, только о том, чтобы тетерева поскорее улетели с токовища.

Отец выскочил из укрытия и кинулся к мальчику. По щекам Павлика катились слёзы. Он прижался к отцу, и тот сквозь всхлипывания смог разобрать: «Никогда не стану охотником... Пусть живут!»



РЫЖИК

 Рыжик – гриб плодовой, семейный. Появляется в конце сезона, с наступлением холодов. И разбегаются по соснякам да ельникам его яркие куртины.

В пожухлой траве сразу и не заметишь всего семейства. Обнаружишь только самый большой, подумаешь: рыжая кошка забрела далеко от дома и крадётся по лесу, мышкует. Присмотришься, а вокруг – выводок, котята, мал мала меньше. Рыжие, полосатые, все в мать. И жмутся к ней, как сосунки-двухдневки, словно октябрьской непогоды боятся. Но, взрослея с каждой зарёй, расползаются в разные стороны. А самые шустрые отбиваются от выводка и теряются. Попробуй теперь, сыщи их! Но если набраться терпения, то можно найти этих сорванцов порой в самых неожиданных местах. Приподнимешь еловую лапу, а они там, голубчики. Убежали от братьев, спрятались и заблудились. Или того интересней, скатится какой-нибудь под горочку, где и леса-то уже нет, и места незнакомые, и сидит один-одинёшенек. Как не подобрать! Так вот и играешь с ними с раннего утра до заката то в кошки-мышки, то в прятки. Соберёшь всё семейство в корзину, и душа радуется: один другого краше. Кажется даже, что они живые, тёплые.

То ли потому что последний, то ли потому, что долгожданный, только думается мне, что рыжик – у природы самый любимый гриб. Радостный, солнечный. словно выплеснула она на него всю свою любовь и ласку. Крепкий, здоровый, хрусткий, кровь с молоком!

Оглянуться не успеешь, а уж корзина целёхонька. Будто щедрый подарок осень преподнесла.

Накроешь лапником, принесёшь домой, и в кадучечку дубовую, да с укропчиком, да с чесночком! И в подпол.

А через сорок дней – за уши не оттянешь. Только гриб этот не на каждый день – праздничный. Не то что маслята, волнушки – будничная еда. Рыжик – царский гриб! И подают его только по великим праздникам.



КАК ДЕД ЧЕСНОК КАБАНЧИКА ПОДВАЛИЛ

В каждой деревне найдётся мужичок – герой потешных баек да побасенок. Наградил Господь и наш хутор таким чудачком.

Маленький росточком, неказистый, но очень шустрый, дед Чеснок был участником всех событий, о которых судачили бабы у колодца. В собачьей шубе, подпоясанной бабкиным чулком, за утро он мог избегать хутор вдоль и поперёк. Дед Чеснок знал всё и про всех. Правда, случалось, память подводила, ускользали-забывались эпизоды его собственной жизни. Рассказывая очередную историю о своих фронтовых подвигах, он мог спросить Чесночиху: «Марусь, как нашего полковника звали-то?» Та фыркала в фартук и отвечала: «Ты ишо попытай, как его бабу кликали!»

Когда дед находил время вести хозяйство, никто не понимал. Но все знали, что гусей у Чеснока – самый лучший табун, овец – целая отара, петух – задиристей не бывает. А свиньи такие огромные, что, когда выпускал их во двор, сам терялся промеж хрюшек. И порода какая-то неизвестная: чёрные, пятнистые, лохматые.

На хуторе считали, что Чеснок подколдовывал: очень уж хозяйство крепкое сколотил. Слыл он мужиком хитрым, изворотливым.

Подстать деду рос и внучок Витька.

Лис в округе развелось видимо-невидимо. Витька клячил у деда денег на ружьё, а Чеснок – мужичок прижимистый. Да и внуку рано ещё – четырнадцать.

Сладил пацан с соседским Гришкой дробовик не дробовик, что-то в этом роде. Пулял по гороже, по бабкиным махоткам. Тренировался. В лес готовился.

Дело было под Крещение. Решил Чеснок кабанчика подвалить, колбаски домашней к празднику начинить. У Чесночихи кровянка получалась – пальчики оближешь. И желудок с гречкой да со шкварками – за моё почтение.

Наточил дед было с вечера штык, покумекал и наутро сам не решился, вспомнил прошлогоднюю оказию. Выпустил, помнится, Ваську, подколол, а завалить силёнок не хватило. Пришлось бабу звать: мол, подмогни, Марусь, порежись. Так под хохот соседей вдвоём и возились с кабанчиком.

...Жалко деду поллитру ставить, мужиков звать, а что поделаешь?

Тут Витька подбегает. И откуда он только под руку взялся?

– Что ты, дед, мучаешься? Вон в Сибири – стрелнут в глаз, как белку, и готово.

– А коль промахнёшься? Кабан-то годовалай, двор в щепу разнесёт.

– Доверься, дед, не подведу.

– Ну, если без событийя справишь, куплю в честь Хришенья ружьё, так и быть.

Дед подпоясаясь потуже и занял командный пункт на крыльце. Бабка должна была отодвинуть щеколду в закуте. А когда кабанья морда появится в дверном проёме, внук срубит Ваську наповал.

Чеснок поднял руку и начал отсчёт: «Три, два, один, – махнул рукой, – пли!» Витька выпалил. Дробь зацепила только холку кабана. Тот негодуя взревел и двинулся на обидчика. Пацан рванул к деду на крыльцо. Бабка, ополоумев от страха, схватила вилы, выставила рожками вперёд и замерла. Казалось, она в любую минуту готова была по команде деда броситься в штыковую атаку.

Кабан носился по двору, поддевая пятаком плетушки, вёдра, корыта. Истошно кудахтали куры. Гуси забились в угол под сарай, и лишь гусак, поминутно выступая из-под навеса, шипел на кабана, вытягивая шею. Обалдев от всеобщей сумятицы, кот шаркнул бабке на спину и дико зашипел.

Приседая и хлопая по коленям, дед гундосил: «Матерь Божья! Чаво ж ты, стервец, укамарил?»

По двору алели пятна крови. Кабан продолжал свирепствовать.

Наконец, обнаружив слабинку в заборе, он рванул в соседский сад и, обзумев окончательно, взрыл весь снег, внезапно визгнув и провалился в шейную яму (эти ямы с давних пор копают у нас на хуторе для хранения картошки и кормовой свёклы; они имеют форму кувшина: сверху – сруб, чтоб не осыпались края, дальше – лесенка, непременно дубовая, чтоб не сгнила).

Ухнул кабанчик в яму и надывается что есть мочи. Подбежал Витька и, как загнанного на охоте зверя, сверху добил верещащего кабана.

Дед Чеснок, подбирая полы собачьей шубы, лез по сугробам и причитал.

– Ах, ты окаянный, и чаво ж я теперь делать-то буду? Как доставать-то? Ить он жа меня тушью своею задавить. Иди уж, созывай мужиков. Да вожжи, вожжи у Михеича прихвати, не забудь!

Митька рысью побежал по хутору.

– А ты, – командовал дед Чесночихе, – полезай в подпол. Там у тебя за наполом с рыжиками бутылъ рябиновки схватая. Тащы, чаво уж теперя! Огурцов поболе, яблок с бочки, и ентоу, што с анисом, капустки. Ну, сама, небось, знаешь. Бабу учить – только время терять. Вобщем, растапливай. Народу-то сбирём много. И к вечеру на печёнку, небось, припрутся. Степановну кликни на помочь, пушай пирогов с черносливом наварнакаить. Вчёрась Гришка ихний дал откусить, дык я день потом облизывался.

...Вечером у Чеснока гуляло полдеревни.



В САДУ



В последнюю неделю октября сад ёжится в предчувствии подступающих заморозков. Сквозняки заламывают ветви, и полувековые деревья кряхтят-вздыхают, будто жалуются на ревматизмы и радикулиты.

Опрятный по весне и в летнюю пору, сад стоит разлохмаченный и немощный. Залётные ветры пытаются причесать его на свой лад. Но ему, отходящему в забытьё, уже всё равно. Растеряв плоды и листья, словно исполнив последний важный ритуал, он, наконец, прикрывает ресницы – склоняет ещё ниже осыпанный пожелтой листвой лапник голубых елей.

Прислонив грабли к грушовке, подсаживаюсь к костру. Жгу сухие ветви и палую листву. С утра собирала её в вороха, не было времени передохнуть.

Оглядываюсь на свою работу. И чудится мне, будто по саду разбросал неведомый волшебник кучи драгоценных камней. Так вот на что променял наш мудрый сад своё великолепие! Не продешевил!

Вон под осиной у забора полыхают рубины. А под кленами – россыпи янтаря. Видать, чародей был в хорошем настроении, не пожадничал: под берёзами у беседки – золотые самородки. Бери, сколько унесёшь. А бересклет, что притулился у самой дорожки, одарил колдун-шутник то ли аметистами, то ли ещё какими камнями. Стоит кустик посередине сада на вывалку, красуется, будто барин в расшитом кафтане.

Толстые чурки прогорели, подкидываю последний хворост.

Вечереет. Раскалённые угли отливают изумрудами-сапфирами. В корзине приношу серебра-золота и сыпаю в этот ворох. Сначала, будто колдовские чары, от костра исходят ароматные дымы, воскуриваются перламутровые туманы, и вдруг разом занимается вся гора – пылает непередаваемым разноцветьем.

Подкидываю охапку за охапкой. Сажу, слушаю осенний сад, любуюсь его последним подарком – сиюминутными самоцветами.

На огонёк заглядывает давний жилец нашего сада, мой сосед, престарелый ёжик Кешка. Он побаивается огня, но шуршит где-то рядом, топает по дорожкам. Ему никак не хочется уходить. Я вынимаю из кармана подбренные под антоновкой последние яблочки этого года и одно откатываю в полутень. Отворачиваюсь, будто не хочу знать, чем это Кешка будет сейчас заниматься.

Наверно, старый ёжик подслеповатыми глазками уже не смог бы отыскать мой подарок, но нюх у него ещё отменный. И спустя некоторое время

он обнаруживает яблочко. Наблюдаю за его нехитрыми уловками. Ёжик прибоченивается к лакомству, сжимается в комочек, а потом резко дёргается, и заветный плод накалывается на Кешкины иголки. Довольный зверёк торопится к беседке. Там у него под дощатым полом натасканы листья, приготовлено зимовье.

Надеваю на кончик ракушечной палочки оставшуюся антоновку и держу над костром. Она шипит и лопаётся. Снимаю подкоптившуюся кожурку. Горячее яблочко, слегка кислое, то ли оттого, что из костра, то ли из-за подступившей мглы, кажется по-домашнему вкусным.

Над кронами тополей восходит белая луна. На мгновение её перечёркивает крыло гугливой совы. Вообще-то, она мышкует в стогах за Ярочкиным логом, но иногда облудится и аукает в нашем саду, покуда не рассветёт, и не проклянутся сквозь туманы знакомые места.

Слышу, как сыплются крупные градины жёлудей с дедовского дуба. Кажется, чую, как замирают в деревьях соки, как натружено вздыхает под размашистым сквозняком обычно запирающаяся на зиму дальняя калитка.

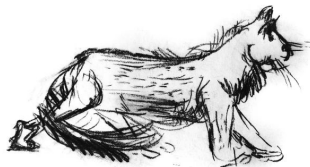
Вслед за луной разгораются то тут, то там звёзды: одна, две, десять... мириады. И вот уже низкое небо, окрылившись, выпархивает надо мной, над садом, над засыпающим Кешкой, высвечивая окрестности потерявшей сове.

Звёзды лупастят всюду. Может, и не звёзды это вовсе, а угольки – каменья моего костерка. Подхватил их ветер-разбалуй и зашвырнул горстями куда повыше. Пусть сияют для всех, согревают продрогшие души в промозглую осеннюю ночь.

Чувствуется, как со спины подкрадывается мороз. Костёр вздыхает последний раз и гаснет. Пора на покой.



ХЛОПОТЫ КОТА ПОТАПА



Вообще-то Потопом меня называет только хозяин мой, Фролыч. Думаю, для солидности, для весу. А так я – обыкновенный хutorской кот, правда, какого-то бурого цвету.

Принёс меня хозяин в дом сосунком, недели две от роду. Грудничок, всё мамкино да мамкино молочко, а тут какое-то душное, как потом оказалось, козье, но ничего, привык. Ещё как пошло!

И по первости, видать, обьелся. Ноги разъехались, живот, как шар. Лёг, не поднимусь. Дед взял меня за шкурку, тщательно рассмотрел: «Лапы – сила! Крысолов будет, а вот цвет подгулял, какой-то поганенький, не кошачий, бурый. Ну, ить с какой стороны посмотреть, может, и к лучшему даже, неприметный. А вообще будет кот что надо! – И, дабы подтвердить мою бодушую силу и мощь, обозвал меня Потопом. – Крепкий, бурый, лохматый, ни дать ни взять – медвежонок».

Хозяйка называла меня просто «кот», а вся округа – «Фролычев обжора». Когда привязалась ко мне эта пагубная привычка, и не помню. Видать, воздух на хуторе такой, что съедается и тут же стораёт всё подряд; всё, что прыгает, ползает, летает, и порхает. Вся еда исчезает в моём необъятном желудке сразу же, я даже и не успеваю распробовать, от какой козы дед мне налил. А я и Милку, и Катьку, и Зинку по запаху знаю. Как не знать-то своего хозяйства. Думаю, что Фролыч без меня не справлялся бы вовсе.

Вот взять хотя утро. Деду так неохота вставать, я же вижу, но как ни жалко мне его, а будить приходится. Гуси гогочут, козы рвутся на волю, баран того гляди разнесёт закуску, да и курам пшенички надо посыпать. Вот и начинаю заходить издалека. То на кухне греману чем-нибудь, то на подоконник прыгну, там у деда рассада помидорная подрастает.

Он этих моих проказ не любит. Считает, что это я всю землю в ящике перерыл. Заслышав меня, тут же встаёт, чтобы спровадить восвоися.

На самом деле, это полёвка забежала с осени и роет, роет у деда в ящиках. Я на неё веду каждодневно охоту; правда, уж больно хитра. Юркая мелочь, никак не сподоблюсь, не словлю.

А в основном я беру лаской. Сажусь прямо у самого дедова уха и завожу такой мур – ни дать ни взять Петька на «Беларуси» катит. Фролычу, видно, мнится, что он пахать под картошку приехал, вот дед тут же и вскакивает.

Жаль его, горемычного. Отправить бы хоть на недельку отдохнуть, да не в моих кошачьих силах. Он ведь по ночам не спит вовсе, так, придрёмывает. В дому-то ходячие только мы с ним. Хозяйка лет пять, почитай, как слегла. Всё на нас и держится. И ночью Фролычу приходится поминутно вставать к ней, то повернуть на другой бок, то лекарство подать, то ещё чем помочь. Где уж тут заснёшь, и я кручусь тут же, рядом. Всё деду веселей, не так горько и

одинок. Наезжают дети, но это редко, а все тяготы на нём. А годков-то уже! На сколько кошачьих жизней хватит!

По мере сил стараюсь подлечить стариков. Медицинских я не заканчивал, всё больше знахарствую. Помурчу у деда под ухом, полежу у хозяйки на больных ногах, глядишь, и притихнут к утру, вроде бы уснут. И будить-то жалко, а надо. Весна на дворе, хлопот-то, хлопот!

К примеру, пасека. Хоть и ненавижу я дедовских пчёл всеми своими кошачьими органами и мёда вовек не едал, но вчера вынужден был деду напомнить, что весна уж давно, пора бы посмотреть, как они там перезимовали. Как-никак, хоть и мелкая, а скотинка тоже. Надо бы подкормить, подымить. Обнаружил я в чулане дымарь, выкатил его на веранду, гнилушки старые рассыпал, куда деду деваться! Надел халат, пропахший воском да прополисом, сменил треух на сетку, и пошли мы с ним под клёны. Там с десяток ульев у моего Фролыча в тенёчке погуживают. Я, конечно, присмотрел, чтоб дед с пути не сбился, проводил его, а сам ближе не пошёл, залёт поодаль, на крышке развалившегося улья. Хозяин, как и полагалось, дымил, а я, как мне полагалось, грелся, принимал солнечные ванны. Надо оздоровить шерсть, совсем стала какая-то неприглядная, ключьями. Вчера Муська соседская не признала меня, видать, совсем постарел. А как любилась мы с ней, шельмой! Сдавать, видно, стал, потому и в лаз, который мне она когда-то показала у соседа в амбаре, стал похаживать нездешний приبلудный кот. Рыжий, с полосатым хвостом и, судя по тому, как он рванул от Муськи в чердачное окно, когда Петька его вожжами огрел, молодой ещё, резвый. Да и орёт он в вишняке за хатой так, что мы с Фролычем припугнули его из воздушки. А после этого какой сон? Напрочь я из-за того Рыжего весной лишился покоя, исхудал даже. Муська-то почти не волнует, зато допекает её наглый ухажёр. Всё поёт ей, уж был бы голос приличный, а то так, один скрип тележный.

О чём я? Ах да, о пчёлах! Создания они весьма злые, чуть что, сразу кусаться. И лез бы я к ним, разорвал бы что, а то так – не проходи мимо! И сразу в шерсть. Приходится, как последней курице, купаться в пыли, и кататься, кататься, чтобы затихла маленькая мерзавка. Изваляюсь, домой не пускают, пока не отряхнусь или под дождём не побываю. А тут ещё морду разнесёт! Правда, дед говорит, полезны эти пчелиные укусы, радикулита не будет. Благодаря им мы и не сдаёмся. Кряхтим, но кое-как встаём поутру, выходим, и день начинается.

Все дворовые нас сразу приветствуют лаем, ржаньем, бляньем. Кроме меня, есть у деда ещё помощник, но мне он не нравится. А куда деваться? Живём под одним кровом, с одних рук кормимся, поэтому с Дружком давно заключён мир. Порой он даже позволяет облизать косточку, похлебать из его миски, а я в ответ снисходительно отношусь к тому, что он повадился таскать яйца из гнезда ушастой несущки. Пусть яйца кладёт на место, придумала тоже – нестись на сеновале. Дед об этом гнезде не знает, а я благосклонно умалчиваю. Долг платежом красен, да и всё же пёс-то то наш, родной. Вот и терплю эту его выходку. И его жалко, с годами он резко постарел, поседел даже, небось, и зубов-то почти нет, пусть яичком изредка побалуется. Кажется, мы с Дружком становимся всё больше похожи на хозяина. Пёс даже смотрит хозяйскими серыми поблёкшими глазами. У него на мой счёт есть

неоправданные подозрения. Так как в дом его не пускают, он очень ревнует и считает, что я там могу по его недогляду непременно чего-нибудь начерредить. Видно, не понимает, что вышел я из того беспечного возраста, повзрослел, сжился с хозяйством. Как же я могу нанести ему урон?

Взять хотя сегодняшний случай. Козел наш Гришка – пренеприятнейшая bestия. Мало, что бодается, так ещё и проказничает не по годам. Подоив коз, хозяин повесил подойник с утрешником на изгородь, видать, от Дружка, я-то не позволю, и ушёл за соломой. Наглый козёл наклонил подойник и в минуту опорожнил его. Я вскочил на изгородь и стал подбираться к его бодастой, нахальной башке. «Прыгну, – думаю, – меж рогов, расцарапаю бестолковую морду». А он дурак-дурак, а тут заметил хозяина, идущего с охапкой соломой, и наутёк. Фролыч и обнаружил на месте меня одного, козла-то след простыл. Не сомневаясь в виновнике, дед накричал на меня, обозвал непередаваемыми словами, самые безобидные из них: «Когда ж ты только треснешь, обжора!»

От несправедливости я скрылся на чердак и пролежал там битый час, но потом пулей соскочил вниз, завидя в щёлку беспредел. Промелькнула сорока с цыплёнком в лапах. Я расшумелся, покидал с чердака старые вёдра, плетушки, закатил такой переполюх, что дед выскочил из сарая и, разогнав сорок, смастерил для клуши и её выводка крытый сеткой выгул, иначе перетаскают птицы, да и мои сородичи, всех цыпят. Я, обиженный дедом и козлом, сидел на лавке в сирени и приговаривал: «Давно пора было, я ж тебе намекал! Сил у меня не хватает за сорочьём гоняться».

Да... Силы уходят, а умирать не хочется... Вот снова весна повсюду! А запахи-то, запахи-то какие! Правда, несъедобные в основном, но всё равно – дурманящие.

Сегодня с дедом навоз на огород вывозили. Слежался за зиму, самая подкормка для землицы-то. Тёплый, парит, как из печи, хоть ешь, земляца ждёт – не дождётся. А за курятником такой аромат! Там черёмуха выбросила кисти. Дед её очень любит. Вообще он насажал за свою жизнь столько деревьев, что и не сосчитать, а к черёмухе у него особое отношение. «Душа, – говорит, – от неё млеет». Ну, коли делу хорошо, мне и подавно, я на этой самой черёмухе бывало, в молодые годы не одному воробью пёрышки посчитал. К птицам никакого уважения не имею. Так, пустые создания, нам на потребу, а вот, например, конь – это совсем другое.

Это, можно сказать, заглавное дело в сельской жизни. Как говорит мой старик: «Без коня и хозяйства-то нет». И привезти, и вспахать, и поехать куда – всё он, милый. Не забуду, как плакал Фролыч, когда на дворе беда приключилась. Напугал ли кто, или ещё что, только прыгнул ночью конёк через изгородь и напоролся брюхом на кол, спасти уже нельзя было. Прирезали горемычного. Дед ходил неделю сам не свой. Возьмёт, бывало, вожжи и за сарай по привычке пойдёт, туда, где Сивка ночевал, я за ним, и всё на руки, на руки прыгнуть стараюсь, замурчу, заластюсь, дед всплакнёт, а всё со мной легче. Так я его постепенно и отогрел, а то совсем было дед скис.

Вообще-то нам с Фролычем горевать да отдыхать-задумываться некогда. Надо Зинку с Милкой на луг спровадить. Одуванчики нынче, одуванчики какие! Тепло, они и прут! С весенней травы молоко у коз жирнющее, нала-

каешься парного, усы оближешь, и ничего тебе не надо бы, если б не такое хозяйство, за ним ведь глаз да глаз нужен.

Баран тоже доставляет огорчения. Ладно бы меня не признавал, а то ведь со всеми в контрах. На днях сосед шёл с молодыком, накопал берёзок на посадку в Ярочкином логу, а он его у нашей калитки отхватил и под зад так наподдал, что тот аккуратно возле своей хаты и приземлился. Пришлось нам с Фролычем вечером после управки этот инцидент первачом да огурцами бочковыми отмаливать. Кстати, дед эти огурцы засаливает по-особому, ни у кого в деревне таких нет – видно, травы одному ему ведомые добавляет. Вот огурцы до мая и хрустят, как свежие.

Ну, а первач, о том и вовсе что говорить! Сад у Фролыча большой, а по всему его краю слив видимо-невидимо. Весь сентябрь мучаемся с дедом, сливы собираем, в бочонки ссыпаем. Противно мне по ним, склизким ходить, а что поделаешь, на кого ж деда покину? Вот и носим ведро за ведром, а потом дед из них самогон сливовый затирает. Вся округа его вкус знает. Нет... не так чтобы очень употребляет, но бывает... с устатку. Да я от такой жизни иногда и сам бы непрочь. Но статус кошачий не позволяет.

Так о чём это я? Ах, да баран. Круторог он у нас, глуп, как баран, и упрям. Всю округу в страхе держит. Фролыч, если баран во дворе, с вилами выходит. Тот вилы знает и сворачивает в сторону.

Зато вожак он отменный! В стаде порядок, домой, на водопой, на луг – всегда вовремя. Завидую ему, у нас, у котов-кошек, каждый норовит сам по себе, а тут – семья! И баран в ней – неоспоримый глава. Чуть где какая овцарка отстанет, зазеваается, – подгонит, подтолкнёт так, что та и думать забудет своевольничать. Рога закручены спиралью, о-го-го какие!

Дед наш ни поросёнка не может резать, ни овцу, рука не налегает. Зовёт Андрюху. Живёт этот лоботряс через несколько хат, вниз под горку. Не работает, ходит, калымит: то свинью кому поможет заколоть, то что-нибудь украдёт, так и кормится. Пуще всех ненавидит наш баран этого Андрюху. Помнит, видать, что именно он по осени ягнят у деда резал. Андрюха боится барана, как огня.

Да и я этого малого тоже, признаться, терпеть не могу за нечистые его руки, за воровской нрав. С детства он чуть заикается, а тут я ему добавил страху, устроил «Варфоломеевскую ночь». Была у нас баня. Она и сейчас стоит, да не доходят у деда до неё руки, запустилась, одичала, склад – не склад, кладовка получилась. Дед хранил в ней домашнюю утварь, алюминиевые бачки. Повалился Андрюха сдавать металл и присмотрел у нас посуду. Я, по старой привычке, ночевал иногда в бане, припоминая тёплые банные деньки. На чердаке сено для коз. Устроил я в нём лежбище, и воздух чистый, и мыши под боком. Вот и слышу я ночью, крадётся кто-то к бане, открывает дверь. Дед только лёг, значит, кто-то чужой. Смотрю, а это Андрюха входит, за баками пришёл. Я и шарк на него сверху, прямо с чердака на плечи. Что было! Забыл воруя, где двери, и ходу! Я ещё как тазом вслед запущу, чтоб побольше грохота было.

Так и крутишься день-деньской, к вечеру и лап не чувствуешь. А каково деду? Я-то при нём, а все тяготы он выносит. Сегодня полдня телегу чинили. Конька нет, ход остался. Налёт дед поллитру, возьмёт на денёк у кого-нибудь ло-

шадку, а ход свой. Может, в лес собрался? А может, солому с поля привезём. Что за бесхозяйственность такая пошла? Бывало, стоит омёт, уж я в нём так накоштуюсь, полёвок наемся! А теперь чуть что, ещё с осени, пожгут всю солому, даже нам, котам, не с руки. Я вообще дыма не люблю.

Правда, оговорюсь, нравится мне, когда дед, завершив дела, присядет чуток отдохнуть, достанет грушевую трубочку. Грешен, люблю эти короткие мгновения, заберусь к деду на колени. Сидим на крылечке, слушаем, как майские жуки в клёнах копошатся. Колхоз зачах, в полях не сеют, не пашут, нет химикатов, вот хрущи и ожили, расплодились, гирляндами с веток свисают. И вжикают, вжикают. Сидим с Фролычем, тишину да возню жуков слушаем. Дед затягивается, я дымок нюхаю. Такой родной, ни с чем не спутаешь. Перекурим, расскажет старик о своих планах на завтра, я подмурлыкну – мол, помогу, чего уж там. На кого ж тебе ещё-то надеяться?



ПОРОША



Середина октября. Покров. Вчера бабушкиными молитвами к ночи пошёл снег. А нынче, куда ни глянь, всё кипельно-бело, хрустко-ново. Поля – бесконечные отрезы ситца из маминного сундука.

Подморозило, снегопад перешёл в дробную порошу. Что-то прохудилось там, вверху, и сыплет, сыплет... Смотришь: и не видать ни Афониной кузни, ни Казюлеева сада, ни водонапорной башни с нахлобученным, будто ушанка, аистинным гнездом.

Вчера тревожно надрывались – гыркали, взмывали в невидимую высоту и обрушивались на Сидоровы ракитки посуровевшие грачи.

Отвесной стеной шумит, словно сыплется из мешка в закрома, свежемолотая крупа-сечка.

Ни ветерка. Колется и бодрит. Мир притих, только шепчет, шушукает о чём-то освоившаяся за длинную октябрьскую ночь зима, да какают соседские гуси, то ли удивляясь, то ли радуясь пороше. Поводили шишковатыми носами в белых крупках у калитки и пошли поредевшим к зиме табуном окунуться в колдыбене под Мишкиной горой.

К полудню над Копытцами, из которых по осени корзинками таскали рыжики-познушки, прояснивает. Шагая по болотам, по валериановым торфникам, длинными, словно у цапли, ходулями, пороша торопко пробегает вдоль поймы Кромы, барабанит по слюдяному, чуть схватившему речные извороты льду, тает сахаром-рафинадом в незастывших протоках и полыньях. Шумнув, ускокаивает за пригорки, спешит, поторапливается в Шаблыкинские урочища.

Проморгавшись, небушко осмеливается сначала одним глазком, потом другим взглянуть на режущее белизной раздолье. И вот уже над Мишкиной горой стоит-лупастится румяное морозное солнце.

А может, и не солнце вовсе, а краснощёкая Катюшка, хуторская девчонка-десятилетка, забралась, пыхтя, подбирая полы кроличьей шубейки, по первопутку на гору. Втащила за собой плетушку-глинянку. Сколько готовилась-дождалась, обливала на ночь ключевой водой вымазанное суглинистой сметанкой днище плетушки да во дворставляла на мороз.

Сядет сейчас и закружится, и понесётся с откоса, зажмуриваясь и взвизгивая, тормозя на ходу валенками, оставляя за собой искрящиеся завихрушки. Долетит до остекленевшего ручья, в котором голыцы, будто в аквариуме, видны, выправит и помчит по его потрескивающей глади, теряя на легу галоши и варежки. Резко развернётся под кручей, высекая клубы дробной колочей пыли.

Выберется Катюшка из своей глинянки протопать стёжку к роднику. Приглядится и ахнет: кругом занесло-запорошило, а родник живой, ворчит, словно дед Илья, выговаривает разыгравшимся не ко времени синичкам.

Спихватятся щебетуни-желтобрюшницы, порскнут, и след простыл. Соберёт девчонка по подгорью галоши да вязанки, укатается так, что валенки обрастут крупными хрустальными бусинами, варежки промокнут насквозь, а то и вовсе потеряются до первых проталин. Сыщёт их отец нечаянно по весне, принесёт: вот, мол, подарочек тебе грачи принесли.

Ну, это когда ещё! Закрайки зимы лишь проглянули. Первая пороша пылит. До весны ещё, ой, как далеко! А пока – кататься – не хочу, хоть на пузе – плетушка по пруту, по пруту и рассыпалась. «Надо бы с дедушкой нарезать с осени поболее лозняка, наплести-наготовить корзин попрочнее. Вишь, хлипкие какие», – смекает Катюшка. Как показать дома развалюху-корзину?

Прошлой зимой на кухне у окошка наработал дедуня плетух на весь хутор. А самую лучшую внучке подарил. Скажет теперь: «На тебя, девонька, не наготовишься!» Надо бы что-нибудь сочинить в оправдание, сплести какую-нибудь небылицу, чтобы дедка поверил.

Постоит чуток Катюша, попридумывает, полюбуется на запорошенный хутор, вёрст на десять с бугра видать. До горизонта, до самых росстаней белым-бело, будто мама подойник пролила, а котейка не успела подлизать. И течёт – растекается Милкино парное под Гавриловку, по пойменным лугам, по низинным подлескам.

Младшего братика Стёпку, может, и правда, аист принёс, а её, Катюшку, – даже спрашивать у мамы не надо – в сугробе нашли. Родилась зимой, Катюшкино это время. Ждёт снега, не дожждётся, а как выпадет, домой не зови, не сыщешь. Все сугробы промерит. Но перво-наперво тропку к калине пройдёт. А как же! По морозцу самый срок яголке поспеть. И снегири, как обьявятся, так на калиновый куст, – не смотри, что стоит на задворках, зато костром полыхает. Лакомятся вместе: красногрудки по верхам обклёвывают, а девчонка низком, только что снег приминает. Горчит ягодка, но вкусно!

Вообще, Катюшка птиц местных наперечёт знает. В тополях сорока обосновалась, такая болтушка, не приведи Господи! Катя Трещоткой её кличет. По вечерам на вяз у крыльца совка прилетает, вздыхает, охает. В стогу, что за бахчой, стайка пугливых воробушков выискивает зёрнышки от просянки. Подойдёшь, схлынут ливнем, рассеются по вишняку – и невидны-неприметны.

С соседским Петькой ставили они в прошлую зиму на репейники маленькие силочки из конского волоса – щегла словить хотели. Попадались только глупышки-синички. Тоже хорошо. В феврале распевают, такие концерты выдают!

С капелями начинают тосковать по воле. Жалко... Приходится выпускать...

И Катя выходит на крыльцо, открывает сложенные конвертиком ладони, а притихший тёпленький комочек только и ждёт. Чирк – и не достать. Тинь-пинь, привет, мол, и был таков.

На закате снежным комом Катюша вкатывается в калитку. Щенок Баламут бросается к ней, облизывает раскрасневшиеся щёки. Радостно носится, прыгает, снег розовой слюнявой пастью хватает, ныряет по брюху в сугробы.

Отец колет дрова. Вчера привёз на Вьюнке из Хильмичков. Подвалил сосны. Дух-то какой! Под сараем, там, где старая поленница, куча-мала. Катя

вытягивает левую руку, накладывает духовитые полешки. Ладони клейкие, пахнут лесом, сосновой смолой, Рождеством.

О, это особый праздник, самый сладкий, самый загадочный. Но до него ещё надо дожить.

Так долго тянутся последние месяцы года! В деревне скукота. Но Катя обязательно что-нибудь придумает. Можно взять отцовский секатор, ножницы садовые, и сбегать в заброшенный Пузанихин сад. Прищудишься, присмотришься – и не сучок это корявый, и не веточка, а олень с великолепными рогами, или козлёнок бодучий. А если повезёт, то и самого Лешака или парочку кикимор сыщешь где-нибудь среди коряжистой поросли дичек. У Катюши с прошлого года целый зоопарк на полке живёт. Рождество подойдёт, на сугробы из ваты под сосёнку в горенке расставит.

От дома тянет дымком, мама растапливает. Когда клубы над трубой, на душе теплее.

Бурьянным корявым (уже без семян, одни прутья) веником Катя шурует по валенкам, сбивает с них ледышки. Обметает шубейку и распахивает двери в кухню.

На столе стопка поджаристых оладьев. Земляничное варенье. Запивая Милкиным молочком, Катюшка и не замечает, как смахивает полдюжины маминих оладушек, и напрямик – на печку.

Там под подушкой томик Джека Лондона припрятан, замурзан Катюшкиными пальчиками, аж страницы лоснятся. Каждую Зимушка (так подружки Катю меж собой прозвали) наизусть знает. И читать не надо. Открывает книжицу, рассматривает картинки, вспоминает. А глаза слипаются. И пятнадцать минут не проходит, уж спит, сны व्यюжные листаёт. Мчит где-то далеко на Аляске обледенелыми торосами на собачьей упряжке. Крупую манной сыплет пороша. Присмотрится Катя: не лайки в упряжке, а Баламут-разбалуи несёт её по бесконечным снегам под Северным сиянием. Удивится, как покорно тянет Баламут сани. Сколько раз пыталась она щенка запрячь-покататься. Ведь в студёные зимы на хуторских полях наметает такие сугробы, что жители Аляски позавидуют. Этот неслух вываливал Катю из салазок в снег и сбегал победокурить во дворе, погонять трусливых индюшек, подстеречь Кота Фомку у своей миски...

Но во сне может случиться всё, что захочешь! И вот сегодня! Надо же, Баламут мчит, как настоящая лайка. А впереди – пороша...



ТРИ ДЕВИЦЫ ПОД ОКНОМ



Ишь, неуютнай, опять бесовской пляс затеяли! Кабы батюшку на них, наложил бы лет на шесть епитимью за козы рожи! — вспомнились из детства бабушкины причитания.

Как только подкатывали Святки, да на лихом Крещенском морозе разгорались игрища, бабуля ворчала на ряженных, шуняла «мóлодежь». Но сколько бы ни сердилась старушка, Святки гулялись. Святки есть и долго ещё не переведутся, пока будет сама Русь, пока будем хранить свои славянские корни.

Испокон века Святочная неделя — самый неугомонный, самый любимый праздник. Начинался он вечером шестого января, когда на деревенские улицы выкатывались толпы ряженных. Переваливаясь из хаты в хату, с шутками и колядками колобродили в ожидании первой звезды. Уж если наш мужичок загулял, поди, удержи его! До самого Крещения продолжалось народное веселье.

То ли отвечая потребностям широкой русской души, то ли потому, что бережём в закоулках памяти обряды пращуров, не понять уже и отчего, но (какой век!) Святки ждут, к ним готовятся и лихо гуляют по городам и весям, и стар и мал.

Грешит мужичок в разухабистые деньки и не помнит уже, что осталось в этом веселье от древности, чем обогатило это празднование Христианство. Надеется люд российский: наступит Крещенский сочельник, окунётся мужичок в прорубь, запасётся водицей освящённой и омоется от святочных проказ.

Сочельник, вечер перед Рождеством, у нас зовут Сочевник. Помнится, девчонкой выбегала поминутно в сенцы: сквозь морозное оконышко не разглядеть, взошла ли первая звезда. Всё никак не могла дожидаться её, той, самой важной в году, которая возвестила волхвам о рождении Сына Божия в Вифлееме Иудейском.

Рождество никогда не обходилось в нашем доме без сочива (кутья). Бабушка в этот день не стряпала, а священнодействовала. В мои обязанности входило перебирать зерно. Бабуля промывала ячмень, пшеницу и рис. На лучшем меду, хранимом для Великих праздников, варила из них кашу. Добавляла самую малость еleya (оливкового масла), лещинки, изюмцу. На меду же томила в печи из сушеных яблок и слив взвары. Оладьи тоже щедро поливала мёдом.

В такой день одной бабуле не справиться. Мама и я летали по кухне на подхвате. Выпечку, резных овечек да коровок, наготовляли целую корзину, чтобы на все Святки хватило. Последние печенькица подбирались на Крещенье – обмакивали в святой воде.

Бабуля наша хоть и доброго нраву, но строго соблюдала раз и навсегда усвоенные, вероятно, ещё от её бабушки, житейские правила. Под Крещенье наводили порядок, а собранный сор сжигали в огороде на костре. Мол, и в дому беды повымели, и землю освятили. Бабуля говаривала о Святочных праздниках, как о живых существах. По мосточку, слаженному Овсеном, приходят в эти дни «братцы» – Роштво, Хрищеньё и Василёв день. Старушка не любила слово «колядовать» и всегда поправляла – «Христа славить». Топчась спозаранку у печи, напевала:

«Рождество, Твоё, Христе боже наш,
Возсия мирови Свет Разума...
Тебя видят с высоты Востока,
Тебе кланяется солнце правдою...
Волхвов привечайте,
Святое встречайте.
Пришло Роштво,
Начинаем торжество!
С нами Звезда идёт,
Молитву поёт...»
А с улицы доносилось:
«Пришла коляда
Накануне Рождества,
Дайте коровку,
Масляну головку!
А дай Бог тому,
Кто в этом дому.
Кто в этом дому,
Ему рожь густа,
Рожь жениста;
Ему с колоса осьмина,
Из зерна ему коврига,
Из полужерна пирог.
Наделил бы вас Господь
И житьём, и бытьём,
И богатством,
И создай вам, Господи,
Ещё лучше того!»

Бабушка противилась тому, чтобы я участвовала в колядках, заваливала предпраздничными делами: и холодец разобрать помощи, и белки взбей, и печенюшки смажь. Но как отстать от подружек? Улучив минутку, я выскальзывала за двери. А там! Милку, подружку мою, нарядили поверх шубы в специально сшитую белую рубаху. Усадили в сани. Парни в них впряглись, по деревне Коляду возят, распевают:

«Уродилась Коляда
Накануне Рождества...»

На саях лежат мешки, в них складывается всё, чем угощают колядующих за то, что хозяина хаты величают «светлый месяц», хозяйку – «красно солнышко», а деток – «звёзды ясные».

Мила-Коляда, коли не отворяли, стучала в окошко и грозила:

«Кто не даст пирога –
Сведу корову за рога,
Кто не даст ветчины –
Поколою все кубаны!»

Почередив, наозорничавшись, бросали сани посередь улицы – перего-раживали дорогу и сваливались уплетать наколядованное в Милкину хату, благо родители её сами были не прочь повеселиться, пировали на другом конце деревни.

Подъев Рождественские угощения, под Крещение пускались снова по дворам. Гулять – так гулять!

Современные игры на Святках не были в ходу. У стариков выпытывали водившиеся в их времена забавы и развлекались, внося свои придумки.

Играли, к примеру, в молчанку. Водящий командовал: «Раз, два, три!» – и все замирали: ни двинуться, ни сказать, даже ни улыбнуться. Выдержать так долго никто не мог. И вот уже проштрафившийся Сашка Филькин ест горсть опилок. Наказание могли придумать и похитрей: прокатить Милкину бабулю вдоль деревни на спине, или – укротить, запряч в санки Стёпкиного полудикого пса Буянку, да чтоб не вывалил девчат в сугроб.

Бедная моя бабушка! Выговаривала мне всю неделю. Но как же я могла не побывать на Святочных играх? Как-то, отбирая вывернутый наизнанку дедов тулуп, она подвела меня к столу, открыла Священное Писание на том месте, где говорилось: «На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться (бабуля прочла: «рядиться») в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий делающий сие».

– Бабулечка! Милая! На Крещение обещаюсь в Иордань прыгнуть, очиститься! Только отпусти Бога ради! – не унималась я, представляла, как под окном хохочут девчата, слушая мои уговоры.

Старушка выходила, распугивала «анчибелов», высыпая в их сторону ведёрко золы, но сдавалась, приговаривая: пропащая, мол, твоя душечка, Татьяна. Отпускала на гулянье, взяв строго-настроено обещанье «богохульства не чинить».

– Кротче меня во всей деревне овечки не сыщешь, – кричала я уже из сеней и с разбегу валилась на сани в кучу малу.

В Милкиной хате наряжались, кто во что горазд, и колобродили вдоль села. Вваливались в избы, пугали детей, плясали и веселились. Хозяева с шутками старались разоблачить ряженных, выгнать сопротивляющуюся «нечистую силу», как считалось по поверьям – расчистить дорогу новому году. Узнанный выбывал из игры, разряжался. Ходили даже в соседские деревни. Целая неделя ничегонеделанья! Поневоле на гулянках не туда забредёшь!

Взрослые тоже любили пошутить и дожидались святочных вечеров, чтобы расслабиться, свалить с себя груз забот и тревог. Даже они участвовали в балов-

ствах и забавах. То у бабки Колдучихи ворота приморозят – напрочь залиют водой, то заткнут трубу, дым в хату повалит. Всё, что не спрятано: тряпка ли какая на гороже, ведра, корыта, – всё шло в ход. Долго потом разыскивали хозяева на чужих задворках свои лавки, плетушки да кубаны. Порою целую поленницу наваливали на сани и прятали на чужом дворе. Попробуй сыщи поутру!

А у нас, трёх одноклассниц-подружек, было ещё одно очень важное занятие, без которого и Святки – не Святки. Но об этом бабуле не только рассказывать, даже намекать было нельзя.

Я, как примерная девочка, выслушав все её наставления, шла в клуб «на спевку», а сама, перебежав улицу наискосок, заворачивала на Милкино подворье. Посторонних по такому серьёзному случаю не приглашали, только Мила, Машутка да я.

Ещё истари считается, что в Святочную седмицу всё вокруг приобретает особый смысл. Не случайно кошка опрокинула кубан, молоко не лужицей пролилось, а ручейком под порог подбежало. К чему бы это – кочет ни с того, ни с сего до срока заголосил? А уж коли горlinka в окошко забьётся, верный знак – не к добру. Примечали самые незначительные мелочи. Ветер свистит – об одном вещает, гудит – о прямо противоположном. Выдумывали и сами приметы, выдавая их за общепринятые. Промелькнут Святки, о них никто даже и не вспомнит. Но в такие чудные, волшебные вечера – всё неспроста. Чаше гадали перед Крещением. Ведь издревле известно, что в это время нечистая сила шалит особенно.

Машутка была страшной трусихой. Милка не боялась никаких чертей. А я, полагаясь на Божию защиту и бабулины молитвы, крестилась на образа и подсаживалась к девочкам. Мила брала подшало, завешивала иконостас («а то не явится»). Зажигали свечи, гасили свет.

О чём гадали? О любви, конечно, о будущем, как и все семнадцатилетние девочки.

Больше всего нам нравилось гадать на петуха. На полу накидывали всякой всячины – от монет до гвоздей – и выпускали петуха. Что тот соизволит клонуть, то и сбудется. Монетку – ясное дело, к богатству. Пустой спичечный коробок – к вечному девичеству. И так можно было выдумывать сколько угодно, – хоть до утра.

В ход шли самые невероятные для гадания предметы. Но проще всего гадалось на молоке и воске. Наливали в блюдце молоко и – под порог. Растопленной свечкой заманивали домового. Мила считала почему-то, что он у них в хате все свечи понакусал. Шёпотом, взявшись за руки, умоляли: «Хозяин мой, домовый, приди под порог поесть воска, запить молочком». Воск выливали в молоко. И тут наступал самый интересный момент. Надо было рассмотреть, что за восковая фигурка плавала в молоке. А толкование-разгадку всегда можно было сыскать в девичьем альбоме.

Так же разгадывалась и тень от скомканной сожжённой газеты. Когда она прогорала, рядом ставилась свеча, и пепел отбрасывал на стену тень. Фантазия наша не знала предела. Распущенный цветок (тень от сгоревшей газеты) – свадьба через год. Фигурка человека – жених в пути.

Откуда Машутка вызнала гадание на яйце, мы только удивлялись. Отродясь не слыхали у нас о таком. Наполнила она стакан водой, вылила в неё

белок от сырого яйца и – на загнетку, поближе к огню. Белок тут же свернулся. Смотрим: а в стакане фигурка в форме лодочки-кораблика.

– Ну, девчата, готовьтесь, кто-то из нас замуж за границу выйдет, далеко уплывёт, – со знанием дела заявила Маша.

– Вот ещё! Только не я. Я отсюда ни ногой, на кой мне эта заграница? – тут же заявила Мила, – чего я там не видала?

Решили ещё разок попробовать. Вышел куполок церквушки.

– Ну, это – скорая свадьба, уж точно. Только не узнать у кого из нас, – пожалела Машутка.

Притащила Мила корыто с водой. Наклеили по бортикам бумажки: свадьба, деньги, радость нечаянная, жених у порога, жених на чужой стороне и т. д. Поставили в ореховые скорлупки крошечные свечные огарочки. Зажгли и пустили по нашему морю-океяну. К какому берегу-бумажке пристанет скорлупочка-кораблик, такой участи и не миновать.

Долго нас с Машей уговаривала бесстрашная Мила погадать на зеркало. Редко кто отчаивается на это рискованное занятие. Иногда девчата даже в обморок перед зеркалом падают. Ещё бы! Исстари считается, что зеркало – тончайшая грань между реальным миром и миром духов. Правда, говорят, хоть и страшное это гадание, зато – самое верное.

И вот мы, наконец, решились. Идём в баню. Баня, знамо дело, – самое нечистое место. Вот где всю правду и узнаем!

Полночь. Перебежали двор. Мы с Машей в предбаннике остались (гадающая должна быть одна), через распахнутую дверь за Милкой наблюдаем.

Распустила Мила косу, развязала поясок. На полок поставила две тарелки, на них положила по ложке. Рядом – зеркало и свечу.

За дверью – ночь непроглядная, жутко. Тишина гробовая. И вдруг ясно так: «Суженый, ряженый, приходи ко мне ужинать!» Мы с Машуткой обмерли.

Прошло несколько минут. Вдруг Мила как вскрикнет! Ни Маша, ни я никого не увидели, только услышали, как Мила, дрогнув голосом, произнесла: «Чур сего места!». Долго ещё не могла она отойти от того, что увидела в зеркале. Кого она в нём разглядела, мы так и не смогли допытаться.

Затворили баню, подперли для надёжи бревном и – скорей, скорей в хату!

Обогрелись, попили чайку и опять за своё. В хате перегадали на всём, что только можно, и вышмыгнули во двор. Прихватили дедов валенок. И ну бросать его за ворота на дорогу. Каждый раз нос его ложился в другую сторону.

– Знать, замуж далеко друг от друга выйдем, – решили мы.

Перед тем, как разойтись (уж и светать начало), надумали погадать на полено. Отворили сарай. Темнотища! Выдернули наугад из поленицы по полену и – домой! Зажгли побольше свечей, рассматриваем.

Маше выпало полено сучковатое.

– Ну, Машутка, – смеётся Мила, – семейство у тебя будет знатное! Каждый сучок – ребяёнок.

– А у тебя, подруга, – обратилась она ко мне, – ох, и примудрённый муженёк будет, – звон сколько колец на чурбачке-то твоём!

– Что же ты о себе помалкиваешь, поделись, будь добра! – накинулись мы на Милу.

– Да хвастать особо не чем. Кора ободрана... Кой-какое поленце-то... Видать, в бедности да нищенстве придётся жизнь коротать.

Распрощалась я с подругами. А как прибежала домой, дай, думаю, вызову сон про суженого. Лызь к бабуле на печку. А та спросонок: «Наблудилась, баловница?» Отвернулась я от неё и шепчу: «Пятница одна и я, молода, одна. Лежу я на Сионских горах, три ангела в головах: один видит, другой скажет, третий судьбу укажет».

На Крещение в прорубь я нырнуть не осмелилась, а вот снежком крещенским обтёрлась и водицы свечёной отведала, очистилась.

Прошло три десятка лет с тех Святочных вечеров. Я ехала в гости к своей подружке Миле, как она написала в приглашении, «на бабилей». Не верилось, что у моей неразлейподруги, шкодной девчонки с двумя мышинными хвостиками, кругленький юбилей, да и у меня не за горами.

Милка, Людмила Петровна, как и грозилась, навек приросла к нашей родной деревушке. Закончила пед, и вот уже сколько взрослых людей считают её своей первой учительницей.

Маша? А вот о ней я почти не знала ничего. Вышла замуж за военного и мотается всю жизнь по гарнизонам.

Как здорово, что Милка надумала собрать нас на свой День Рождения! Она ведь на второй день Рождества рождена, Святочная. Не зря же её Колядой рядили. Коляда, она и есть Коляда, бойкая, задорная.

Вышла из автобуса, смотрю: сани кого-то ждут.

– Приехала! Не обидела! – навстречу кинулась Мила. – Вот и сюрприз!

Из сена выбралась Маша, зашпешила к нам от саней.

– Ну, вот и свиделись, подруги! Усаживайтесь, прокачу с ветерком. Святки, как-никак. Аль забыли? – Мила прикрикнула на конька, и тот потрусил ко двору.

Накрыли стол. И загуляли! Навспоминались, напелись, наплясались, всплакнули, как это бывает при встрече лет сто невидевшихся закадычных подруг. Подивились: последнее наше гаданье, на промёрзших берёзовых поленьях, оказалось самым достоверным.

Мила, как и большинство сельских учителей, прожила не отягчённую богатством жизнь. Всё, что нажили они с мужем Мишкой (нашим одноклассником), – конёк Федька, десяток курят да визгливый поросёнок Хомка. Двое Милиных детишек обосновались в городе. Мише, колхозному агроному, после того, как перестали пахать-сеять, дела в деревне не нашлось, и он подался за остальными мужиками хоть за каким-то рублём разнорабочим куда-то на далёкую стройку. Наезжает раз в полгода. Бьётся Мила одна-одинёшенька. На роду ли так написано нашей подружке? Полено ли то ободранное виновато? Теперь уж и разбираться не к чему.

Пятеро ребятишек осталось в её начальной школе. Выйдут – и будет вишь на школьной двери увесистый амбарный замок. Хотя, по правде сказать, можно и без него. Что там брать-то? Разве что указку Людмилы Петровны, что отшлифована её руками за долгое учительство до лакового блеска.

Мила, конечно, не унывает. Натура ещё та! Банки крутит, яблоки сушит. Грибочки там, ягодки. На бахче вертится. Русская баба – она живучая. И с Федькой-коньком без мужика справляется. И на гармонии сегодня вон как жарила, «бабилей» справляла.

– А жалеть меня не надо. Я, может, самая счастливая, – замечает наши взгляды Мила. – Всё наладится... Всё обязательно наладится, – повторяет она, словно убеждает своих первоклашек, не даёт сомневаться в верности своих слов. За тридцать учительских лет голос у неё поставлен как надо, и мы, как в семнадцать лет, верим: раз Мила так сказала, значит, непременно сбудется.

А Мила, словно читает наши мысли: «Надо только не терять веру. И каждому оставаться на своём месте. Не метаться, не паниковать».

– Ну, а ты-то как, Машутка? В порядке? Молчишь, всё такая же тихоня. Давай, не скрытничай, выкладывай! Муж? Дети?

Маша потянулась за сумочкой, вынула фотокарточку. Мы так и ахнули. В центре – Машин муж Николай в инвалидной коляске, рядом – она. А вокруг! Куча ребятишек. Самый старший – в суворовской форме, а остальные – мал мала меньше.

– Вот это Машка! Вот это да! Не соврало поленце! Полный кузовок! – порадовались мы за подругу.

Наша Мария Николаевна – хирургическая сестра. С мужем познакомилась в Грозном, ещё в первую кампанию, в лазарете. Подорвался на растяжке. Думали, не сдюжит. Но у Маши такие руки!.. Обосновались на Рязанщине, на родине Николая. Родился Валерка. Маша мечтала о доме, полном детворы. Хотелось дочку. Присмотрела девочку в детдоме, где устроилась медсестрой. Удочерили не одну, а сразу двух сестричек. Как разлучить? А потом забрали ещё и двух мальчишек. Дальше больше... Теперь в их семье девять приёмных детишек. Все школьного возраста. Государство, конечно, помогает. Но вся тяжесть забот на Машуткиных плечах. На кого оставила? А старший приехал на каникулы со своей подружкой (последний курс, скоро на ноги станет), – поезжай, мол, мама, отдохни. Да и Николай настаивал.

– Они у меня смышлёные. Колю любят, и он их тоже. Справятся, – успокаивает сама себя Маша.

Мила слушает, а сама прикидывает: «Опятьок маринованных возьмёшь, сушёных боровичков, сальца, яичек».

– Куда я с таким багажом! – улыбается Маша, – путь не близкий.

– Ничего! Ничего! Здесь проводим, а там (телеграмму отобьём) ребятишки встретят.

Сидим, под самоварчик разговоры разговариваем. За окнами Рождественские звёзды горят, Крещенский морозец похрумкивает.

– Ну, а ты-то, ты-то как? Наконец, обращаются подруги ко мне.

– А что я? Да пишу помаленьку. Надумала вот о Святках написать, о том, как мы с вами о будущем гадали.



ПИЩА БОГОВ



Соседка Маша – необычайная стряпуха и затейница. Таких заготовок, как у неё, вовек не сыскать. У всех варенье как варенье: из смородины, из крыжовника, из вишни, для разнообразия – из малины. А у соседки – каждый раз замысловатое. На любой вкус: приторно-сладкое – из лепестков чайной розы, терпкое – из молочных сосновых шишек, даже из черешков ненашего ревения сыщется.

Прибегает она как-то ко мне, вся светится.

– Новый рецепт раздобыла, – догадываюсь.

– Да ещё какой! Знаешь, чем боги в древней Греции питались?

– Амброзией, кажется.

– А что это такое? Ни за что не догадаешься!

– Наверно, местный продукт.

– То-то и оно, что не греческий, а самый что ни на есть нашеньский.

А проще говоря – варенье. И готовят его на меду из пыльцы обыкновенных одуванчиков. Как не попробовать, скажи?

– Надо же, какие гурманы греческие боги! – удивляюсь я.

– С зимы жду, когда травы в рост пойдут да одуванчики брызнут. Колька наташил из библиотеки книжек по ботанике, доклад готовит. Я и вычитала, прямо обомлела. Проще пареной репы рецептик-то. Чуть подкорректировать для наших дней – и лакомись.

И уговорила меня Маша завтра с утречка в Сычин лог сбегать. Одуванчиков там – видимо-невидимо! Крупные, чистые, не хutorские, мелюзга придорожная.

Вовремя вспомнила соседка про одуванчики. Через пару недель пронырливый майский ветерок расфукает, разметёт их пуховые шары по всей округе. Останутся торчать на длиннющих трубчатых стебельках среди резных листьев круглые белые пуговки, словно головы столетних старичков. А потом усохнут под летним лупастым солнцем и истончённые тельца-стебельки, и сморщенные лысые головки со щепоткой необлётевших седых волосиков на плоских затылках.

Но сейчас – самая одуванчиковая пора. А значит, по Машиному соображению, время варить амброзию.

Май засыпает хutorские переулки снегопадами. Метёт цветочная завируха. Вишнёвую метель сменяет яблоневая, к ней примешивается грушовая. А уж когда разразятся черёмуховые снегопады, предваряющие набирающие мощь сиреневые метели, мир потонет в душистой бело-розовой кипени.

Прихватив корзины, отправляемся за околицу. Ясное майское утро. Заря только-только выплеснулась из Лисьей балки, но дед Митяй уже прокрался с полусонным стадом в набрякшие от густого тумана приречные луговины.

Коровы проплыли по белесым волнам, обив ядрёные росы, оставив в вымахающих по колено травах извилистые стёжки-змейки.

Округа купается в бездонном безмолвии. И только в непролазных черёмуховых чащобах у родника запузывает неумный соловей. Одуванчиков нет и в помине. На пути только росная зелень и облитые молоком кусты дикого тёрна. Да у кладки через ручей облако дички-грушовки цвета молочного киселя, парящее высоко над водой и сливающееся в непроглядной вышине с порозовевшим небом.

Утро бодрит, и мы прибавляем шаг. Тапочки промокли, и я ворчу: мол, нет тут никаких одуванчиков, и амброзии никакой не хочу.

– Да приглядишься: они повсюду, только ещё спят, – настойчиво убеждает Маша.

Солнце карабкается по пригоркам. Снуют по траве его лучики-кисточки, нечаянно капаят рыжей акварелью на сырой зелёный лист долины. Прямо на глазах просыпаются ярко-оранжевые цветы, и пишется ещё один неповторимый пейзаж.

Одуванчики зевают и потягиваются. Встряхивают рыжими шевелюрами. Огненные лепестки-волосики укладываются в аккуратную причёску. На кончики лепестков заботливое солнышко наносит перманент, и они слегка кучерявятся.

Цветов всё больше и больше, и, наконец, из-за обрушившихся на долину искрящихся потоков солнца, из-за расшитого дивными нитями цветочного ковра, мир становится позолоченным. То там, то тут будто вспыхивают лампочки карманных фонариков, загораются сотни одуванчиков.

Вон ещё один! Вон ещё! И каждый мурлычет какую-то песенку. Слов не разобрать, но чувствуется, что она бодрая, радостная. Звуки её сливаются в одну весёлую мелодию и усиливаются с каждой минутой. Это пчёлы деда Архипа, как и мы, слетелись на божественный нектар и, испробовав его, жужжат себе под нос от удовольствия. Луг кажется живым. А одуванчики – не цветы – огромные золотистые шмели, в которых переродились архиповы пчёлы, обьевшись волшебного нектара.

Долина брызжет огнями. Манил раскрывающимися тёплыми бутонами-ладошками поваляться на парчовых покрывалах. Кажется, мы забыли, зачем пришли на эти дивные лужайки. Опомнившись, принимаемся собирать пятячки одуванчиков.

Корзины наполняются быстро, и Маша шутит: «Теперь мы самые богатые на хуторе! У нас кучи золотых монет!» Перепачканные одуванчиковым соком руки пахнут мёдом. Теперь их ничем не оттереть, чёрные да клейкие.

Выбравшись из лугов на взгорье, оглядываемся: далеко вокруг плещется одуванчиковое море. Яркое, ослепительное! Оно плывёт и плавится золотыми потоками по берегам Кромы. И нет ему конца и края.

Вечером по Машиному рецепту варю из одуванчиков душистое варенье. Может, оно и не имеет права называться амброзией (наверняка Маша что-нибудь перепутала), но такая вкуснятина у меня никогда не получалась. Всего-то – четыреста цветков одуванчика, несколько чашек воды, да килограмм липового мёда, и эликсир долголетия, пища богов, готов! Ох, и лакомки были эти греческие боги!



ГЛАШЕЧКА



Мария Петровна – удивительная рассказчица. Заглянешь к ней, обязательно наградит деревенской историей. И на этот раз она не упустила случая потравить очередную байку.

Родилась Мария Петровна в деревне. По соседству жила бабка Глашечка с дочерьми Валечкой да Зиной, да с мужем Сенечкой. Ласковые имена в этой семье были непривычны для суровой крестьянской жизни. Всё, что происходило с ними, становилось притчей во языцех. Каждое слово Глашечки бабы перевирали и передёргивали так, что рассказы о её семействе гуляли из конца в конец деревни.

Даже на вид бабка Глаша была примечательна. «Чемадурная, через губу не переплунет». Сидела на гулянке за столом, как королевишна. Не пела, не плясала, на других смотрела, развлекалась.

Одна походка чего стоила! До пояса она уже впереди, а нижнюю часть туловища несла, отключив, далеко сзади. Опиралась на корявую раковинную клюку.

– Глаш, ты прямо товарняк. Паровоз видать, а вагоны сзади тащатся, – хихикали соседки.

Бабка, привыкшая к шуткам в её сторону, не обращала на обидчиков внимания.

Нижняя челюсть её выдвигалась намного вперёд и, казалось, мешала. Длиннющий мясистый шнобель почти соприкасался с нижней губой. В сочетании с мелкими, всегда бегающими глазками, он рисовал незабываемый портрет и служил предметом постоянных насмешек односельчан.

Ребятня бегала за ней по деревне, ловила и копиравала-передразнивала каждое слово.

Разговаривала старуха медленно, редко, но громко и отрывисто, на выдохе, с трудом, как будто гавкала.

Ни одна баба в деревне не одевалась так, как она, по-особому, по старинке. На голове – полushалок с бахромой в тёмно-коричневую клетку. Коричневый – её любимый цвет, иного не признавала. Зимой носила белокрайку, один конец обматывала вокруг шеи, другой затыкала меж пуговиц расклешённого овчинного полушубка. Наряжалась в подбитую кроликом доху. Носила длинную узкую домотканую шерстяную юбку любимого коричневого цвета со светлыми полосками по низу.

Деду Гришке, валявшему для всей деревни валенки, заказывала не как у всех, а особые – полуваленки-полуботы. К лету востожила себе стёганные суконные короткие бурочки.

Поверх чулков в рубчик и в жару, и в мороз натягивала до самых колен самовязки. Ради них держала Глаша лохматого (во всей деревне не сыскать) Полкана. Стригла беднягу, как овцу, за что была ему ненавистна. Длинными осенними ночами разбирала собачью шерсть, вычесывала репьи и прjala на развалившейся, подвязанной замашной верёвкой, прjалке. Вязала для себя рыжие, воняющие псиной носки, а для деда Сенечки пояс от радикулита да варежки, чтоб не мёрзли руки в управку на дворе.

И носки эти псиные, и полуботы заказные подвергались деревенскими ядовитому разбору. Летом на сенокосе, присев в теньке отдохнуть, зная, что никто лучше Маруси (тогда моя рассказчица ещё девчонкой была) не «сыграет» Глашу, бабы умоляли:

– Ну-ка, Маруська, пересними Глашечку.

Маруся знала привычки соседки. Воспроизводила не только походку, но и мимику. Под общий хохот, опершись на грабли, как на клюку, лающим голосом, на выдохе, выдвинув челюсть, показывала девчонка, как под вечер зазывает бабка на двор овец: «Кыть-кыть-кыть!» Слышно было на другом конце луга, и все спешили посмотреть, как «Маруська Глафиру представляет».

А однажды нашла Маруся в «Огоньке» портрет бабки во всю страницу, точь-в-точь Глашечка. Ночью прикрепила его с подружкой на доску объявлений, подписав: Х/ф «Глафира». Вот уж потешалась Щербилёвка над бабкой-актрисой!

Глашечка никогда не работала в колхозе, домохозяйствовала. Семья жила торговлей. Садов по тем временам было мало, и Марусины соседи обзавелись яблоневым садом, за оградой насажали дички. Торговали в районе яблоками. На ручной маслобойке сбивали масло, набирали корзину, другую яиц и – на рынок.

Жили крепко. Дом большой, просторный. Только односельчане к ним не заглядывали – негостеприимные.

Дед Сенечка тоже отлынивал от колхозных работ. Хитрец был ещё тот! И конокрад отчаянный. Сговорившись с цыганами, обувал коня в лапти и уводил со двора у своих же соседей. Догадывались о его делишках в деревне, но поймать за руку не могли.

Пришёл как-то к нему кум.

– Помоги, Сень, что-то с кобылой неладно. Ни запрячь, ни поехать. Не даётся, не слушает.

– Выдь-ка на минутку из сарая, – попросил Сенечка. Взял нож, выскоблил оглобли и гужи хомута.

– Заходи! Надо всю упряжь пропалить над костром.

Обожгли, запрягли, покатили.

Уж как благодарен кум Сенечке! Вылечил кобылу!

Не знал бедолага, что шельмец, ночью намазал гужи волчьим жиром, кобыла и шарахалась от них, зачуяв звериный запах. Творит хитрец Сеня, а потом сам и лечит.

Наконец, изловили его мужики и, устроив самосуд, от души побили. Нацепили на шею хомут и с позором под улюлюканье вдоль деревни прогнали, чтоб не повадно было.

Как к бабке отходили. Притих Сеня, словно подменили. Ни во что не встревал. Лишь проклянет рассвет, айда на рыбалку. Так пристрастился, что жить без неё не мог. Чем плохо? Тишина. Бабка не лает, дочки не твякают. Сядешь в камышиках, поплёёшь на червячка, и в полудрёме плывёшь себе с листиком ракушечным за Синий плёс, за Лысый хутор. Это коли на рыбку нацелился. А коли на раков – совсем другой расклад. Тут пошвыдчее поворачиваться приходится. Не смотри, что пьются назад. Как стрекотнёт! И моргнуть не успеешь, под корягу ушёл. Но Сеня рыбак первоклассный. Валечка и Зиновья, дочки, плетушками таскали клешастых на рынок.

Бабке Глашечке покладистый Сенечка ещё больше понравился. Не требуя ухода и заботы, приносил в дом доход. Жаднее Глафиры Вахрутиной в округе никого не было. «Сеня, рыбку присоли. Сеня, тарань другим боком на солнышко поверни. Бычков напои, хрюшкам корму задай». Бедный дед во дворе с ног сбивался. А на речке что ж?.. На речке благодать!

– Заездила бабка Сенью, запахла, – перетирала соседки, – запил бедняга.

– А как не запить-то? Она всё на рынке да на рынке, хозяйство на мужике. Одних свиноматок до пяти штук держат.

Случилась на их подворье оказия, которую год лужали бабы у колодца. Зарезал дед бычка годовалого, подвалил боровка. Сам отвёз на рынок, сам продал. И загулял, получив немалые деньги, запил. На третьи сутки добрался кое-как до дому. Бабка, обобрав его до копейки, спрятала деньги в чулане, в корбке из-под ботинок.

Прочухался дед, денег нет.

А жена, скряжная душа, пошла через день другой в кладовку, слышит: что-то шуршит в углу. Смотрит: крыса тащит красненькую. Глашечка шасть к похоронке – разбедена в пыль, в мелкую крошку деньги покоцаны, ни одной целой бумажки.

Крыса перетасила бабкину заначку в угол, переточила, свила гнездо. Подбежала старуха, глядь, крысята новорожденные голо-розовые в трухе дежневой пищат.

Рассвирепела Глашечка и ринулась к деду:

– Лучше б ты их пропил, всё что-нибудь осталось бы.

Дальше, больше. Прибегает Глаша к Марусиной матери: «Купи у меня диван!»

Кота в мешке не покупают. Пошли смотреть Глашкин диван.

Оказалось, завалился Сенечка пьяный спать на белоснежное покрывало прямо в сапогах и в фуфайке. Бабка, знамо дело, возмутилась. Тут Сенечку и прорвало. Революция созрела. Дед, с криком «Тебе всё мало, буржуйка ты эдакая!» решил восстановить классовую справедливость и, схватив топор, ровно напополам поделил диван вместе с покрывалом.

Маруся, прибежавшая вслед за матерью, увидела Сенечку с окровавленной головой. Бросилась к деду, и только тут рассмотрели, что он не кровью, а смородиновым вареньем перемазан. Рядом валялась пустая банка. Видать, бабка, хоть и жадюга была несусветная, выплеснула в сердцах на него, не пожалев, варенье, которое разливала по посуде. Отодвинув от «эксплуатарши» свою половину дивана, дед мирно спал.

Вечером на заваленке бабы ухохатывались над Глафириной бедой.

– Теперь Сеня до конца жизни сладкого не захочет.

В ту пору дед давно излечился от скаредности, а жадность и крохоборство Глашечки были ещё безграничны.

Повезла она с Марусиным отцом яблоки на рынок. Заломила такую цену, что покупатели шарахнулись.

– Сбавь, соседка, не назад же везти!

– Ноне сбавь, завтра сбавь, а потом и за так отдай. Пушай хоть сгниют – не уступлю!

И, чертыхаясь, потащил мужик на своей лошадке соседские мешки обратно.

Даже внучке Танечке давала Глаша в школу две лесковки и только одно садовое яблочко. Когда Танечка вышла замуж, зятю Лёшечке, мужику здоровенному, молодому, собирала бабка на обед в поле лишь пару картофелин да бутылку киселя. Оголодал зять, обозлился и сбежал.

Захворал как-то дед Сенечка, заскулил:

– Бульонцу бы куриного!

– Дык я всех кур переведу, куда хворать будешь, – возмущалась бабка.

Преставился дед, собрался народ, Глаша запричитала, заприговаривала:

– Я ж ему, болезному, рябку порешить сбиралася-а-а, не успе-е-ла.

В ту же осень разладилась печка у Глашечки. Хозяин был, за домом следил. Не ведала бабка за ним горя. Знай себе, мощну на базаре набивала, а дом на Сене безответном лежал.

Всплакнула бабка по муженьку, да поздно. Пошла к Ваське – печнику. Так, мол, и так, пособи. Справь новую печку, замерзаем, Покров на носу.

Сговорились, почём кирпич, почём раствор. Захлопотал Василий. Хозяйка ходит, поторапливает, а кормит плохо, впроголодь. Надумал печник над бабкой подшутить, от жадности излечить.

Взял пяток сырых яиц и замуровал меж кирпичей подальше от загнетки, снаружи не видать. А когда трубу ладил, повесил в неё на верёвочке пёрышко гусиное.

Подошло время рассчитываться.

– Тебе, Васечка, не печки добрым людям класть, а коровам хвосты крутить, – сбивала бабка цену, – тут косо, тут криво. И загнетка маловата, и тяга не та.

Урезала бабка плату и, довольная, распрощалась с печником.

Затопила. Как завоет в трубе! Спасу нет. Ночь напролёт простояла бабка с Богородицей в руках супротив печки.

– Сотаны, видать, завелись, вишь как надрываются! – шептала она Валечке.

Дочка, хоть с годами и стала похожа один к одному на мать свою, а помоложе была, смекнула.

– Да расплатились бы Вы, маманя, с Васькой по-людски, глядишь, и сотаны выть перестали б.

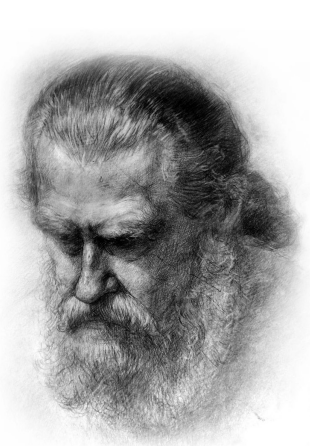
Понесла бабка Василию доплату. А тот будто ничего не понял, только удивился. Ночью слазал на Глашечкину крышу и пёрышко из трубы вынул. Сотаны выть перестали, но дух пошёл по дому такой, что жить невозможно. Яйца, заложенные в кладке, протухли. Догадалась бабка о проделках печника.

Под Рождество, в лютые морозы, переложил он печку заново. Глафира не знала, чем угостить работника. И вынуждена была ещё раз оплатить.

Правду говорят, что жадный платит дважды.



ПОЛЕННИЦА



ет пять, как в наши края провели газ. Мужики поднадужились, собрали деньжат, понимая неоспоримое удобство, и за одно лето деревня лишилась великой ценности русской – печи.

Кучи ломаного кирпича громоздятся на подворьях. От них тянет золой, топлёным молоком, томлёной гречкой. Иногда пройдёт мужик мимо, кинет взгляд на останки, что угревали его когда-то в холода лютые, угощали борщичком с разварочки, защемит сердечко хозяйское, ан деваться-то уж некуда, дело сделано. Да и жена не нарадуется – ни копоты, ни сажы. Чистота и порядок.

На краю Коноплянок, у самой околицы, коротает восьмой десяток дед Прохор. Раньше, как при силе был, служил он в лесничестве. За лесом присматривал, за зверьём, за птицей. Несговорный был! Отловит в неурочное время охотника – ни за какие коврижки не умолить. Ружьё отберёт, штраф наложит, и не пикни! Но всё по справедливости. За каждого чирка бился, за каждую корявую сосенку. Упрямый – не приведи Господь!

Как надумали трубу газовую вдоль деревни тянуть, тут Прохор снова зафордыбачился. Не могу, мол, с печкой расстаться, и всё тут. Рука, мол, изничтожить не подымается. Так и остался лесовик «не газифицированный» по сей день. Посмотришь на зорьке с крутояра на село: лишь над Прохоровой крышей дымки курятся.

Уж и болезный дед стал, а всё упирается соседа-шофёра сговорить, дровишек подвезти. Сам да сам. На своём престарелом Воронке. Хозяйства он, кроме несущек, не держит. На кой ляд, коли лес-батушка сполна кормит? Времени потому – хоть отбавляй. Заготовит загодя топлива и похрапывает на печи, косточки прожаривает.

Встанет летом до солнца, прихватит топорик и с Воронком айда в лес. Тут он – дома: каждую сухостоину помнит. Подвалит возок. Выедет на опушку, остановится передохнуть. «А куда гнать-то?» Распряжёт попастись конягу. «Нехай травкой лесной поддержится». А сам издаlech на деревню любуется.

Выплывает солнышко, будто газовый шарик Алёнки, соседовой внучки, висает над Лёхиной хатой, зажигает зелёное поल्या в Савельевой роще. Избы только-только просыпаются. Изредка икнёт робкий кочеток, гамкнет, засыпая, наблудившаяся за ночь псинка. Улочки тихие-тихие, чуть розоватые спросонья, покойные, отдохнувшие.

Конёк похрумкивает, клеверок в самую силу вошёл. Дед приваливается на сennую охапку, лежит-дожидается, когда калитка первая очнётся, когда у Маринкиной хаты бадья в колодце ахнет. Не хочется ему будить тележным скрипом додрёмывающую деревеньку.

Надышитесь старик родимым лесным духом, пощуняет пустозвонку-ку-кушу, что, заприметив его, без умолку битый час старается. Хлебнёт водицы из алюминиевой кружки (года два назад повесил на разлапистый крушинник у родника). Напоит из картуза Воронка (избаловал когда-то, теперь и отучать не к чему) и с Божьей помощью — до хаты.

В дальнем углу придворка у Прохора пристроены козлы. Жизнь, проведённая в лесу, наловчила деда обходиться без помощников. Перепилил он в одиночку на двуручке сваленный посереде двора сухостой, поколет на поленья. Для такого дела имеется в хозяйстве огромный дубовый пенё. Помашет дед тупорылым колуном, а уж потом пустит в ход лёгонький топорик. Им заниматься — что в игрушки баловать.

Переносит лесник дровишки охапками под сарай да в поленицу сложит. Подворье у Прохора старое, ветхое, дождями промытое, серое да мшистое.

К вечеру умается дед, присядет на крылечные порожки, смотрит: а дровишки в сумерках желтеют, свет от них мягонький лучится. И почудится старику: поленица — не поленица вовсе, а распахнутая дверь в хату. Тепло и уютно станет старику на душе. Выйдет он нарочно за калитку, снова вернётся к своему бобыльскому двору, и кажется, будто кто-то его встречает — двери настезь.

С холодами натаскает Прохор дровишек в хату, загодя просушит, в печурке разведёт огонь. Застраются в небо из трубы над его крышей белые дымы. Потянет печным теплом. И оттаёт одинокая старикинская душенька. Не может он объяснить ни себе, ни людям, почему так дорог ему берёзовый дух, отблески пылающих поленьев на стенах его полужилой хаты. Только знает Прохор наверняка, что без леса, без поленьев этих смолистых, без ласкового мерцания малиновых угольёв, без предрассветных поездок на уставшем от жизни, как и он сам, коняге за сушиняком, без опушки, с которой деревня как на ладони, — и жизнь ему — не жизнь.

Подсядет дед к огню, протянет заскорузлые, корявые ладони, обогреет. Щёлкнет-треснет уголёк, а Прохору будто выстрел в глуши лесной почудится. Прислушается: лист в осиннике шелестит, дятел в соснячке дробью сыплет.

Бушует январская вьюжина, вертушок в сенцах срывает, лютым зверем-ветрищем воротинами лязгает, а в каморке Прохора-лесника самовар на можжевеловых веточках гулит. Мёдом диким да черёмуховыми почками пахнет.

Светлые воспоминания да возок другой дровишек поддерживают тепло в одинокой Прохоровой хате и в незачерствевшей старческой душе. А недавно объявилась неожиданная радость на его пороге. Зачастили односельчане к нему на огонёк. То от радикулита на печи его спасаются, то холодец, оказывается, не такой духовитый на плите газовой стряпается, а то напросятся просто так, посидеть за чайком, подбросить в печку своими руками парочку полешек.

Видать, и впрямь светится в ночи его поленица, словно распахнутая дверь. А Прохор и рад теплом поделиться.



У БАБЫ МАНИ (УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ)



С первых дней октября сеет, не переставая, занудный дождь. В кронах набрякших раkit скулят мокрые ветра. Они расшатали, взбутетенили тяжёлые свинцовые небеса, и те прорвались, обрушились и придавили громоздкими тучами прозябший до каждой былинки Манин хутор. Смеркается так рано, что, придя из школы, Ирина сразу зажигает керосиновую лампу. У Лешего брода упал электрический столб, и вот уже две недели хутор ютится без электричества. Ирине кажется, дни куда-то исчезли. Блёклое, сырое утро, и сразу за ним – промозглый осенний вечер.

Заканчивается второй месяц, как она квартирует у бабы Мани и учителствует в здешней начальной школе. Сама напросилась в «Тмутаракань». По приезду, в конце августа, на свой лад выбелила-выкрасила один-единственный класс и крошечную учительскую и теперь пытается толковать местным ребятишкам, что за Груниной околицей есть много интересного: и далёкие жаркие банановые острова, и ледяные айсберги с королевскими пингвинами, а самое главное – огромная страна – Россия. Надо только подождать, подрасти, подучиться и они всё это смогут сами увидеть. Правда, утаивает Ирина Николаевна от своих двенадцати школят, что иногда жизнь покатыт не по той колее, и захочется вдруг забиться в такую глушь, вроде их местечка, чтоб за месяц и души живой не увидеть.

Манин хутор стоит на отшибе от больших накатанных путей. Раз в неделю – почта, два раза – хлебовозка, и опять никто не свернёт на Репейный просёлок. Ирине предстоит перебедовать самое тоскливое время в деревне – глубокую осень.

Грустно, безлюдно, безлико. Кот у бабы Мани и тот безымянный, просто – Кот. Неповоротный от козьего молока, к Покрову он совсем перестаёт шевелиться. Выползет, налакается – морду лень облизать – и опять на печерские горы. Даже когда рябина под напорами ветра яростно хлещется в кухонное оконце, Кот нервно передёргивает спиной, вздрагивает во сне, но по-прежнему не размыкает глаз, жёлтых, как желтки ворованных Пеструшкиных яичек. «Дрых-нет лоботряс, а мыши в чулане крупу рушат!» – сердает на Кота баба Маня. А тому – нипочём, хозяйка жалостливая, всё одно парного по зорьке плеснёт.

По расхристанной хуторской дороге в Гусий овражек потоками гонит ржавую муть. В промоинах глинисто пенится, словно хуторские бабы, затеяв разом великую постирушку, выплеснули в придорожные канавы грязные обмылки.

Разнесчастные воробьи промокли до последнего пёрышка и, перескандалив за ласточкины гнёзда, забились под крыши. Только потерявшиеся во времени грачи, словно обуглившиеся головешки, чернеют в поплёкшей стерне, у посеревших ржаных стогов.

Сплошные будни. Даже выходные теперь не радуют Ирину. Месяцем раньше, в тёплые вечера Бабьего лета, приходили посудачить на заваulinке, полугзть горсть, другую подсолнечных или гарбузных семечек хозяйки-ны товарки – тётка Даша и бабка Лисютиха, к их компании прибивался дед Деребок, забегала за книжками соседская Алёнка. С наступлением холодов ходить в гости им стало лень. Хуторяне от мала до велика, дожидаясь первопутка, попрятались по дворам.

Вечерами Ирина любит сидеть на кухне, смотреть, как растапливает баба Маня печь. Слушает, как шумит огонь, наблюдает, как его отблески пляшут и дрожат на выскобленных бревенчатых стенах, отсвечивают в подтраченном, покрытом лёгкой сетью морщинок и старческих пятен, довоенном зеркале, освещают поблёкшие лица на старых карточках под расшитыми рушниками. В эти безразмерные, тягучие часы кажется, хата наполняется бабы Маниными родными с пожелтевших карточек. Они так же, как Ира и баба Маня, ёжятся от порывов ветра, вздрагивают от воя поселившейся у них под крыльцом прилудной бесхвостой собаки Рыськи, греются в багровых отсветах разгудевшейся печки. Становится теплее от мысли, что обе – ветхая старушка и загнанная жизнью в этот глухой угол молодая женщина – не одиноки.

Если Ирина не проверяет ребячьи диктанты, не читает книгу, выдернутую из аккуратно сложенных стопок, что громоздятся на старинном с двумя полинялыми голубками сундуке, экономистая баба Маня утаивает в лампе фитилёк и подсаживается к постоялице.

– Ну, Ариша, коли с делами управилась, давай разговоры разговаривать.

Ирине по душе, что Маня называет её старым, почти забытым именем. Вспоминается бабушка Ариша, мамина мама, её худые, жилистые руки. В редкую минутку роздыха она, стесняясь шишкастых намаянных пальцев, не зная куда их пристроить, прятала за нагрудник передника или укладывала усталыми от дальнего перелёта журавками, вытягивая на коленях поверх широченной чернильной в махонький огурчик юбки и расшитого узористым крестиком передника.

Играя с братом в жмурки, маленькая Иринка заползала под бабулину расчудесную юбку, и та, заговорщицки улыбаясь, подшучивала над сбившимся с ног Алёшкой, но не сдавала внучку, только прищёптывала, когда Алёша кидался в чулан разыскивать сестру: «Иринушка, вылазь, проказница, тесто обмяте пора, да и клуша кабы на бакше не начередила».

Довольная Иришка выбиралась из бабулиной похоронки – векел Алёшке её не сыскать – и бабушка Ариша приглаживала шершавой ладонью её рассыпавшиеся льняные волосики, приговаривала: «Ступай, милая, по забору куманичка подошла, посбирай, цветик. Ступай, ослобони, дай бабке хочъ ужин состряпать, наши вот-вот с поля возвернутся, гляди-ка: от солнышка уж крошечный поскрёбышек над осинником рдеется».

Много близкого, родного, схожего с бабушкой Аришей в этой одинокой бабе Мане. А главное – такие же высохшие ласковые руки, поработавшие на своём веку несчитано и столько издевавшие, что с остатком хватит не на одну бабью жизнь. И глаза – такие же добрые, загодя всех любящие.

Маня хлопочет у своего бедолаги-самовара, подбрасывает вишеннику, дзынькает чашками-блюдцами. «Крантик» у «туляка» отпаялся, и он в лад осенскому ненастью вечера напролёт слезится, вглядываясь своими глазками-медалями в законные сумерки. А там – ничего нового. «Химические», как бабы Манин карандаш, разводя по грузному, закаляnému небу. От самоварного воркования стёкла запотевают, и застекольный мир исчезает, забывается; лишь изредка, когда громыхнёт по двору покотившееся с лавки забытое на ночь ведро, или ни с того, ни с сего заорут перепуганные ненастью куры, Ирина и бабка Маня оборачиваются на дверь, словно давно кого поджидают.

Почаёвничав, принимаются за «Унесённые ветром». Два месяца не могут осилить и четверти книги. Дело стопорит баба Маня. С обстоятельной хозяйской толковостью она вникает во все жизненные перипетии героев, бурно обсуждает каждую авторскую заморочку. Где с такой слушательницей продвинешься? Ирина терпеливо перечитывает страницы, принимая сторону то Ретта, то Скарлетт, спорит, защищая их от старушкиных нападков. Прикинув на свой лад, усадьбу выдумщица Маня давно перекрестила в «фазенду», приписав ей громкое название «Три бугра».

Устав от «энтэй егозы» Скарлетт, старушка переключается на дела, куда более волнительные: на свою «занедужившую» хату, на «раззявившиеся» посередь крыльца половицы, на ни с того, ни с сего рассыпавшийся в прах прикрылечный валунок.

Маня не скрывает своего «удовольствия», когда «учителька» принимает-ся пытать старушку о её прошлом житье-бытье, а потому Ирина любит потрафить бабке и, на ночь глядя, уже в постели, сводит день к бесконечным Маниным байкам.

Старушка страдает бессонницей и радуется Ирининой хитрости. Уж о чём, о чём, а «об своей жисти» ей есть что расповедать! Все дни свои провела она в этой избе, и любит о ней сочинять небылицы. Где правда, где придумка, баба Маня и сама точно уже не помнит.

Вот и опять накопала она чего-то в своей распорожистой жизни, забралась в самую молодую пору и повела неспешный, словно Пластун-ручей в Илюшиных ракушках, незамысловатый рассказ.

Обженившись с Захаром, выделились они из свёкровой семьи и надумали себе хату строить. Выбрали место красивое, новину, не обжитое, на одном из трёх холмов, что раскинулись по-над Кромой. «Избяной помочью»: сто брёвен – сто помочан, нарубили в Карачеве в десяток топоров лесу. Валили под Покров: и дерево не в соку, и вывезти по первопутку легшее, коням под силу.

С плотниками сговорились и «срубить-поставить избу», и «нарядить»: перегородок-чуланов наладить. Плотники все ближние, знаёмые: Петро Филимонов, Костяка Лапшин, Илья, опять же, Громов. Ремеслом этим сколь годков по ближним деревням промышляли, руки набили, с закрытыми глазами хату под венцы подвести могли. За ними за ради Бога присылали из-за ста вёрст. Ну, дык и они не абы как, не тяп-ляп, всё по совести.

Перво-наперво плотнички сходили в церкву, выпили с Захаром «заручную», на почин, значит, и затюкали спозаранку до тёмной темени, до самых звёздочек. Дело своё вели справно, но и выпить знали, когда полагается. Как уложили два первых венца – два нижних бревна – запросили «закладочную». Захар пожелал, чтобы под святым углом, как у дедов бывало, на достаток, схоронили рабочие монетку серебряную. Проследил, чтоб не запамятовали.

За наёмными, что не говори, глаз да глаз нужен. Исстари поговаривают, плотники с нечистым знают, навостожат чего-нибудь при постройке, и жизнь в доме не заладится. Но Захар знал, кого звал, не из таковских ребята. Призвали плотники хозяйвов и при них оставили в том же углу от себя кусочек ладана. Для святости, мол.

Новоселье, а по бабкиному – «влазины», опасная для будущих жильцов пора. Тут гляди да гляди! Для такого дня заготовила Маня кошку да петуха. Знамо дело, погадать всем на счастье хочется. А коль беде приключиться, так пусть первыми животинки её встретят, их первыми в новую избу и впустили. Хата оказалась чистой, не допустил Господь. Дождались ближнего двенадцатого праздника, и в ночь на Введенье, в самое полнолуние, с иконой и хлебом солью переступили порог новорубленной хаты.

Баба Маня, сама того не зная, затихает на часок, придрёмывает. А Ирина прислушивается ко вздохам растревоженной хозяйкиными воспоминаниями хаты, к жалобному поскуливанию приبلудной Рыськи. Спрыгнув с постели в отписанные бабкой бурки, Ирина прокрадывается мимо печки, с которой слышится болезное крыхтение. Прошмыгивает за дверь и впускает окоченевшую Рыську в сенцы. Та, заглотив на лету полкраюхи, устраивается на рогожку. Лижет пахнущую хлебом Иринину руку, благодарно прикрывает вишенки глаз, протяжно вздыхает и тут же засыпает.

Ирине становится жутко от мысли, что кто-то в такую пору сбился с пути и не может сыскать тепло и уют. А природа неистовствует: гудит у ворот в вершинах вековых лип, хлобыщет сорванной с петель калиткой, жутко ухает в бездонных омурах обмёршего пруда.

Нырнув в бабы Манину перину, Ирина, наконец-то, решается уснуть, но старушка, как ни в чём не бывало, словно только что замолчала, продолжает рассказ. Много ли сна в такие-то годы надо? Скоро на вечный покой. А пока можно ещё всласть наговориться – ночи, эвон какие!

И Маня снова заводит бесконечные рассказы: о деревенских обычаях, о бабьих горестях-радостях. Сквозь полудрёму до Ирины доносится, как бабка, надеясь, что жиличка ещё слушает, балакает сама с собой. Порою Маня всхлипывает, порой ворчит, а иногда ехидненько, по-старушечьи, хихикает. То принимается жутким шёпотом рассказывать о Настьке косой, что всех коров на хуторе перепортила, то по доброму, ласково, словно о родном дедушке, вспоминает о Хозяине-домовом, что под печкой в тепле у неё кой год обретается.

Ирина поражается, как накрепко в русской широкой душе переплелись, и уживаются с миром языческие суеверия и христианские заповеди. Бабка

Маня искренно верит в Господа, часами с ним беседует, а сама ночи напролёт несёт какую-то небылицу-околесицу о «доможилах» и лешаках.

Старушка утверждает, что деревенские бабы испокон веку, поставив в Красный угол икону, отламывали полкраюхи и клали её под печку, невидимому, но без сомнения существующему хозяину. Припомнилось старой, как на радостях, по ранней-преранней зорюшке обежала она три раза нагишом новую избу. Да не молчком, а с приговором: «Поставлю я около двора железный тын, чтоб через него ни лютый зверь не перескочил, ни гад не переполз, ни лих-человек ногой не переступил, ни дедушка лесной через него бы не заглядывал!» По её заверениям, местные бабы воистину верят: чтобы «род и плод в дому увеличивались», надо тайком в воротах перекинуться кубарем до трёх раз.

Ирина пытается спорить, но баба Маня никаких сомнений не принимает. Мол, ещё бабка её говаривала об домовых, а она-то наверняка знала, разумницей на всю округу слыла.

Уж и не возьмёт Ирина в толк, чудится или наяву, только слышится ей не Манин голос, а бабушки Ариши, и видится ей: сидит бабуля на краешке её постели, спать уговаривает, незнамо какую по счёту быть рассказывает.

Мол, в стародавнии времена, при сотворении мира, рассерчал Господь на возгордившуюся непокорную небесную силу и сбросил её на землю. Ясно дело, кто куда попадал. Только так уж, видно, было Всевышнему угодно, самые незлобливые да мягкие угодили в избы мужицкие. Обжились как надоть, обмякли обочь людей и переродились в доброхотов. А нраву стали ласкового, весёлого даже шутливого, не то, что лешаки да водяные. Те-то черти из чертей! У домовых порода покладистая, дружелюбная.

«Вот ведь сколь помню себя, – слышится откуда-то, будто из глухого чулана, внезапно объявившийся голос бабы Мани, – завсегда домовик при моей избе живал. Он тебе и сторож, и хозяин».

Старушке спать – ни в одном глазу. А потому она обстоятельно толкует полусонной Ирине, как полагается звать-величать её заглавного жильца. Сама-то Маня его «Дедушкой» или «Кормильцем» кличет. Не обижается он, если назовёшь его важно «Сам», а то – «Доброжил», «Доброхот», «Суседушко». Сказывают, откликается и на неказистое имечко «Карноухий», потому как приметили, одного уха-то у дедушки не достаёт. А коли неуживчивым с хозяином семейства проявится, так и кликать его «Некошной» станут.

По правде сказать, редко кто может прихвастнуть: мол, с домовым с глазу на глаз здоровался. По большей части дедушка с перепугу примерещивается. То в облике скотинки какой, то стогом сена прикинется, а чаще за самого главу семьи себя выдаёт.

В бабе Маниной подлатанной, но ещё крепкой памяти всплывает, как озорничала мо́лодежь в её времена, уж больно хотелось домовика разглядеть. В Пасхальную ночь обряжался какой-нибудь посмелее парень в конский хомут, залезал под борону. Да чтоб зубья – на себя. И усаживался вызвавшийся на всю ночь меж лошадьми. Являлся домовик, лошади фордыбачили, бились так, что любопытный сбрасывал борону и улепётывал куда подальше.

И припоминается, а может, уже и снится Ирине, как рассказывала ей в детстве бабушка Ариша о том, что видеть домового она не видела, а вот слышать приходилось не раз. То плач его тихий причудится, то стон. Иногда бабуля хорохорилась и спрашивала домовика о чём-либо. Надо только подгадать момент, и он скажет, как на духу, не соврёт. А однажды навалился он во сне на бабушку Аришу и ну душить. Та спохватилась, не струхнула, попытала: «К худу аль к добру?» А он ей прошелестел, словно ветер хлеба колыхнул: «К до-бру-у!»

«А сам-то он, сказывают, обличем с человеком схож, только махонек да лохмат, даже ладошки, и те мохнаты. Ну, конечно, как и полагается неведомой силе, хвост и рога тоже имеются», – заявила с печи баба Маня.

То ли Кот не ко времени проголодался, то лимышь запечная сиганула, только грюкает вдруг что-то в подизбице, копошится в подклети, звякает на посудной полке. «Ты его, дедушки, Аришенька, не пужайся... Это он от скуки забавляется, потому как нраву старичок весёлого. Ить проказник он ещё тот!» – хихикает Маня. Тут же поведывает учительке, как любит домовик у неё в чулане резвиться. Начереди-ит! А куда деваться? Свой, родной! Пыталась бабка капканы на него ставить, уж больно крупу жалко, смешает и смешает воедино гречку с просом, да поверх горохом и присыплет. Так он, хитрован, что удумал: заместо себя в капканец мышек наподкидывал. Вот, мол, кто у тебя, старая, по ночам в чуланке забавляется. Но Маню не проведёшь, не один год с ним бедолагит, знает, чьих рук дельце.

Только собирается бабка растолковать Ирине, как надобно переводить хозяйна на новое место жительства (упаси Господи, ошибиться!), как та внезапно просыпается. Дрёмы как не бывало. Из-за пронзительной тишины Ирина не слышит бабкиного голоса, напрочь оглохла. Рябина перестаёт царапаться и биться в окно. На дворе мёртвая тишь. Непогодь стихает, умиряется. Только шепелявит и шепелявит в дальнем углу неужённая бабка.

Ирина привстаёт на постели. Комната залита мягким белесым свечением. Отчётливо проступают цифры на отрывном календаре: четырнадцатое октября. Девушка накидывает поверх ночнушки кудрявистую шаль, топает к окну. Во дворе – бело, заснеженно, тихо-тихо. Веточка не колыхнётся, птица не вскрикнет. И только туманная луна нахохлившейся желтоватой сказочной птицей плюхается в грачиное гнездо на вершине заоблачного ясеня и задрёмывает в заснеженном безмолвии, высиживая новые пушистые снега.

«Так хотелось перемен, так ждала их! Баба Маня уболтала. Просмотрела! – расстраивается Ирина. – Когда же он выпал, этот чудесный, лебяжий пух? Кажется, и не спала, слушала воркование старушки, свист ветра в натянутых до перезвона проводах».

Упревший в перетопленной избе Кот вспрыгивает на подоконник и одним махом (при его то расторопности!) через приоткрытую форточку, по той самой ветке, что скреблась, не давала жильцам старого дома уснуть, перемётывается на рябину. Ирина видит, как под увесистой котищей качаются сучки, шапками осыпается молодой, рыхлый снег. Кот шлёпается вниз, а снег всё сыплется и сыплется вперемежку с алыми капельками подмёрзших рябинок. Кот, утопая по брюхо, по каким-то одному ему ведомым котовским

делам прокрадывается в амбар, и снова всё замирает. Спит выбеленный двор, спит просветлённый сад, спит весь белый свет...

Из печурки шебуршит, выглядывает старушка.

– Али снег упал, Аришенька?

– Упал, баба Маня, упал, – задумчиво отвечает Ирина.

– Заневестится теперь земляца-то. Умылась, принарядилась... Вот и дождались перемен. Вот и ладно, – радуется бабка.

По утру мир искрится и хрустит. Сверкают и поют под валенками промёрзлые былинки, у Маниных ворот ломаются в мелкое крошево пожухлые кленовые листья.

День звенит и румянится, гомонит счастливыми ребячьими голосами на школьном дворе.

Перед вечером заглядывает почтальонка.

– Танцуй! – прячет от Ирины конверт.

Баба Маня долго не решается, но любопытство перебарывает, и она, как бы невзначай, интересуется: «Об чём пишут, Аринушка? Худые али добрые вести?» «Просто замечательные! – улыбается Ирина. И бабкино лицо просветляется: «А я и не сумливалась, всё у тебя наладится, всему свой срок. Э-э, перемелется – мука будет. Дай-то Бог!»



НЕВЕЗУХА



Несчастья за несчастьями, словно орехи молоньёвые в Плоцком логу, сыпались на безответную Кимушкину голову. И вроде бы мужик как мужик, а вот не заладилась житуха – хоть тресни. Порой безнадёга одолевала Кима, и он подзапивал. Но не надолго. Колдыбистая судьбина не позволяла ему расслабляться. Не успеет из одной оказии выкарабкаться, а уж деревня лузгает, будто гарбузные семечки, его нынешние нескладёхи.

На Лындовке за Кимушкой заскорузла иноземная кличка, а может быть, имя – «Диоген», словно ещё одно напоминание о непредсказуемости его судьбы.

И дело-то давно туманных дней, ан нет, с того злополучного июльского утра кликуха сваркой пришилась к разнекудышнему зоотехнику Киму Пантюхину.

Под самый летний престол, под Сергия Радонежского, выгнал он после работы первачку, и лишь попробовав в ложке на крепость, не смочив языка, отправился спать – назавтра до петухов надо выехать на дальнее пастбище делать коровам прививки от ящура.

Спозаранку поуправился на дворе. Дуська, жена его, ещё нежилась в амбаре, утопав роскошными телесами в свежевysушенные клевера-донники неподъёмную двуспальную перину. Уж и халат свой рабочий накинул, и саквояж со шприцами-ампулами прихватил, да вспомнил: на задворках Малютка, телушка-первогодка, не пивши стоит.

Впопыхах схватил ведро с самогонам, вылил в Малюткино пойло и бегом к телушке. Та, не моргнув своими лупастыми глазищами, не принюхавшись, даже не покапризничав, как ни в чём не бывало, выцедила ведро, облизнула морду шершавым языком, и, наверно, тут же пьяно ухмыльнулась. Только замечать необычного Малюткиного поведения Киму было недосуг.

Поспешая на работу, затворил ворота, и вдруг мелькнуло: «И пригубить вчера не успел!» Скорёхонько проскользнул на кухню и остолбенел... Ведро из-под первача шерилось слезливым дном. Заподозрив непоправимое, Ким рванул в погреб. Схватив кубан с кислухой, метнулся на задворье. Малютка, высунув в пьяном угаре язык, развалилась в лопушках и, туманно взглянув на поднёсшего с утра пораньше (видать, в честь предстоящего праздника) хозяина, надумала что-то спеть ему, но как ни напрягалась, ничего не могла вспомнить, кроме: «Мы-ы-к, м-ы-ык». Кислушку после такого щедрого угощения (литров пять самогона) телушка напрочь отказалась принять. Глаза её подкатывались, и Кимушка с захопынутым сердцем кинулся за ножом.

Прививок в этот день колхозные коровы не дождались.

Серьёзно закупившись в Тонькином ларьке, Ким отправился зализывать душевные раны и поминать Малютку на пустующие в эту пору фермы, подальше от благоверной Дуськи. Расположился в красном уголке. Всё чин-чином: газетку на трибуну разостлал, килечку вскрыл...

Откуда он всплыл в молоковозе – остаётся загадкой по сей день. Обнаружили Кима доярки с приехавшим на вечернюю дойку возчиком Митькой, когда подзавяз накатили в цистерну молока. Высунувшийся из люка зоотехник, выпустил изо рта белый фонтанчик, шумно икнул и попросил не кантовать.

Ночь пролежал в подсобке, а наутро проснулся Диогеном. «Чудак такой в древности был. В бочке жил!», – пояснил недавно закончивший десятилетку водитель Митька.

Невезучесть преследовала Кима с бесштанного детства. Разволновавшись, он обычно заикался. Когда-то мальчишки подшутили над Кимом, было пацану лет семь. Ловил он плетушкой на мелководье пескариков, а невдалеке в заводи ребяшня-подростки серьёзную рыбу брали. И решили они подшутить над мелким. Отвлекли Кимушку, пескарей из бидона повысыпали, а на дно уложили колечками пару ужигов. Ким запустил руку в бидончик, а в нём – змеи! С тех пор, как затревожится, – спотыкается.

Не фортило Киму ни в любви, ни в картах. Жена с годами из-за этакой Кимовой обречённости потеряла к нему и до того чуть тлевший интерес. То ли после того, как, поссорившись, истоптала в крошево его саквояж с крутыми яйцами и чекушкой, заготовленной к полднику. То ли из-за того, что доярки застигли Диогена, любовавшегося их красотами в опромётливо неприкрытую дверь душа и безжалостно окатили из ремённого рукава навозной жижей.

Играя в «подкидного», Дуська прямо-таки издевалась. Прикупив в сельпо вторую колоду, нагло охмуряла мужа, а тот, святая простота, списывал проигрыш на неизбежность.

Жена, язва, закаляя Кимову душу в боях местного значения, подсмеивалась над ним, как могла. Только расположился Диоген в баньке в Чистый четверг, только веничком пару раз хлестанул, распахивается дверь, на пороге – Катька, соседка. Пырскнула, выгаращив глаза на Диогеново хозяйство, и – опрометью вон. Это Дуська-провокаторша отправила длинноязыкую соседку за мятным венником.

Не мог стерпеть Кимушка этакого вероломства. Косили под Закамьями в том же году. Управился Диоген раньше всех, домой идёт. Встречает в подлеске Катьку с дочерью и озабоченно сообщает: мол, ехали ваши, колесо развалилось у телеги, сидят на обочине. Велели вам передать, чтоб из-под сарая новое выкатили, да пошвыдче доставили. Помчались бабы домой. Надели на шестину колесо от хода, взвалили на плечи и поплелись к Закамьям. Уж почти достигли балки, как выехали навстречу их косари. Дивуются, мол, куда это вы направляетесь. «Дык, вам же на помощь!», – отвечают. Расхохотались мужики: «Ай, да Диоген! Ну, теперь вы с ним, Катерина, квиты!»

На протяжении всей жизни Диоген слыл завсегдатаем местных баек. То то с ним приключится, то это.

Лындовка расположилась вокруг прудка и потому кольцом обрамляла своими улочками его берега. Раскопав траншею под водопровод вокруг деревни, мастеровые не очень-то спешили заканчивать с работой, наводстрились хapatь с каждого хозяина добавку – деньгами ли, харчем, всё равно.

Как-то хозяйствовал Диоген – чистил закуток, дверь приоткрылась. С лаем в сарай заскочил Полкан. Подсвинок визганул и ломанулся меж Дио-

геновых ног. Сбив хозяина, вылетел на двор, пометался из угла в угол, а когда за ним вдогонку кинулся шепутной пёс, поросёнок, грузно ухнув, провалился в траншею. И – вдоль по ней вокруг деревни. До самого вечера гонялся за ним Диоген. И свекольником подманивал, и сеть набрасывал, ничего не смог поделать.

Подсвинок бегал по кругу вдоль Лындовки. Попробуй – слови. «Стрельнуть бы!» – предложил сочувственно сосед. А Диогену жалко. Малой совсем. Пустили в траншею Полкана, устроили кабанью охоту. Наконец, измождённый боровок, истошно вереща и уже не обороняясь от хватавшего за задние стёгна пса, повалился в ожидании своей свиной участи. Подоспел намаившийся за день не меньше хрюшки Диоген с парой любопытствующих мужиков. Связав подсвинка по всем ногам-копытам, вытащили наверх и на подводе спровадили на двор. Ну, с кем ещё в деревне могла произойти подобная комедь?

Пробовали мужики пытаться Диогена на везучесть. Ведаются на хворостинке, всё верх Кимушке выпадает. А уж если пчела его ужалит, то ужалит! Не куда-нибудь, а прямоком меж глаз, чтоб заплыли к утру, хоть спички подставляй.

Диоген оказывался всегда крайний. Он знал это наверняка, и косить шёл сразу в негодья, пока Петрович ещё распределял луга. Запрягал не Воронка-тяжеловоза, а хромоногую Нюню. Чего ожидать-то? Всё-равно ему перепадёт.

Дуська подавала два болгарских перца: сладкий и переопыленный гогошар. Так Диоген не мог не обмизуриться, выбирал, конечно, жгучий.

Как бы не старался придти на отчётное собрание в клуб пораньше, оказывался самый последний. И двери открывал в неподходящий момент, в то время, когда завхоз Филька выискивал со сцены в чадном мареве среди набившихся односельчан виновника несчётных недостат в худых колхозных закромах.

Даже в том, что рекордсменка на весь район, свиноматка Проська второй опорос подряд приносила по полнормы, мог оказаться виноватым Диоген, словно он, а не хряк Бугай, нюхался с ней в загоне по весне.

И к тому, что скворцы подёргали у Меркулихи только что вылезшие огурцы, примешан Кимушка. «А чегой-то он скворешней околясь сада понаторкал? Пушай теперя в июле потерю огурцами восполняет!» – ворчала соседка. Диоген, попривыкнув к бедам-напастям, пошуровав на своей бахче шершавистой огуречной листвой, надыхивал под Сергов день для неотлипной бабки верхом два-три ведёрка пупырчатых огурчиков.

Не ожидал Диоген, что соседский прохиндеистый Тёмка, подтрунив над ним однажды, выйдет на настоящую тропу войны.

Навострившись в компьютере, пацанёнок-шутник нашлёпал стольников. Положил их в потрёпанный бабкин гаманок, выкинул его в пыль и уселся за куст наблюдать, что с его валютой станется.

Вышел Диоген за ворота. А недалечь на просёлке, аккурат меж соседской и его хатой – кошелёк. Обрадовался Кимушка, но решил так: «Если не сыщется хозяин, пока цыгарку искую, значит, не нуждается в деньгах тот, кто потерял, лишние. Уселся на травке, искурил козью ножку и – к Тоньке

в ларёк. Отвесь, мол, полтарашку «Клинского». Тонька бумажки приняла, а вечером подкатил участковый. Станок печатный изымать.

Пока суд да дело, пока разобрались, пылился Диоген мешком овсяным в конторском чулане. Возвернувшись через пару дней из мест не столь отдалённых, изловил Тёмку и надрал ему уши. А тот, паразит, спёр дома дрожжи, заготовленные на самогон к престолу, и, развязав войну, гранатой особого свойства швырнул их в Диогенов сортир, что присел под забором в лопушках.

И вёдрами, и совковой лопатой расхлёбывал Ким последствия этой войны. Правда, теперь его всё чаще прозывали Диоген-валютчик.

А то ещё придумал оболтус соседский: воткнёт вечером булавку острием у стекла на окошке, привяжет нитку к головке, отбежит в сирени и дзынькает полночи. Диоген потерял покой. А потому решил пойти с шkodником Тёмкой на мировую.

Подкатил старый мотороллер. Пользуйся, мол. У мальчишки аж глаза разгорелись. Давно на него зуб чесал. Уж какую неделю ладил для своей любимой бабки подсолнухолушилку. У старой Митриновы во рту торчат всего навсего два рыжих, как у нутрии, зуба: один по правому крылу, другой по левому. Бабка любит лузгать семечки, зубья из-за них растеряла. Нет-нет по старой привычке, подкинет парочку в рот. Поваляется-поваляется, на зубья не пристроит, почертыхается да и выплюнет.

Мальчишка пообещал мир до самой Диогеновой кончины. Но, зная Тёмкино коварство, Диоген запросил письменную расписку в том, что в обмен на мирный Кимушкин сон пацан забирает мотороллер.

Помирала на Лындовке престарелая бабка-повитуха. Велела кликнуть Диогена.

– Грешна я перед тобой, Кимушка. Прости ты меня за ради Христа. Не со зла я, по недогляду. Как рожала тебя Маруся, мамка твоя, припёрлась Востриха за решетом: мол, пирогов на родины настряпаю. И вынесла решето со двора-то. Не поспела я, вокруг мамки хлопотала. А ведь знала, чем Востриха промышляла, чтоб ей пусто было. Взаимы просить в доме родящей! Да ещё решето! Апосля хорошему не бывать, не задастся судьба у ребятёночка... Да и народился ты на исходе месяца... всё одно к одному, не в прок. Уж не таи ты на меня зла, прости... Не кручинься особливо. Кто туточки намаста, у Господа вздохнёт. Можя, он сад свой тебя сторожить пристроит. А в саду том раи, благодать Божия. Не туманься, милоч, я промашку свою справлю. Как пред Господом предстану, о тебе словечко замолвлю. Мол, так и так, живёт в Лындовке на Горбатом урынке Кимушка-Диоген. Душечка наидобрейшая, мухи не словит, паучка не прихлопнет. Уж не оставь, попрошу, Господи, послабь его судьбинушку, намаялся spolна, – с тем и отошла старая повитуха, повинившись перед Кимом, пообещав поспособствовать в царствии небесном.

И Диоген поуспокоился, стал философски относиться к проказам его заковыристой судьбы. Рано или поздно беды его, по увещаниям повитухи, перемелются и справедливость восторжествует.

А как обрёл Кимушка такую надёжу, так и жизнь помягчала, поотпустила, перестала ставить ему подножки. Да уж и пора, к полтиннику дело движется.

Распушит ли его Дуська, сопрёт ли кот Пират на рыбалке десяток плотиц вместе с лозинкой, не печалится Кимушка. Всё вот-вот образумится, всё будет хорошо. Только бы душой не зачерстветь. Жить и в лучшее верить.





ТРИШКА



авненько не виделись мы с тёткой Натальей. Под зимнего Николу дай, думаю, отведаю старушку, с праздником поздравлю.

Погода, как назло, взбесилась. Снег в этом году выпал всего как с неделю. До середины декабря морозов не чуяли. А тут как засвирепело! Замело, закрутило! Но вчера с обеда поотпустило. Минус пятнадцать для русской души – самое то! Подделась поплотнее – и в дорогу.

Тётка моя который год живёт в опустевшей деревне. К дочери в город не съезжает. Не к чему, мол, теперь. Восемьдесят шесть прожила туточки и остальные, сколь Бог отпишет, доколтыхаю.

Вышла я, на остановке – ни души. До тётки пешком минут сорок. Только шаг наладила, слышу: лошадёнка в спину дышит. Сжалился, видать, Господь, подмогу послал. Зарылась поглубже в сено, и коняга потрусилась в сторону Кривой балки, на краю которой под кряжистым ясенем притулилась тёткина хатёнка.

Мужичок оказался болтливым. За двадцать минут успел обстоятельно прояснить обстановку в Больших Хомутах: света нет (линию в последнюю метель оборвало), и воды тоже нет (то ли башню разморозило, то ли мотор сгорел).

«Бедная моя, несчастная! – забеспокоилась я о тёткиной участи, – ключ под горой за версту». Но, видать, человек наш настолько живучий и бывалый, что тётку Наталью не смогли подкосить такие мелкие неурядицы.

Распрощавшись с возницей, торопившимся за дровишками в Куманёв лесок, я постучалась в заиндевелое окошко знакомой кухоньки. Тётка будто поджидала гостей. Выскочила в сенцы, загремела щеколдой. Двери открылись, и она, всплеснув руками и заохав, кинулась ко мне. Время за пять лет ничуть её не изменило. На моё: «Тётъ Наташ! Да ты молодцом!» – старушка хихикнула, а что, мол, с сухофруктом подеется?

Не успела я осмотреться, за окошком начало смеркаться. От жарких ли всполохов печки, от лампадки ли, закоптившей угол горницы, а может, от лампы-керосинки по хате расточались уют и тепло. Вспомнилось детство на хуторе, бабушкина низенькая хатёнка, допотопная липовая прялка и сушилка с мотками крашеной овечьей шерсти.

Радостная тётка хлопотала у стола, собирала вечерить. Откуда-то взялась бутылочка «Кагора». «Для сугреву. От Пасхи берегла, свяченная». Старушка шмыгнула в кладовку, вернулась со шматком морозового сала. Вынула из печи горшок с томлёными щами.

Я спохватилась, принялась выкладывать подарки. Довольная тётка с удовольствием их рассматривала и нахваливала. Очень ей по душе пришёлся шерстяной подшалок в мелкий розанчик. «Знатный платок-то!» – не удержалась она. Что означало её наивысшую благодарность.

Чай пили с какими-то раздушистыми травами, с козьим молоком и горючими бубликами. Я помнила, что нет для тётки лучше лакомства, чем баранки или бублики с кунжутом и прихватила целую связку. «Мои любимые, с венниками!» – заметила старушка. Зёрна кунжута она принимала за семена веников и обожала ими баловаться.

– Ну, всего нынчи не перетрёшь. Умаялась, небось, с дороги. Ложись-ка, вздремни. Завтри повспоминаем. Постелю я тебе разобрала, а сама – на печку. Куды мне от ей!

Не успела улечься, слышу: «Треш-треш, скхрррн-скхрррн!» Живя в городе, совсем позабыла, что в деревенских деревянных домах любят селиться сверчки.

– Поздоровкайся, это – Тришка. У меня всего-то и осталось в хозяйстве: на дворе – коза Милка да в доме – сверчок Тришка. Только я на печь – он за песни. Убаюкивает, балакает со мной, чтоб темени да выюги не пужалась... Летом-то он на улицу сбегает, а к холодам – опять в тепло норовит. Делит со мной печку.

Я вспомнила старую песенку о том, как у бабушки за печкою жила-была компания, и улыбнулась.

– Мне, милая, от его теперя никуда. Голос Тришин из сотни других rozpoзнаю, – продолжала старушка.

– А самого-то видала?

– Как же! Объявлялся! Ма-а-хонький такой, кузнечик кузнечиком, – тётка завозила на печи, видать, раздумала спать, поскольку речь зашла о её любимой животинке. – Сверчок – он ведь всегда у нас в деревне в почёте был. Что за хата без его? Помочник, подсказчик семейной. Ишо бабка моя говаривала: «Коли сверчок хату покинет или из-под печки на серёдку высигнет, быть худу вскорости».

– Тётъ Наташ! В приметы, что ль, веришь?

– Как же, милая, не верить? Поверишь, коли петух жареный клонет... Вот ведь в том году, как пожару случись, сию я, картохи чищу. В хате тишина. А он – прыг-скок из печурки и прямо передо мной замельтешил. А в ночь амбар занялся. Полымя на хату перекинулось. Как отстояли (ветер был жуткий), ума не приложу... Как не поверить?..

– Простое совпадение, – ввожу в сомнение старушку.

Но её голыми руками не возьмёшь. Ни за что не позволит в сверчке своём разувериться.

– Какое там совпадение! – доносится с печки. – А как такое дело понимать, растолкуй ты мне, будь добра. Пишет мой Миколай с фронту, скучаю, мол, шибко... хата всё снится... сверчок свиристит... А через неделю, следом

за его письмом, похоронку получила. Не веришь – заглянь на Божничку... Там они... треугольнички-то... Только главного я тебе покаместь не сказала. Как получить то письмо злосчастное, лежу я на печи, согреться не могу, пришла с окопов (фронт подкатился по той поре аккурат под нас), лежу, значит... руки поверх одеяла... Ещё и не спала вовсе, чую: прыг сверчок прямо на ладонь... и криком кричит. Сердце оборвалось. Смекнула сразу: дети при мне, посапывают, значит, с Миколой беда. Так и случилось. Под Сталинградом могила-то его, ты же знаешь, – тётка вздохнула и примолкла.

А сверчок трещал и трещал. Монотонно, словно кукушка в лесу. Передохнул секундочку и опять за своё.

Показалось, что старушка уснула. Но, видать, разбередила я её своим приездом.

– Вот... ты как полагаешь, чем он, шельмец, поёт? – послышалось вдруг с печи, – не догадаешься ни за что! – и сама тут же ответила: – Потирает проказник подкрылками по задним лапкам. А они у него в рубчик. Так и трясает Триша мой об них ночь напролёт. Я за ним, как за каменной стеной... Коли усну – он начеку... Ничего со мной до срока не подеется!

– Любишь ты, тётушка, своего постояльца!

– Люблю, как не любить. Только какой же он постоялец? Он – самый что ни на есть хозяин, домовик!.. Лексевна, соседка моя бывшая, отродясь скрыпу ихнего не переносила. Словила-умудрилась одного да прихлопнула. А на другой день – из самой дух вон.

– Сомневаюсь я. Сказки всё это.

– Какие тебе сказки-байки, коли душечка наша, как заснёшь, принимает его обличье... Как же изничтожить?.. Все у нас на хуторе знают, акромья тебя... А потом... знаешь, от чего у Шульженки голос такой? С утреча натошак настой из сверчков принимала. По две капли на ложку козьего молока. Только непременно от рябой однорогой козы.

– Ну! Это уж точно басни! Чепуха какая-то! – возмутилась я

– Ничуть, не чепуха! – обиделась тётка Наталья. – Ты послушай-ка завтра пластинку: поскрыпывает голосок-то у певуньи.

– А чем же ты своего артиста кормишь, не яйцами ли всмятку?

– Дык чем, чем, – ласково заворчала старушка, – знамо чем – отрубями. Их за печуркой цельный мешок. От шашала прожариваются. Домовик там и столуется-подъедается сколь надо. А летом – на вольные хлеба уходит, на зелень.

Наконец, неумолчный сверчок убаюкал тётушку, а я всё ещё бормотала пришедшие из далёкого детства стихи Барто:

То близко сверчок,
То далёко сверчок,
То вдруг застрекочет,
То снова молчок.

Тришка солировал до рассвета. И всё одним-единственным номером. Постепенно я привыкла к его стрекоту. Это однообразие не раздражало, не надоедало и не утомляло.

Вспомнилось: когда-то и в нашей хате жил свой хранитель домашнего уюта. Да и у соседей по вечерам тоже пиликали сверчки. Ночи напролёт

устраивали они сольные концерты, а к утру хаты выстывали, и они смолкали, напоминая хозяйкам, что пора топить печи. А ещё жил сверчок под полком нашей бани. Похлестываешь, бывало, веничком берёзовым в лад сверчковой песенке «рразз-рразз». Жил-поживал сверчок в тёплой баньке и в усы свои длиннющие не дул. Холод не докучает, еды хоть отбавляй – веников в предбаннике тьма. А что ещё для счастья сверчиного нужно?

Размеренное «крри-крри» так меня убаюкало, что очнулась я, когда утро уже гляделось ясным морозным солнышком сквозь расшитые цыплятами занавески. Тётка Наталья потопала в сенцах валенками и вошла в горницу. Следом в промёрзлую дверь вкатились клубы молочного пара.

– Проснулась, голубка моя, ну, поднимайси. Милку подоила, утречать станем. Драников настряпала. Стынут.

За завтраком опять затолковали о ночном музыканте.

– Да я, поди, уж и всё про него выложила. Заинтересовалась? Ну, коли ещё чего прознать желаешь, дак поди к Лукьяну на хутор Степной. Деда этого по имени не кличут, всё Сверчок да Сверчок. Сказывают, помешался он на этих букашках.

Интересно, как может деревенский дед на сверчках тронуться? Не откладывая в долгий ящик, чтобы оборотиться до темна, откапала в чулане старые лыжи, выдернула из горожи пару орешин и покатила на Степь.

Сколько лет минуло с тех пор, как в детстве ползала по этим пригоркам на салазках и лыжах с деревенской ребятнёй!

Местность наша холмистая. С горочки – на бугорок, то стрелой вниз, то ёлочкой вверх. Мороза не чуяла, даже в жар кинуло. Взятые напрокат тёткины валенки посеребрились, воротник шубника от морозного дыхания заиндевел. Декабрьский полдень играл на снегу дробными алмазами. Встречавшиеся на пути ракитки разукрасились игольчатым инеем.

Не успела притомиться, уж дымком потянуло, а там и хутор на ладони.

Тётка Наталья в точности описала Лукьянову хату, и я, скатившись в низинку, притормозила у распахнутой калитки.

Залаял кудлатый пёс, и навстречу в телогрейке, ватных штанах и в валенках с подвёрнутым верхом и подшитыми задниками вышел сам Сверчок.

Дед этот иначе никак не мог называться. Кличка здорово ему подходила. Росточком низенький, гномистый, глазки маленькие, шнырькие. Походка прискакивающая. А самое главное: длинные тонкие усики. Ну сверчок да и только.

Дед потёр руками, словно лапками, и засвиристел сквозь пару оставшихся зубьев.

– Кого это к нам принесло? Не прозябла ли с дороги? Не останешься ли переночевать? Не растопить ли пожарче печку?

Дед трещал, а я не успевала отвечать. Да ему, как видно, это было и не нужно.

Обив корявым берёзовым веником льдинки с тёткиных катанок, прошмыгнула в тепло.

Скромное убранство хаты подсказывало, что Сверчок или век прожил бобылём, или давным-давно овдовел. На длинном нескобленном столе громоздился самовар. Дед чаёвничал в одиночку и очень обрадовался неожиданной госте. Снова раздул угольный самовар, положил в него сухих вишнёвых веточек. Налил мне в чашку, а себе в блюдце и, указав на место поближе к печке, приготовился слушать. Сразу было видно, что это его любимое занятие.

– Говорят, дедунь, ты со сверчком дружен? – не стала ходить вокруг да около.

– Это ктой-то говорит? – насторожился дед.

Смекнула: надо поменять тактику. И, будто не слышала вопрос, решила польстить старику.

– Знаток, говорят, Лукьяныч большой и ценитель их пения.

Дед одобрительно крякнул и сверкнул хитренькими глазками.

– А пошто они тебе сдались, сверчки-то?

– Я, дедунь, о всяких увлечениях пишу. «Хобби» называются они по научному. А у тебя очень уж необычное.

– Ну... коли так, расскажу, что знаю, и ребяток моих покажу... Чего ж не показать-то?... А ты пропиши об них. Пушай ... может, кто ишо заинтересуется.

Я достала блокнот, дед степенно допил чай, утёр усы, расправил их, как подобает Сверчку, полез в печурку. Достал и бережно поставил на стол собранный из спичек многоэтажный дворец, состоящий из комнаток коробочек. Выдвинул одну из них. Смотрю: в уголке бурый, миллиметров двадцати сверчок. Дед полюбовался и задвинул комнатку на место.

– Ну, взглянула? Их у меня двадцать пять головок. Об чём разговор будем вести?

– А что же, дедушка, жильцы этого чудо-домика молчат?

– Дак день же. Спят мои родные.

– Как же так случилось, что ты не охотой занялся, не рыбалкой, а сверчками?

– А куды деваться-то? Энтим делом, милая, весь род наш увлекался... С деда мово пошло. Как ушёл он на Японскую, так и заболел сверчками. В плену два года провёл, выучился с ими обходиться.

– А что же, сверчкам какой-то особый уход требуется?

– Ды какой там уход! Едят всё, что мы любим. Главное для сверчка – тепло. Чуть ниже + 25, а ему уж не по себе. И петь перестаёт. А песня – главная его заслуга, дело жизни, прямо скажу. Ить его можно вовсе никогда не видеть, но не знать о его присутствии невозможно. Каждый вечер трели выдаёт. И не смолкает до утра.

– И чего им в тишине за печкой не сидится? С чего петь-то?

– А пошто квачут лягушки? Пошто соловей запузывает?... Вот... то-то и оно... И сверчки затем же поют: самок подманивают, а самцов гонят прочь.

– Не каждый выдержит его сверчение, ведь если он заведётся, то слышен в самых потаённых уголках дома.

– Поначалу, может, и необычно, но попривыкнешь, и не станет для тебя нежней и приятней песни, чем сверчина.

– Со вчерашней ночи стоит в ушах его стрекот.

– Не стрекот, а музыка, – поправил старик, – бывало, посадит дед на колени и растолковывает мне, несмышлёному, про сверчиные напевы. Дед мой много чего про них у японцев прознал. В Японии энтой трели ихние, ох как ценятся! Соревнования меж ими устраивают. Кто, мол, складнее выдаст. Это у нас сверчок копейки не стоит, а там животинка эта важная. Большие деньги на них делают... Мы всё щеглов да канареек в домах содержим, а японцы – сверчков.

– Да... точно! Кажется, где-то читала, и в Китае их тоже почитают. Даже на Новый год дарят, мол, счастье в дом стрекотаньем зазывают.

– Старики в Японии считают, что пение этих насекомых дарит им долголетие и покой. И поэты, и музыканты, и художники, даже тибетские ламы занимаются разведением и воспитанием сверчков. Нет на Земле места, где бы не уважали сверчков. Дед говаривал, императоры японские заказывали для своих любимцев золотые клетки. И во дворцах, и в хижинах слушают японцы ихние трели... Сверчок – вещь полезная. У нас привыкли – мамки, няньки, а япошки поставят рядом с младенцем коробочку со сверчком, и тот без умолку колыбельные распекает.

– Жаль, не знала раньше. Дети выросли. Внуки появятся – обязательно попробую так убаюкивать.

– В старину сверчка-то на Руси циркуном кликали. И говаривали о нём с уважением. Считалось: сверчок поёт – Бога хвалит... А что же это мы про чай забыли? Совсем простыл, – дед хрустнул кусочком сахара, прихлебнул с тарелочки и, показалось, на минутку задумался, о чём бы ещё рассказать. Но тут же встрепенулся и продолжил.

– Не поверишь, но для сверчков есть особые базары.

– Представляю, какой там стрекот стоит, – улыбнулась я.

– Чёрный сверчок стоит намного дороже, чем бледный, серенький, – пояснил дед Лукьян и подлил чайку, – ну, это всё в Японии, а мы сверчка привыкли слушать зимой – за печкой, летом – в лугах. Хоть и поют они летом слаженным хором, но любят одиночество, потому и драчуны-забияки отменные. Мы с Петром, братом моим, целные бои устраиваем.

– Надо же, сверчковые бои! – так и ахнула я.

– Что, любопытно? Ну, коли заночуешь, может, и удастся увидеть оканю, – пообещал Сверчок, – только за Петром добегу.

Уехать и не посмотреть на такую диковинку я, конечно, не смогла. Захлопотала с ужином, а Сверчок отправился на другой конец хутора за младшим братом.

Оказывается, в детстве играли они в сверчиные бои, как мальчишки в футбол. Так и не смогли остановиться, увлеклись на всю жизнь. Полхутора собираются порой взглянуть на необычное зрелище.

Пётр, конечно, не отказался похвастаться своим воспитанником, и через двадцать минут деды затопали у порога. Брат Лукьяна как две капли воды на него похож: те же шустрые бусинки-глазёнки, те же потирающие друг друга ручки-лапки, и только усы отличались от Лукьяновых – куда длиннее. «Ещё один Сверчок!» – невольно подумала я.

Наскоро поужинав, освободили стол от посуды, и дед Лукьян принёс сложенный для таких случаев крошечный ринг. Посередине – сетка, чтобы бойцы до поры не набросились друг на друга.

Деды высадили из коробочек сверчков и дали им освоиться. Заприметив друг друга, соперники принялись готовиться к бою: передними лапками растёрли щеки и глаза (так же, как умывается кошка, – склоняя головку то на один бок, то на другой), челюстями помассажировали лапки-ножки, ртом начистили до блеска шпаги-усики. Братья раззадоривали своих питомцев – шевелили соломинками усики и почёсывали брюшка.

– Пора! – старший Сверчок кивнул младшему, и тот убрал разделительную сетку.

Сверчки тут же бросились в атаку. Таким бойцовским качествам позапировал бы любой боксёр. В ход шли и лапки, и крылья, и челюсти. Всеми силами драчуны старались опрокинуть соперника на спину или вообще вытурить подальше с поля боя.

Глаза у дедов горели, они кружили вокруг стола и внимательно следили за исходом боя. Но помалкивали, лишь изредка вскрикивали или громко вздыхали. Видно, уговор у них такой – не вмешиваться.

Наконец, Лукьянов ученик ухищрился завалить Петрова подопечного на бок и лапками, словно какой валик, перекатил на спину. Победитель оглушительно просверчел и отскочил в сторону.

– Надо же! Какое благородство! – подивилась я.

– Закон природы – лежачего не бьют, – пояснил Лукьян.

Деды только в азарт вошли, а бой уж закончился.

– Надо бы отыграться, – предложил Пётр.

– Ну что же, можно и ишо разок.

Пётр подкинул сверчка, тот взмахнул крылышками и приземлился на табуретку. Тогда младший Сверчок подсуетился ещё раз и, ловко изловив своего бойца, подкинул его снова.

– Чтоб злости поднакопил, – растолковал Лукьян.

И вновь соперники сошлись в поединке. Чувствовалось, что сверчок деда Петра уже подустал, а может, и впрямь был слабее. Взяв верх в прошлой схватке, Лукьянов самец ощутил вкус победы и, расхрабрившись, так больно укусил противника, что тот упал на спину и отчаянно заперебирал лапками, дав понять, что сдаётся окончательно.

– Перекормил ты его, братец. Увалень, а не боец, – поддел Петра Лукьян, – говорил же тебе: отруби отрубями, но и яблочка подкинуть не забывай. Для разгрузки.

Я удивилась, заслышав разговор о рационе и питании. Словно передо мной не деды, а тренеры серьёзных спортсменов. Для братьев же разговор этот – обычное дело.

– Молодой он ишо, – сопротивлялся Пётр, – погоди, через месячишко войдёт в силу, задаст твоему бугаю трёпку!

Ночью победитель ликовал и выдавал такие трели, что к утру я стала находить в них сходство с соловьиными руладами.

По зорьке, распрощавшись со Сверчком, двинулась в обратный путь. Тётка Наталья теперь все глаза проглядела. Как пить, задаст за то, что осталась у Лукьяна на ночёвку.

Выехала за бакшу, слышу: дед кричит мне что-то вослед. Возвращаюсь, смотрю: вынимает из овчинной рукавицы коробочку.

– Подарок от меня. Пусть у тебя дома поёт, о нас напоминает.

Поблагодарила я старика. Запихнула коробочек в варежку, а её – за пазуху, чтобы певец не застудился. И – скорее к тётке.

Выговорила она мне, конечно. Не без этого. Но, заглянув в коробочку, смягчилась, оттаяла. Сверчка я назвала, как и тёткиного, – Тришка. Очень уж понравилась кличка. Вот уже месяц, как он живёт в моём доме. Трещит-сверчит без умолку! Чтобы не замолчал, кормлю его, по совету Лукьяна, досыта. Говорят, голодные сверчки не поют. Слежу за рационом.

Пронырливый оказался Тришка. Как-то ночью включаю свет, смотрю: он у Барсиковой миски. С тех пор подкладываю ему под батарею (он её сразу облюбовал) «Вискас», пусть лакомится. А уж он в благодарность сверчит-заливается!



РЖАНЫЕ ОПЁНКИ



Когда цветут хлеба, в березняках и дубравах высыпают летние опята. Бабы прислушиваются, выпытывают друг у друга: не набрал ли кто уже грибов, и где они проявились. Тайком бегают в леса и урочища, чтобы не прозевать «гвоздики».

Мы приехали на хутор в самое время. Пробираясь просёлком сквозь цветущую рожь, решили завтра же, не откладывая, проверить потайные поляны. Есть у нас такие, давно приметили. Уж если и пошли опёнки, то там обязательно наберём.

Встали ни свет ни заря. Подоив коров, соседки спроваживали скотину под гору в стадо. Сквозь туман слышались окрики Федьки пастуха и хлёсткие щёлканья плётки.

— Какие вам ноне грибы? Нетути ишо, — закудахтала обеспокоенная множеством наших корзин бабка Аксинья.

— Делать людям нечего! Понаехали, шляются! Все леса стоптали, — подхватила тётка Настя.

То ли накаркали старухи, то ли сказалась засушливая весна, только проплутав до полудня, мы не сыскали ни одного захудалого опёнка. Зато в Горонях насобирали корзину молочных поплавушек, а в Закамнях нащёлкали кузовок луговой земляники.

Увидав нас и следующей зарёй, бабы заудивлялись упорству и позавидовали отпуску. Связанные бакшой и хозяйством, деревенские не могли раньше нас поспеть в леса. Но возвращаясь домой, мы видели, как местные любопытничают и заглядывают к нам в кошёлки: не опёнки ли несём? Не понятно почему, опять ценятся здесь выше, чем все остальные грибы. Даже боровики ничего не значат по сравнению с ними.

Каждое утро в течение недели мы настойчиво отправлялись за околицу, а соседки с издёвкой хихикали вслед.

— Скоро уж осенские пойдут, а они всё ржанные дожидаются!

— Места надоть знать. Мой Фомич вчёрась цельную плетуху припёр. Всю ноченьку провозились, умаялись с ими.

Мы только усмехались. Знали, что отец с Фомичём весь день качали в нашем саду под китайкой мёд. Только к вечеру, наугощавшись, дед спроводился домой. Аксинья, наверно, по ветхости памяти позабыла, что Фомич принёс ей в подарок от нас трёхлитровую банку мёду.

Зудение соседок начинало надоедать. Уже неловко стало проходить без опять вдоль хутора. Да и азарт разбирал, хотелось первыми наткнуться на ржанки.

Пару дней назад в Плоцком нас отхватил такой ливень, что теперь наверняка грибы пойдут вовсю. С таким настроем отправились мы в последний раз перед отъездом за опятами.

Лужи на просёлке подсыхали. Земля набухла, пропиталась тёплым дождём. Над поймой курились тонкие струйки марева. Пахло цветущими травами. Конский щавель, заполонивший приречные луговины, вымахал после дождя чуть ли не в человеческий рост. Коричнево-рыжие метёлки преграждали путь, хлестали по груди. Тянуло так вкусно донником, что густой от испарений воздух казался молодым мёдом.

Мы пробирались сквозь сенокосы: то тонули в низинах, то поднимались на пригорки. Стайка корольков, преследовавшая нас от Шешкиной ложины, мельтешила над колосющимися травами, задевая их чёрно-рыжими крылышками. От подорожников и овсяниц поднимались кремовые облачка. Тяжёлые шмели падали с лёту на колокольчики, забирались в их глубокие рыльца и через секунду, неуклюже пятась и ворча, срывались снова и снова в головокружительный полёт. Невидимки-кузнечики свирчели так, что звенело в голове. Поначалу показалось, несметное количество скрипачей никак не может настроить свои инструменты, и оттого вокруг такая дикая какофония, но прислушались: звучала дивная стройная мелодия, гимн лету и солнцу.

Из леса, словно из отчего дома, дохнуло родными запахами. Под весёлую музыку кузнечиков запели птицы, зашелестела листва.

Неожиданно навстречу из зарослей вышел Фомич.

— Как грибочки? — полюбопытствовали мы, заглядывая в дедову корзину. — Проявились?

Какой же грибник не любит похвастаться находкой? Фомич поставил перед нами плетушку. Мы так и ахнули. Под самый верх — ядрёные ложные опята.

— Это для кого ж такая вкуснятина? Кого Вы так любите? — поинтересовались мы осторожно.

Дед уселся на пенёк, снял ходоки, скрутил сигарку. И только потом пояснил.

— Стряпать надо уметь. Не пробовал только бледную поганку. И то только потому, что от её ядовитости не изобрели спасения. А остальные грибочки, все как есть, съедобные. Самолично проверял. Бабка моя противится, нос воротит. Мол, ишь чего удумал старый, отравить хочешь! А я грибки-то отварю, луковку в чугун кину. Коли не посинеет, тады и яду в ей нету. Продукт наипервейший, — дед кивнул на ложники. — А со сметанкой любой гриб скунай! Похлёбочка — и мясного бульонцу ненадобно!

— А как же, дедунь, с мухоморами?

— Лоси едят, белки тожить не отказываются, точно знаю. Но меня пока что оторопь берёт. Ну, как всё ж таки траванусь? До больнички далёко, не поспеют. Правда, настоящей самогонной на этих красавцах пятнистых и себя, и бабку от радикулита пользую. Аксинье-то невдомёк, что на мухоморах, — хихикнул Фомич. — Бересты вот наколупал. Настёнке туесок сплету. Малины-то! Малины нынче!

– Так у нас её отродясь не водилось?

– Раньше не примечали. А вот кой уж год подряд таскают бабоньки с Плоцкого. Видать, птицы с Дмитровских лесов занесли. Рассеялась! Даже жёлтая кой-где встречается, куды слаще розовой.

Фомич ушёл, а мы вдруг припомнили, что не раз выручал он деревенских своими настоями. Знали бы на чём он их варганит!

Шли лесом, удивлялись, сколько мелкой живности после ливня объявилось. Засуха грибному делу не подспорье, а в дожди того хуже – улитки-слизняки. Накинулись с голодухи, все грибочки под корень подчищают. Не разберёшь: то ли сыроежка, то ли волнушка. Шляпка дочиста изгрызана. Не брезгают прожоры даже валуями. Только какой свинушок объявится, ещё и из земли не выкарабкался, уж на него тьма охотников: и червячки полакомиться не прочь, и слизи грызут, и птицы клюют. А сколько нашего брата-грибника по лесу бродит! Только что кто-то прошёл, ещё срезы на подберёзовиках свежие, но идёшь следом и обязательно что-нибудь сыщешь. А за тобой тоже кто-нибудь рыщет, хоть пяток, да соберёт.

Но сегодня, видать, кроме Фомича никто ещё не появлялся. Спустились в осинник. Сквозь густой папоротник ничего не разглядеть. А присядешь – вот они, родимые! На одном месте полкорзины подосиновиков нарезали. Крепкие, сбитые, красноголовые, один к одному. Душа возрадовалась. Но в эту пору даже боровики – не находка. Главная добыча – ржаные опять.

Измаялись, но напороли по корзине подберёзовиков да подосиновиков, по парочке белых. Уселись передохнуть на валежник. Осмотрелись: солнце прошивало своими лучиками, словно золотыми нитями, орешник. Тихо... Лишь изредка вскрикивала на берёзе галка. Галчонка несмышлёного подманивала... И опять: будто кто-то шары новогодние на пол обронил, разбил. Это галка-мать за что-то сыну выговаривала, потрескивала.

Сидели... лес слушали. Любовались миром, ожившим после дождя. Листва пропиталась влагой и уже не казалась утомлённо-блёклой, а отличалась ярко-изумрудными оттенками. Вся растительность в бору тянулась к свету. Травы славливали малейшую капельку солнца, упущенную кустами крушинника, бересклета и орешника. А выше господствовали вековые берёзы, осины да сосны. Взгляд невольно устремлялся к их кронам.

Боже мой! Какое чудо! На высоченной берёзе выросло несколько колец опять. Сосчитали: одно, два, три... шесть! Ствол совершенно гладкий, не взобраться. Натаскали сучьев и добрались до третьего яруса. Сорвали молоденькие, полураскрывшиеся опять. А три верхних кольца оставили на семена, птицам, лесу. Оглянулись по сторонам и только тут заметили: почти на всех берёзах красовались опёнки. Карабкались по стволам, словно альпинисты.

Высыпали в папоротник «неважные» грибы (может, придём за ними после обеда) и в полчаса набрали первосортных ржаных опять. Кремовые, в веснушках, с изящной оборочкой. В гранках – до десяти штук! Что ещё нужно для счастья грибнику?

У калитки столкнулись с Аксињей. Мол, забегала узнать, не слышно ли дождя назавтри. Мы-то знаем, нас дожидалась.

Старуха всплеснула руками, когда на веранде расстелили клеёнку и высыпали, чтоб не сгорелись, опята. От них дохнуло лесом, дождём, берёзовой смолкой.

— А мой-то опять поганок надрал, — вздохнула Аксињя и посмотрела на нас с уважением. С этого дня деревенские не подковыривали нас. Наверно, Аксињя в тот же вечер разнесла слух о нашей удаче по всему хутору.





ВЕСНА В ЛЕСУ



В деревне хлопочет март. Мукает в подклети кудрявистым бычком Ерошкой, квохчет клушею Проськой. Горлопанит в зеленушных ракитках оравой гомонливых грачей, перетенькивается в побуревших кустах сирени с прикормленной за зиму синичкой Сенькой.

С каждым днём весна всё сильнее напирает. Со вчерашнего дня она простужено вздыхает и кашляет-бухает в пойме, поторапливая с ледоходом переспавшую Крому, проклёвывается изумрудной озимью на оголяющихся полях, а к полудню за околицей курится на обогретых звонким молодым солнышком косогорах.

Спешит-лотошит весна. Только бы успеть, только бы не опоздать! Повсюду заглянуть, разбудить, расшевелить, растолкать! Там сосулькой-переростком о порог дзынькнуть, там мать-и-мачихой брызнуть, там ручьём залихватским вдоль промоин раскатиться. Почками в палисадах защёлкать, вербными облаками над деревушкой взлететь, воробьями расскандальиться, в первых лужицах расчуфыраться.

И там побывала, и тут доглядела. Только вот до леса руки не дошли. А может, просто поленилась весна по сугробищам пробираться?

Лес только-только пробуждается. Угрелся за зиму под собольими шубами, под горностаевыми покрывалами, увлёкся снами метельными и весну проморгал. Как теперь в него ступить? Ухнешь по пояс в набухший снег. Ни тропок, ни стёжек. Когда ещё перебило-перемело!

Мало-помалу прокрадётся всё же весна и сюда. Пригреет солнышко. Как пойдут стрелять из-под сугробов ветки! Шарахнется с испугу зайчишка, замечется, заплетяет. Как не всполошиться? Зимой в лесу глушь да покой. Не хрустнет сучок, не раззвенят птицы. Тишина да снег. А тут — ком за комом с лапника соснового плюхается, наст сам собой хрумкает, оседает. То у опушки щёлкнет, то в бору хрустнет.

От страха исхудал заяц. Некогда бедняге даже ивовые ветки в подлеске обгрызть, не то что в Козюлеев сад, на край деревни стрекотнуть, яблоньки пообточить. Подождёт заяка свой хвостик, закинет задние за передние и носится по лесу, ополоумев от трусости, пока листва не раскроется. Ведь кроме быстрых ног нет у косога для защиты ничегошеньки. Так и спасается. А коли сцапает его кто по сильнее, так станет биться он теми же задними лапами до последнего.

Зайчишка-то наш — русачок. Не до конца белеет зимой. Это на севере беляки в торосах не видны, а у нас живёт русачок, оглядывается. Ни норы, ни берлоги не имеет бедняга. Всё следы путает, лёжки каждый день меняет.

Днём и носа из укромного местечка не высунет. Только ночь прибавляет ему капельку смелости. Посчастливится – раскопает зайчишка снег, похрустит промёрзлой сухой травой, а коли нет – сгодится молодая осинка, ивинок. Голуд не тётка, в лихой год и кора зайцу – в лакомство.

А как подступит весна, то ли от соков забродивших, то ли от водицы талой, примется зайчишка за зайчихами местными ухаживать да турниры с другими самцами устраивать. К тому же очень неосмотрительно: среди бела дня. Сон бедолага в марте совсем теряет. Тут его голыми руками и бери. Даром что косой. Во время сражений не видит, не слышит ничего.хлопотное это дело – быть зайцем. Детей много, по два выводка за год. Зайчихи новорожденных зайчат бросают на несколько суток одних. А за детьми глаз да глаз нужен. Попробуй, покрутись в заячей шкуре, поневоле осторожничать станешь.

Подивится весна зайкиным хлопотам, улыбнётся ясным солнышком, хотьнёт далёким громом и перво-наперво заглянет на полянки, пробежится по вырубкам.

Вытают пни, прогреются, задымятся. В самый тёплый час зашевелиятся рыжие хвоинки на папахх муравейников, приоткроются люки-окошечки, впустят мартовский дух в благоустроенное, до метра высотой, жилище. Защекочет свежестью в усиках муравьиных, пробудятся они от спячки, а через недельку-другую заснут неугомонные мураши по проталинам, по стволам оживающих берёзок да сосенок.

Начнут выкармливать личинок, воевать, переустраивать и защищать гнездо, пасти коровок дойных – стада тлей, выделяющих вкуснющее молочко. Жаль станет весне маленьких неугомонных тружеников. Нет у них счастья в жизни, работа, да работа. И приподнесёт она самцам и самочкам в мае месяце подарочек – малюсенькие крылышки. А что? Пусть порадуются, полетают, мир посмотрят. Покружат над муравейником, над поляной в награду за трудолюбие. До этого ещё далеко. Полусонные мураши только-только выползают на разведку, на минутку, в самое солнышко, и – скорее домой, дожидаться, когда весна повернёт распорядок леса на свой манер.

Чуть поодаль муравьиной хатки большой пёстрый дятел конопатит иссохшую липу. В марте он отбивает серенады о ствол дерева для своей подруги, поёт для неё. Удивляется весна: мол, вишь, как выводит-старается, а жить со своей избранницей в ладу не может. Детей заведёт и наутёк, холостяк-холостяком. И питается, бессемейный, всухомятку, чем придётся. Сыщёт шишку сосновую или еловую, вкрутит в присмотренную расщелину. И ну таскать длинным языком семечки. Порою обознаться можно: то ли муравейник, то ли дятел шишек кучу-малу нащелкал.

Вообще-то, он великий лакомка и хитрец. Знает, что жучки-паучки прячутся под корой сухостоя. Бегаёт гурман день-деньской по засохшему стволу, и вкусный завтрак плавно перетекает в обед, а обед в ужин. Продолбит дырочку в берёзе и пьёт по весне сок. Правда, эгоист он ещё тот! Гонит прочь со своей территории не только чужих, но даже собственную жену и детей.

Но сегодня он влюблён и расположен дать великолепный концерт. Его стаккато слышится далеко за пределами поляны. Ритмичные рулады обманут не одну глупышку-самочку. Весна покачивает кронами сосен: а что, мол, с ним поделаешь, характер такой строптивый.

Чуть пониже у поросшего шиповником оврага, на взгорье, в липовых зарослях обживают прошлогодние гнёзда грачи. Зима спроводила их поближе к жилью, к стогам и дорогам. Отдохнули на чужих харчах, пора и честь знать: обустроиться, о потомстве позаботиться.

Потихоньку, помаленьку проберётся весна в самую чашобу. И ненароком подмочит норку лежебоки-барсука. Просочится водица во все закутки и проулки. Хочешь не хочешь, приходится полосатому выбираться на солнышко, греться-сушиться. Не вовремя, конечно, весна на барсука нагрязнула – днём. Житель он ночной, в светлую пору всё больше дома, дрыхнет.

Весна знает, что делает. Пора! Пора ему лягушек, ящериц, личинок, насекомых, птенчат, зайчат – одним словом, всех, с кем справится, ловить. А одолеть такой силач может многих. Оттого и спит зиму напролёт, в ус не дует. Жиру накопил, до самого тепла хватит.

Барсук зевает и плетётся проверить, не приболудился ли кто ненароком из соплеменников на его территорию, пока он спал. Барсук таких неожиданностей не терпит. Тут же спроводит со своей местности, да так, что пришелец дорогу позабудет.

Нагрязнет весна в самую глушь, где дубы необхватные, где буреломы непролазные. Прислушается: будто подхрюкивает кто-то, почавкивает, переговаривается. Да это кабанье семейство, проголодавшись за скудные зимние месяцы, перепаживает дубняк. Жёлуди в прошлогодней листве выискивают, снег в грязную кашу замешивают. Выжили, и поросенок уберегли! Вон как подросли! Отощали, конечно, но это поправимо. Через недельку-другую переберутся поближе к болотцу, нароют купален, захрустят сладкими корешками тростника, а там – и до травы недалеко.

Бродит весна по лесу мартовскому, солнышком в березняк заглядывает, лучиками в ельник дотягивается, ручьями перезвонными в овраги скатывается. Там цвинькает, здесь капает. Шмыгает, топчет, ухает. Радуетса весна: подснежники на пригорке вызвелились, орешник зацвёл, почки в сосняке раздухарились.

Всё идёт своим чередом. А дел-то, дел! Надо бы припозднившиеся снега из буераков в речку сдвинуть, ливнем тёплым шумануть – землю умыть, журавлей встретить, скворцов расселить, а там – и пахать-сеять пора.



СТАРЬЁВЩИК



О т весны до весны бабушка моя складывала под сарай в чувалы ношенные-переносные вещи детей и внуков, латанные-перелатанные пожитки. Рядышком сваливала в кучу прохудившиеся чугунки и другую кухонную утварь – тряпичнику Тимоше на мену.

Весна не могла набрать обороты без Тимошина приезда. Так уж повелось: только с появлением его волшебной колесницы закручивалась настоящая апрельская куролесица.

Старьёвщик вкатывал в деревню на буланой в проплешинах кобыле со стороны гнездиловского моста. Пойма подсыхала от ила после схлынувшего паводка. Шибче надавало солнышко, ярче выпестрялись пролесками холмы и пригорки, а в Матрёниных раkitках поднимался такой галдёж, что всем было ясно: пора. Пора вытаскивать из амбаров плуги и бороны, прозеленять картошку, спроваживать коров на первую травку. Слышалось рычание тракторов, шёлканье кнута, мычание вырвавшегося на волю стада и лёгкое похохатывание молодого апрельского грома над волглými луговинами.

Никто не знал, сколько Тимоше от роду. И пять, и десять, и двадцать лет назад казался он стариком. То ли по роду своего занятия, то ли из-за того, что носил окладистую седую бороду.

И зимой, и летом ходил в ватных брюках, здорово выручавших его. Лево́й но́ги не было. Подвернув ватную штанину, Тимоша опирался изуродованной на фронте культей на протез, «свостоженный» много лет назад столяром Филькой. Ходил медленно, прихрамывая и поскрипывая, оставляя на дороге ямочки от дёрвьяшки. На шее висел то ли шарф, то ли половинка бабьей шали.

Старик был беспросветно одинок. Не привязан, как перикати-поле, ни к какому месту. В войну снаряд попал в его хату, ставшую могилой для жены Екатерины и двухлетнего сына Гришутки.

Возвратясь на пепелище, соорудил фронтовик от дождей и непогоды кибитку на цыганский манер. Обьезжал окрестные деревеньки, набивал телегу всякой рухлядью и исчезал на год, никто не ведал куда.

Обычно тряпичник подгадывал и появлялся на Страстной неделе, лишь обдует мал-мало просёлки. Останавливался у первой хаты, и вся улица сразу узнавала о его появлении.

Бабы, управляясь к Пасхе, белили, мели, скребли, выгребали ненужное со двора. Ребя́тня тащи́ла к телеге никчемные пожитки. Тимоша собирал выставленные у калиток мешки, а «на мену» предлагал всякие безделушки. Девтора томила́сь, поджидала старьёвщика, облепляла муравейником однокибиточный табор.

– Погодите, не гвалдите, – улыбаясь в бороду, угованивал детишек Тимоша и, загадочно покрякивая, выставлял в лопухи волшебный сундук. С замиранием сердца ребята гадали, чем на этот раз удивит старый тряпичник.

А тот, как нарочно, не торопился показывать чудеса, спрятанные под крышкой. Стенки сундучка были расписаны невиданными цветами и птицами, а товар укрыт выцветшим подшалком.

Наступал самый радостный момент. Детишки замирали. Тимоша с криком: «Налетай, мальва!» – скидывал подшалок. Ребятня с визгом хватала облюбованную игрушку. Мальчишки тузили друг дружку из-за какой-нибудь безделицы.

Для баб выставлялся другой сундук, намного больше. Тимоша чинно открывал его, Митричны и Никитишны с любопытством вынимали городские фельдиперсовые чулки и газовые косынки, кружевные комбинации и гребешки, пуговицы и шпильки-булавки. Гомонили, разглядывали, примеряли. Набирали охапками и торговались с тряпичником.

Тот со знанием дела подыскивал полушалки, да чтоб каждой к лицу, да чтоб не хуже, чем у товарки. Умело отмерял, накручивая на деревянную мертовую рейку, кружева.

– Тебе, Настёна, нынче капроновый в горох прихватил, самый наимодный.

– Ишь ты! Ай, приглянулась наша Настёнка? – подначивали бабы.

– А мы-то чем хуже? Нут-ка, и нам что похитрей сыщи!

И рылись-перерывали Тимошин сундук.

Приезд тряпичника под Пасху был кстати. Хозяйки наменивали подарков на всю семью, а Тимоша вознаграждался ворохом никчёмной домашней утвари и мешками побитых молью тряпок. Куда потом всё девал, оставалось для сельчан секретом.

В каждой деревне старьёвщик задерживался только на день.

К вечеру бабушка Нюра шла за ним на другой конец улицы и приглашала на постой.

– Пренеприменно буду, Григоривна. Поклон Ликсанычу, – отвечал Тимоша и сворачивал базар.

Уже затемно въезжал на наш двор. Гуси, сбившиеся у калитки снежной горкой, кагакали и, сонно переваливаясь, отступали к палисаднику. Тимоша распрягал «ярманку».

Дедушка поджидал его, сидя на растрескавшемся пеньке у крыльца, попыхивая сигаркой. Старики «здоровкались» и неспешно направлялись в горницу. В углу на керогазе пошипывала глазунья. Бабушка, выставив поллитру сливовицы, нарезала краюху.

Деды усаживались друг против дружки за покрытый домотканой скатёркой стол, чокались гранёными стопками.

– Со свиданьем, Мишура!

– Со свиданьем, Тимоша!

Дедушка в своё время портняжил. С годами «дель свою вынуждён был оставить, по причине болести правого глаза». Но «бурки» продолжал шить отменные. От старух и до молодых, все окрест обувались с его рук. «Не бурки – игрушки у Мишуры», – считали деревенские. Никаких валенок не нужно. Тёплые, на

трёхслойной вате. Сукнецо выбирал потолще, подобротнее. Девки в клубе «Барыню» дробили в них, не уставали. Лёгонькие.

– Отложил тебе нынче драпчик – моё почтеньеице, – сообщал Тимоша хозяину, – пальтецо Миколавна сдала, тока рукава побиты, ды пару дырок за воротом шашал наковырлял, а так – хоть куды ишо. Но, того лучше, Петрова вдова шинелку принесла. Скока годков в сундуке под нафталином берегла!

– Ды почитай лет тридцать с гаком. Ить он и поносить-то дома не успел. Как привезла Марья с лазарету в сорок третьем, так и не поднялся боле. Царство небесное!

Не чокаясь, старики выпили ещё по стопочке, за помин Петровой души, и Тимоша поспешил во двор за шинелью.

Возвратившись, лукаво посмотрел на меня: «Подь-ка, Тата, принеси водицы».

Я выскочила в сенцы и возвратилась с ковшиком.

Старик опустил руку в карман затрапезного «пинжака» и что-то вынул. Разжал кулак перед моим носом: «Вот тебе, девонька, подарочек. Ни у кого такого нету. Соловушка, да не простой, замороженный. Наши-то от силы месяц запустырявают, а энтот будет каждый день потешать, дажить зимой, коли захочешь».

На Тимошиной ладони стояла маленькая глиняная свистулька. Тряпичник капнул в неё водички. Соловей как начал выдавать, будто всамделешный! То тихонечко подщёлкивает, а то взовьёт в такую высь, что огонёк в керосиновой лампе дрожит. Дедушка даже фитилёк утаил.

Допоздна старики «гутурили об своём», а я летала по хате с соловейкой. Выдувала бурлящую в свистульке водицу на все лады, пока бабушка не остепенила: «Ды уймёшься ты ноне, ай нет?»

Такого расчудесного подарка не получала от нашего постояльца никогда. Одной привёз, отметил, чтоб на улице похвастала.

По зорьке дедушка вышел проводить Тимошу.

С печки расслышала, как он «откутал» чулан и принёс связанные верёвочкой новые бурки – к задкам суровыми нитками подшиты кожицы, вырезанные из старых ботинок.

– Вот, Тимоша, носи на здоровье ды нас вспоминай. Для тебя справил. На энтот год хватют, стопчишь, ишо слажу.

Прослезившись, старьёвщик вынул из сундука чёрный шерстяной платок с алыми розами по краям и приподнёс бабушке: «Ну, Григоривна, спасибо за хлеб-соль».

И покатыл мимо умытых к Пасхе хат, мимо разбалованного за зиму стада, мимо убежавшей далеко за околицу кузни.

– Теперича будем дожидаться Тимошеньку через год, – вздохнула бабушка и накрыла плечи подарком. – Нукося, Таня, как там соловушко-то выдаёт? Уехал Тимоша, а нам радость послая себя оставил. Вся жисть на колёсах, ни кола, ни двора. Храни его, Господи, в пути.



РОДИНЫ (ОРЛОВСКАЯ ПОВИТУХА)



Обрадовавшись Аниному появлению в её одичалом жилище, бабка Лиза оглядела довольным взглядом выпирающий из-под вязаной шали правнучкин живот, заявила: «Много детей бывает, но «лишних» Бог никому не посылает». И, проводив гостью в горницу, тут же начала подчивать.

— Может, тебе, девица, чего-нибудь нашенского деревенского хочется? Сальца или кислушечки? Я шас, мигом!

— Не суетись, бабуль, отдохни, — жалела хлопотную Лизку Аннушка.

— Как же — не суетись! Не накормить тебя — взять тяжкий грех на душу. Ведь хлебушко просишь не ты, а во чреве твоём младенец. «Тяжёлой» у нас завсегда ни в чём не отказывали.

— А что так? — чуть улынулась Аня.

— Ну да, говорят, мыши за это добро съедят, а не то — сгниёт, — со знанием дела проговорила Лиза.

Бабка верила в «сглаз», а потому ни единая душечка не знала на хуторе, что у неё гостует правнучка на сносях. Даже с почтальоншей Машуткой Прониной, что наезжала на велике раз в неделю на хутор, не велено было Аннушке встречаться. Девка-то почтарька незамужняя! А коли такая раньше сроку прознает об Анином интересном положении, считала бабка, так и придётся бедной роженице отмучиться за каждый волосок на Машуткиной голове. Да и зачем в таком деле лишние глаза? Не напрасно ведь считают, чем больше людей посвящено в тайну предстоящих родов, тем дольше они будут тянуться.

Лизкина избушка прилепилась под высоченным вязом на краю околицы. Давно уж никто не заглядывал к престарелой повитухе. Кому рожать-то? Отрожались... На хуторе три бабки да дед Гераська. Глушь... Лишь изредка летом, да иногда по выходным растревожат Ельники нечаянные детские голоса, и опять невеста на сколько зависнет над хутором тягостная дремучая тишь, беспробудно убаюканная полчищами никем не пуганных кузнечиков.

В этой глухомани дожидалась Аннушка своего срока. Бабке Лизавете она не перечекала, дивясь её «профессиональным» причудам. По приезду взяла она на себя кое-какие житейские обязанности: горенку прибрать, гераньки полить, подсолнушков нашелушить. А вот к колодцу бабка запретила «тяжёлой» правнучке напрочь приближаться: мол, вода «дурной» сделается.

— Не утруждайся, милая, ты ить и так «непрасная», — любила приговаривать Лизка.

– Как же «непраздная», бабуль? – любопытничала Аня.

– Дак делом занятая, дитятко поджидаешь, кормишь, оберегаешь. Велико дело сполняешь – из зёрнышка росточек выращиваешь. Бабка моя певала про то, позабылась песня, помнятся лишь несколько слов из ей: «Меня батюшка засеял, меня мать родила...». Ты ведь как мать-землица теперя, урожая дожидаясь. Дай, Господи, вам с Митрием деток поболее. У кого чадунюшек много, тот не забыт у Бога... Да чтоб здоровенькие. Припомни, милая, не в пятницу ли зачала? Ох, и горюшко, коли в пятницу, не избежать беды. А того хуже, коли в двенадесятый праздник.

– День в день не скажу, но, верится, всё обойдётся.

– Дай-то Бог, девонька, дай-то Бог! Надобно Святым Великомоченицам Варваре да Екатерине помолиться, а то Марии Египетской.

Однажды старая предупредила: «Гляди, Анна, чтобы завтра ни к чему не прикасалась! Велик праздник – Рождество Богородицы. В твоём положении преступать Божии заповеди никак нельзя! И Митрию позвони по своей штуквине (бабка сотовый телефон так называла) да предупреди, чтобы в праздники – ни-ни, ничегошеньки не делал, не вострил, не забивал. А то опосля дитё с заячьей губой от энтого зародится!»

От скуки ли, спасаясь ли от бабкиных запретов, спряталась Аннушка на лавочке в саду, прихватив начатое ещё дома вязание. Лизавета догляделась-таки, расшумелась на правнучку: «Ты что жа, хочешь, чтобы дитятко твоё в родимых пятнах на свет Божий появилось?» И, отобрав вязание, закинула его подальше на поветь.

И чего только не опасалась Лизавета, оберегая правнучку: и переступить-то через оглобли и коромысло, чтобы ребёнок горбатым не родился, нельзя, через плоды перешагивать тоже не смей – не дай Бог «скинешь». А чтобы роды тяжёлыми не были, через острые предметы тоже не ступай. Чтобы пуповина ребёночка не обвила, не советовала бабка Аннушке брать в руки ни вожжей, ни какой-либо иной верёвки.

– Как жить? Прямо не знаю! – сетовала Аня.

– А как бабки наши береглись? Так и ты блюди себя. Особо берегись в дни кривых недель...

– Это что ж за такие недели? Я и слыхом не слыхивала о них.

– Дак знамо дело – две недели Святков, после Пасхи опять же – духовская да масленичная.

Лизка не могла взять в толк, как это можно женщине не знать таких простых вещей, от которых зависит не только её собственная жизнь, но и благополучие дитяти, которое носит она под сердцем. Аня же, в свою очередь, так и не поняла, что за кривые недели имела бабка в виду.

– Детское-то заготовила, ай нет? – интересовалась бабка у Анюты.

– Накупила-нашила сполна, – делилась радостью правнучка.

– А вот с этим ты поспешила, ещё мамки наши побаивались заране-то собирать, а то дитё не выживет.

Заприметив в Аниных руках сросшийся огурец, бабка поспешила отобрать.

– На что тебе двойня-то? Хоть бы с одним для начала справилась.

Оберегая Аннушку, спровадила Лизавета кота Фомку харчеваться на другой конец хутора к деду Гераське. Но обиженный кот выскальзывал даже через дымоход. Изрядно почистив своей белогористой шерстью дедову трубу, он, как ни в чём не бывало, к вечеру, возвратился восвояси, на Лизкино подворье.

– Сущий сотан! – приговаривала Лизавета, окуная кота в кадушку с дождевой водой и натирая хозяйственным мылом.

Кот дико орал и вырывался. Аннушка заспешила на помощь, но повитуха запротестовала.

– Ишь чего удумала! Я ж тебе сказывала: не след на сносях к зверью прикасаться, а пуще того – гладить.

Через облетающий осинник от Лизаветиной хатёнки виднелись покосившиеся кресты и оградки заброшенного погоста. Как-то спозаранку, прихватив мотыжку да грабельки, отправилась бабка «могилочки на зиму прибрать». Поскучав до полудня на дворе, Аннушка поспешила покликать бабку домой. Только к воротам кладбищенским приблизилась, выскакивает Лизавета, да ну правнучку чистить!

– Али ты совсем ополоумела! Кто ж с нерожденным дитяткой к заупокойникам ходит? Чтоб ноги твоей за версту от погоста не было! Тебе куда сказано поболее заглядывать?

– Да помню, помню я, бабуль!

– А коли помнишь, так и ходи, на красоты нашенские любуйся. Бог даст, девчушка видной да здоровой народится.

– С чего это ты решила, что у меня девочка? – засомневалась Аннушка. – Митя сына хочет.

– Мало чего Митрий твой хочет! Кого сделал, того и получит! – выпалила, не моргнув, бабка.

Аннушка откинула шаль.

– Все приметы на девку указывают: и пополнела ты не в меру, и живот округленный. А помнишь, я у тебя спросила, кого, мол, поджидаешь? Дак ты сконфузилась, покраснелась – верный признак, девка ... Не сумливайси, ещё не разу на своём веку не ошиблась. Вот кабы ты не законфузилась да пузо-то «тычком» вышло, тады уж точно – малай, а у тебя, ты уж поверь старой повитухе, – девка, как есть девка.

– УЗИ, – заспорила Аннушка, – показывает мальчика.

– УЗИ, бузи! Я тебе что говорю? Девка! Вот придет ноне к соседке внучонок Колька, я призову, проверим, коли сумливаешься.

– Это ж как проверим? – насторожилась Аня.

– А вот увидишь. Опосля с бабкой спорить-то и не станешь, – ухмыльнулась Лизавета.

К вечеру привела пятилетнего Кольку, усадила за стол, а на скатерти разложила напёрсток, трубку, платок и кнут.

– Ну-ка, Кольша, выбери, что приглянулось, – попросила она мальчика.

Не раздумывая, Колька потянулся за напёрстком.

– А я что сказывала, – торжествовала бабка, – девка у тебя, девка! Бабья это вещичка-то!

– Технику не обманешь! – пыталась сопротивляться Аннушка. Уж так ей хотелось угодить мужу.

В последних числах сентября примчался Дмитрий, доложил, что ремонт городской квартиры, который он затеял месяц тому назад, наконец-то закончен. Надо срочно возвращаться, уже и врач из поликлиники обзвонив телефон, устраивает разнос за разном: мол, куда роженицу подевал.

– На ночь глядя на сносях в путь не отправляются. Вот завтра с утра и тронетесь, – решительно заявила бабка.

Внимательно посмотрела на Аннушку, и, ничего более не добавив, шмыгнула в чулан. Вернувшись, сложила стопкой принесённое бельё, юбку да кофточку сатиновую. Всё чистое, сундуковое. Избёнку молча до чиста вымыла, выскоблила. Покуда молодые вечерили (правнучке бабка подала бруснику в молоке, «чтобы дитячко родилось румяным да белым телом»), потонула в светёлку, под Анину подушку положила (от нечистой силы) нож, три слепленных вместе восковых свечи да травок, каких следует. В горенке приставила ухват рогами к печи да перекрестила загнетку.

А как спать идти, заглянула к Аннушке в светёлку (молодые обустроились на летней половине, ещё тепло, в горнице душно). Виктор до темна возился на подворье с машиной, мешать разговоры некому, а потому бабка без окольных путей, напрямки подступила к Аннушке.

– А что же, девонька, во Господа-то веруешь?

– Верую, бабушка, как не веровать!

Анюта вспомнила, как перед самой свадьбой неожиданно для родителей пошла она в Афанасьевскую к отцу Мефодию, долго толковала с ним, а на Воздвижение окрестил её батюшка. Поздравляя, заметил, мол, в Велик день стала ты Анна христианкой, ныне кресты на церквях да по обочицам дорог водружают, и у тебя с сего дня на груди наш православный крестик. Береги, никогда не снимай.

– Ну, коли во Христа веруешь, так и помолиться бы нам нынче совместно не худо. Общая молитва-то она посильнее будет. Глядишь, и расслышат её небеса. Падём к стопам Великомученицы Анастасии, именуемой Узореши-тельница, ниспросим подаания тебе помощи да сил в родах, а ребяточку благополучного появления на свет Божий.

Показавшийся на пороге Митя прикрыл дверь и удалился в сени. Обнажив перед образами двух женщин – престарелую повитуху, принявшую на руки не один десяток младенцев, его прабабку, и молодую жену, ожидавшую первенца, не посмел он нарушить таинства, совершаемого ими накануне появления долгожданного ребёнка.

Присев на завалинку, не заметил он, как погрузился в сон. Но долго ещё вслушивалась дремотная сентябрьская тишь в доносившийся из-за тюлевой занавески шёпот, не разбирая уже, где Лизаветин, где Аннушкин.

И если бы вышел в ту пору на другом урынке дед Гераська перекурить илидохнуть свежими воздушными, даже он разглядел бы подслеповатыми своими глазами тончайший, но пронзительный сноп света, поднимающийся прямо над Лизаветиной хатой и устремляющийся, прорезая павшее на хутор небо, в непроглядные выси, разыскивая в небесах Господних Богородицу и Пресвятую Анастасию.

Томная ли сентябрьская ночь, кот ли Фомка нашкодил, стянул тряпицу с надтреснутой молочной махотки, забытой на лавке под вязом. Пролилось пахучее козье парное, а быть может, и не оно это вовсе, а кипящее, булькающее повитухино зелье. И растеклось, разбежалось курящимся ручейком в Гаврюшину долину, слилось-заклубилось с приречными туманами, и, развернувшись в Стёпкиной колдобине, могучими валами беззвучно возвратилось к Лизкиной избушке. Первозданная... первородная тишь... словно накануне чего-то великого. Чего? О том в эти минуты догадывалась, а может, наверняка знала древняя повитуха.

Видать, потому и не спалось ей в эту ночь, вовсе не ложилась. Чем занималась бабка в своей горенке, один Бог ведал. И если бы у деда Гераськи не поделился самосад, и он вышел бы курнуть второй раз, перед зарёй, то услышал бы, как клеточнул колодезный журавель, как, звякнув цепью, хлюпнула бадья в Мишурином колодце, как с Лизкиного подворья, со стороны бани, несколько раз глухо ударил колун, как защёлкал ему в ответ лёгонький топорик, и снова всё стихло. Но спустя полчаса заметил бы дед, как из ветхой трубы повитухиной баньки на поблёкший небесный сатинчик поползли перламутровые дымки. Потянуло рябиновыми дровишками (чтоб нечистого отогнать), дубнячком (для крепости здоровья), берёзовыми смолками (для красоты), Бог весть ещё какими ароматами. Баньку для важного дела, затевавшегося в повитухиной хате, топить надобно умеючи. Сколько таких-то парилок на своём веку подготовила повивалка, уж и со счёту сбилась. Да и не важно! Главное, чтобы и на этот раз (может, на Лизкином веку последний) всё разрешилось благополучно.

Как только над Лазоревым лугом разродилась ранняя заря, в светёлке слышался шёпот, Аннушкины стоны, и босиком, застёгивая на ходу рубашу, в горницу рванулся Митя.

– Началось! – только успел выпалить, как послышался громкий Аннушкин крик.

Митя поразился, как неспешно встала Лизавета с колен, перекрестилась три раза на образа и, обернувшись к правнуку, промолвила: «Ну и в добрый час! Всю ночь дожидаясь».

Глядя на бабу, на её неспешные, уверенные движения, будущий отец почувствовал, как душа его настраивается на такой же лад, невольно подумал: «Только бы Аня выдержала, а бабка не подведёт!»

– Не мутусись! Не мутусись! – осадила Лизавета Дмитрия. Говорю ж тебе, с вечера сготовилась, дожидаясь.

Только тут заметил правнук, что бабка переделалась во всё свежее, на ногах новые ходоки, на лавке стопою чистые простыни и полотенца.

– Я – к Аннушке, а ты – за соседкой Митривной, – решительно скомандовала бабка, – надоть, чтобы пособила, да и бабонька она счастливая, такую до роженицы допустить не грех. Да, забеги-ка в баньку, отнеси полотенца.

Митя как был, босой, метнулся под гору за Митриной, полагаясь всем сердцем на повитуху. А что ему оставалось делать? На десять вёрст ни души в деревнях, до райбольницы уже не поспеть. Бабка Лиза сейчас и главврач, и гинеколог, и акушерка в одном лице. Ей и карты в руки.

Лизавета считала, что в момент появления нового человека на свет грань между потусторонним миром и миром людей так тонка, что беспрепятственно пропускает через себя всяческую нечисть. А потому не гнушалась она в своём деле сполна употреблять особые, только ей ведомые сакральные слова и ритуалы. Старая повитуха в глубине души верила, что, давая жизнь новому существу, роженица переставала существовать как просто человек. Она сама возрождалась уже как плодородная мати. И, конечно, это был совершенно особый момент в её земной жизни, берущий истоки в чём-то древнем, неведомо-магическом. И, чувствуя это, повитуха старалась сдобрить роды христианской символикой, соблюдая этот обряд при появлении каждого принятого ею на свет младенца. Материнство для Лизаветы давно стало священным понятием, а беременность и роды наиважнейшими периодами в жизни женщины. Согласно народной традиции, повивалка искренне верила, что является посланницей Божьей Матери при беременной, и с готовностью соблюдала свои обязанности. При этом (что греха таить?) чуток хитрила, стараясь придать побольше загадочности появлению на свет нового создания, человека, которого прежде не существовало.

Уже несколько суток и до этого ходила Аннушка по светёлке в одной сорочке, что соответствовало прабабкиному «раздеванию» беременной. И серёжки и кольца удалили в шкапулку.

Этой же ночью Лизавета открыла в избе всё, что было заперто: сундуки и окна, двери и печные заслонки, даже в кладовке и чулане были распахнуты лари и шкафы. Всё, что завязано и застёгнуто, развязывалось и растёгивалось. Пряжки и пуговицы, пояса и всевозможные узелки-узелочки. Бабка шныряла по избушке, приговаривала: «Кована дверь, железны ворота, отоприте засов. Каменна гора, золотые купола, святые кресты, Господи, благослови, воды проткни, роды начни, кого Бог даёт. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

Порядком подустав, уселась она на сундук, размышляя вслух: «Ну, коли дело наперекосяк пойдёт, прикажу Митрию, хоть не ближен свет, а в церкву к отцу Макарию всё ж таки слетать. Пушай не прогневается, откроит уж и Царские ворота, как испокон веку повелось». Загодя попросила она у правнуков прощения, коли в чём обидела, и они, по неписанному закону ответили тем же. Вот и ладно... Вот и хорошо...

Повивальница вынула из печи чугунок с утомившимися травами, отнесла в баньку и только потом отправилась во светёлку. Всё это время она прислушивалась к нарастающим стонам правнучки.

Переступив, наконец, порог светёлки, повитуха поклонилась: «Помогай Бог трудиться!» Осмотрела Аннушку, оценила положение дел и поспешила растворить окно. Зажгла Пасхальную свечу у иконы, что стояла на тесовой полочке в головах правнучкиной постели. Подала Аннушке испить крещенской водицы и принялась расплетать роженице косу.

Ане не сиделось на месте. Поддерживаемая бабкой, бедняжка ходила из угла в угол, хваталась за поясницу и охала. Повитуха массировала «болезной» смазанную заячьей желчью поясницу; руками, перепачканными козьем салом и соком пырея, гладила по животу, приговаривала: «Христос родился, и мы младенца ждём. Аминь». Выждав время, подала роженице кружку с

водой, в которой заранее сварила два яйца, на донышке чернели угольки. Аннушка с недоверием взглянула на питьё, но перечить не стала, не до того. Хоть бы что-нибудь помогло снять разламывающую спину боль.

– Испей, милая, не сумливайся, – подтолкнула бабка Аннушку.

Покуда в бане протапливалась печурка, Лизка тщательно (не дай Бог, какой упустит!) собирала в миску выскакивающие из неё угольки. Этой-то «водой с углей» и поила повитуха Анюту, надеясь облегчить предродовые страдания и «выкликнуть младенца».

Наконец, решив, что время не терпит, пора перебираться в баню, бабка трижды обвела босую Аню вокруг стола, перекрестившись, напоследок поклонилась на образа, и, перевалив кое-как порог, остановилась.

– Повторяй, Аннушка, за мною вослед:

«Стану, благославлясь, пойду перекрестясь,
Из избы дверьми, из двора воротами,
Во чистое поле, во синее море.
Есть там у Христа на престоле
сидит Пресвятая Матерь Богородица,
держит золотые ключи,
отмыкает мясные ларцы,
отпускает младенца из плоти, из утробы;
отпускает младенца из плоти, из горячей крови,
чтобы не чують ни щипоты, ни ломоты, аминь».

С божьей помощью, преодолевая схватки, Аня следовала за бабкиными словами.

Закончив обряд, двинулись в «сомлевшую парильню».

Завидев правнука с неспевавшей за ним Митривной, Лизка отвлеклась на мгновение от роженицы.

– Тебе там на столе кушанье приготовлено. Приступай. Да смотри у меня! Всё до крошки подчисти, а не то будешь знать, как старших не слушать! – крикнула повитуха Мите и поманила Митривну: поспешай, кумушка, недосуг теперя. Ай, забыла, как помогала мне?

На пороге бани Лизавета вынула из кармана фартука два крошечных корешка. Подоспевшая Митривна, на удивление Аннушки, затянула:

«Коли б знала баба,
Что такое одолень-травка, вшивала бы в пояс
И носила б на себе...»

Лизавета протянула Аннушке наговоренные корешки.

– Съешь, девонька, полегчает.

– Не помереть бы, очень уж невзрачные, – только и промолвила роженица.

– Пустое, милая. Травка-то, одоленьюшка, знатная, кувшинка белая. Не одна баба испытала её вспоможенье.

Добрались, наконец, до парной. Полки и пол её Лизавета устелила сеном. Дохнуло мятным квасом, анисом. Баба, оставив Аннушку в одной рубахе передохнуть на скамье, окропила святой водой углы и стены баньки, окурила ладаном, приговаривая:

«Распростай, Господи, одну душу грешную, а другую безгрешную. Отпусти, Господи, душу на покаяние, а младенца на крест».

Бедной Аннушке было не до удивлений, не до бабкиных присказок.

– Протяни, голубка, руку к подоконнику. На ём коробочек с чисточет-верговой солью. Положи щепоть в рот, глядишь, поотпустит, – посоветовала повивалка. Сама же кружила вокруг Аннушки, выкрикивая:

«Отпирайте! Отпирайте! Отперли! Отперли!

Запрягайте! Запрягайте! Поезжайте! Поезжайте!

Поехали! Поехали! Едут! Едут!»

Аннушка застонала так неистово, что бабка заторопилась, подскочила к бадейке, стоявшей на припечке, плеснула в неё водицы речной из ведёрка, которое обновила ранёхонько по утру, набирая, как полагается, горстями да по течению, присчитывая: «Не одна, не две, не три... не девять». Погрузив в ведро правую руку и, зачерпнув там опять же горстью воду, повитуха слила её по руке через правый локоть в ушат, приговаривая: «Как вода на локте не держится, так на рабе Божьей на Аннушке – ни уроки, ни призоры не держитесь!» Оставшуюся в ушате воду бабка вылила на голову роженице. Наполнив ковшик настоем из цветков ржи, склонилась над ним так низко, что Аня сквозь усиливающиеся схватки едва различила:

«Во имя Отца и сына и Святого духа.

Из города Иерусалима идёт Иисус Христос.

Мати родила сына Иисуса Христа,

Ни болевши, ни стонавши и люди

Не слыхавши. Так бы роженице

Божьей Анне родить младенца

Ни стонавши, ни болевши и люди не слыхавши!»

Повивалка поднесла наговорённую воду правнучке. Аня, содрогаясь от боли, стуча зубами о ковшик и разливая на рубаху воду, с горем пополам выпила до дна. Лизавета подтолкнула её склониться, опереться о полок.

Схватки следовали одна за другой, Аннушка не успевала их контролировать, беспрестанно кричала от нарастающей боли. Тогда повивалка, не долго думая, положила одну руку на слипшиеся правнучкины волосы, на самую макушку, а другой, схватив с каменьев прокалённый кухонный нож, чтобы пресечь чрезмерные боли, завжикала им над головой роженицы. Подхватив пучок Аниных волос, бабка поднесла их ко рту бедняжки: «Зажми меж зубов, милая! Погоди чуток, не тужься, поягай!»

Поддерживая под локотки, повитуха и Митривна уложили роженицу на полок. Лизка принялась растирать, хлестать её берёзовым веником, а кума Митривна подпевать:

«Идёт красна девка с сухим веником.

Тушит-гасит банную нечисть – все сухватки и боли!

Как у этого веника листки опадут,

так и сухватки и боли пропадут!»

На минутку-другую оставляла Лизавета роженицу в покое, плескала по три раза на каменку воду, настоящую на капустном листе да луковой шелухе, и принималась за своё:

«Мою я рабу Божию Аннушку во жару, во пару!

Как идёт из каменки жар, а из дымника пар,

Так бы сходили бы рабы Божьей Аннушки все скорби и боли!»

И опять поднесла Митривна Ане какое-то питьё. Бедняга приняла и его. Только, видать, не пошло то зелье впрок, вывернуло всю душечку на изнанку.

– Отравить меня вздумали, старые, – закричала, не помня себя Аннушка.

– Господь с тобою, страдальца! Всё тебе на помощь! – не дрогнула повивалка. Зажгла свечу, припасённую с Велика Дня: – Пока свеча догорит, тут и родишь!

И в два голоса завели Анины спасительницы самую крайнюю, самую важную молитву: «...бабушка Соломонида, приложи рученьки, приложи рученьки рабе Божьей Анне!»

Влетев в горенку, Митя обнаружил на столе испеченный накануне хлеб, щедро нарезанную краюху. Ломти её круто посыпаны крупнозернистой солью, от души намазаны забористой горчицей, сполна сдобрены ядрёным хреном. Кроме непривычных бутербродов Митя ничего не обнаружил. «Вот так обедец! Ну и бабка!» – подивился будущий отец, уселся за стол и принялся за горькую трапезу. Что поделать? Сейчас он находился во власти повитухи. Прикажет та землю есть – даже не моргнёт, за милую душу съест, да ещё попросит, только бы хоть чем-нибудь облегчить страдания измученной жены.

Как и предвидела повивалка, на исходе свечи Аннушка разрешилась девочкой. Для этого момента приготовила Лизка нестиранную Митину рубашу. Подхватила на неё младенца, передала Митривне. А сама, отмерив расстояние в три пальца от крохотного животика, не робея, резанула. Взяла собранные заранее с Аниной расчёски волосы и, нащёптывая неведомые даже Митривне заговоры, перевязала ими пуповину. Веря, что через неё можно нанести вред и матери и ребёнку, бабка никому не доверяла и каждый раз собственноручно относила пуповину на Божницу.

Митя, вышагивавший с утра не счесть какие круги по подворью, услышав детский плач, перекрестился: «Слава тебе, Боже! – Подивился: – А голос-то, голос какой!»

Уложив новорожденную на полотенце, повитуха поднесла ребёнка к матери.

– Погляди, мамонька, на дитятко. И рученьки целы, и ноженьки, – доложила Лизка, подходя к Аннушке поближе, чтобы та смогла заглянуть малышке в глазки, устанавливая в этот момент неразрывную духовную связь между матерью и её ребёнком.

Аннушка чуть заметно улыбнулась. Обессиленные руки её не могли дотянуться до малышки. Повитуха на минутку положила новорожденную рядом. По щекам молодой матери текли слёзы. Не родовые, вымученные нестерпимой болью, а счастливые, слёзы женщины, только что взглянувшей на своего первенца.

Наконец, прикрыв Аннушку простынью и оставив до поры отдыхать, бабки занялись ребёнком.

Митривна безропотно следовала Лизкиным указаниям. Да она и сама, «ассистируя» повитухе неведомо какой раз, немало помнила, могла бы стать знатной повитухой. Но, как полагалось, повивалка в округе должна быть только одна. А потому Митривна на рожон не лезла, добротню знала дело при своей куме, повитухе Лизке. Та и оглянуться не успела, как её помощница подготовила всё необходимое, чтобы очистить дитя от «родовой скверны», защитить от нечистой силы и сглаза.

Прежде чем новорожденную уложили на соседний с матерью полук и начали парить, бабка, склонилась над животиком ребёнка, выговаривая у него грыжу:

«Стану я благословясь, выйду я, перекрестясь, из дверей в двери, из ворот в ворота, выйду я в чисто поле. В чистом поле океан-море. В океане-море синий камень, под синим камнем синяя щука, зашипывает и закусывает двенадцать грыж...» Большое место, а для профилактики и все остальные, в которых могла находиться грыжа, повитуха покрыла платком, и легонько поприкусывала, «изгрызла»: «Грыжу загрызаю, родимую грыжу на родимом месте: головную, сердцевую, пуповую, паховую. Не дам загрызгать, не дам заедать ни медведям, ни волкам, ни третьим – собакам».

На каждую минутку родов повитуха знала свою молитву, свою присказку или наговор. В полудрёме слушала обессилевшая Аннушка её ласковое воркованье:

«Бабушка Соломоньюшка Христа парила да и нам парку оставила. Господи, благослови! Ручки, растите, толстейте, ядренеите; ножки, ходите, своё тело носите; язык, говори, свою голову корми».

Митривна хлопотала вокруг, подпевала в лад:

«Бабушка Соломоньюшка парила и правила, у Бога милости просила. Не будь седун, будь ходун; банюшки-парушки слушай. Не слушай ни уроков, ни причисев, ни урочицев, ни от худых, ни от добрых, ни от девок пустозвонных. Живи, да толстей, да ядреней».

Смазав руки душистым маслом, настоянном на купальских травах, повивалка уложила ребёнка на спинку, перекрестилась три раза и начала «править», «перепекать» тельце новорожденной. Привязав её к хлебной лопате, повитуха задвинула малышку в тёплую печь, что сложена была на такой случай в предбаннике.

– Пушай чуток дозреет в том миру, из которого появилась, – пояснила бабка.

Слава Богу, Аня находилась в тот час в полузабытьи, не видела, как «лепила» бабка её долгожданное дитяtko. Вынув ребёнка из печи, повитуха уверенными движениями придавала нужную форму крошечной головке её дочери, разминала косточки, вытягивала тельце, распрямляла ручки, ножки. Нашупав в кармане заготовленные серебряные монетки, Лизка уложила их новорожденной праправнучке на глазки, чтобы те «открылись», а чтоб слух «пробудить», не страшась, подняла младенца за уши. Уложив ребёнка к себе на колени, не робея, что повредит, бабка уверенными движениями соединила за спинкой младенчика указательный палец левой руки и правой ноги. Обычно она выполняла эту процедуру дважды в день всю неделю после рождения ребёнка, пока не удавалось добиться необходимой гибкости.

Митривна подала повитухе нож, и та, чикнув воздух меж крохотных ножек, разрежала невидимые пути, якобы стягивавшие ножки ребёнка.

Приподняв девочку над полком, повитуха бережно встряхнула её, до тошно осмотрела со всех сторон и, довольно улыбнувшись, заявила: «Ну, вот и расправлена, теперь уродкой не будешь, девица ты наша красная!»

Она знала наверняка, что Бог дал душу ребёночку в тот момент, когда малыш делал первые движения в утробе матери. Ни одной, даже крохотной, только зачавшейся душечки, не сгубила она на своём веку. Собирая спелые травы в ночь на Ивана Купала, Лизавета обходила стороной, чтобы даже не было соблазна, те, которые способствовали избавлению от беременности. Ни одну бабу спровадила она с порога, выговорив вослед: «Об чём ране-то думала, греховодница, али не знала от чего брюхатеют? Ишь чего захотела, шкодница! Стану я из-за похотницы Ангелу-хранителю перечить. Коли выполнил он Божью волю, мне только помогать ему остаётся. Поди прочь! И думать не думывай!»

Любопытная Митривна, чтобы Аня не расслышала, подступилась к повитухе поближе.

– Приглядись, приглядись, матушка, что там младенчику на судьбе-то прописано.

– Судьбу на телеге не объедешь, – проворчала на помощницу повивалка, – что будет, то будет, того не минуешь, – не любила она этих вопросов.

Лизка знала, что человек имеет только одну судьбу, что она записана Господом в его книге и не может быть никем изменена. Верила она и в то, что прогневавшие Господа родители уготовливают плохую судьбину своему детищу. Добропорядочных же Всевышний награждает счастливыми детками.

Чтобы кума не держала на сердце обиды за резкие слова, повитуха жалилась-таки, рекла: «Сама знаешь: урожай поспел, осень у порога, благодатное время для родов. Знать, и судьба у девчушки задастся. Да к тому же до полудня управились, на подъёме солнечном. Тожить неплохой знак. Опять же «в рубашке» не каждый рождается. Верится мне, что всё у неё сложится, как надо».

Чтобы уберечь праправнучку от детских болезней, голая повитуха с голым ребёнком на руках, произнося заклинания, трижды обошла вокруг бани.

После бабкиной «правки» малышка накричалась, устала и уснула. Митривна спеленала её крепко-накрепко, так, что крохотные щёчки малиновыми яблочками лежали на белоснежной косынке. Ребёнка опоясали свивальным и оставили на жёстком полке, не подостлав ничего кроме сена.

Воду, которой обмывали малышку, вылили снаружи избы на тот её угол, в котором у Лизаветы располагался иконостас. Старались плеснуть повыше, чтобы из новорожденной выросла статная девушка.

Настал Аннушкин черёд.

– Просыпайся, милая, пора мыться – повивалка тронула правнучку за руку.

– Да я и не спала вовсе, придрёмывала только.

Хлопотная Митривна уже тащила бадейку с замоченными травяными венниками. Пахнуло настоем ромашки, тысячелистника, зверобоя.

Повитуха, выхватывая поочерёдно из парящей бадьи то один, то другой, хлестала ими роженицу из последних старушечьих сил. А потом, давая Аннушке передохнуть, вынула из домотканого полотенца краюху, приступила к заговору:

«Как на хлеб, на соль и на камушек ничто не приходит, так бы и на рабицу Божию Анну ничто не приходило: ни порчи, ни прикосы, ни озевы, ни оговоры и никакие скорби. Поставлю я кругом тебя тын железный от земли до неба, от востоку до запада».

Закончив, положила краюху Аннушке за пазуху, под чистую рубаху, в которую её помощница успела облачить роженицу. Затворив двери снаружи и распахнув парилку, в предбаннике снова растопили печку. Теперь в топке полыхал можжевеловый сушняк. Сверху на него навалили зелёного лапника, и по бане поплыл терпкий запах свежести, бодрости, молодости и новизны. Обычно сразу после родов повитуха окуривала и женщину, и ребёнка можжевеловыми дымами.

Из погреба принесла Лизавета глыбочку льда, завернув в рушник, уложила на Аннушкин живот, приставила к роженице Митривну, наказав не упустить время, не застудить маманьку. Заварила свежий чай из венерина башмачка да подмаренника, напоила страдальцу, и та, наконец-то, затихла, уснула.

Выйдя из баньки, Лизавета поманила заждавшегося Митю.

– Ну, Митрий, с Божьей помощью разрешилась Аннушка. С новорожденной тебя! С дочерью, значит! Не шибко тоскуй, сначала – нянька, потом – лялька.

– Вот и я так думаю. Ещё сыновей-то нарожаем! – захорохорился правнук.

– Ишь, рожальщик нашёлся! – усмехнулась бабка. – Пожалела я тебя, хренком-горчичкой накормила, а надоть было, как в старинку: баба мучается, в руках верёвочку держит, не выпускает, а та-та верёвочка к игрушке мужниной, чем сынов строгают, привязана. Жена в муках корчится, а мужу не сладко. А то ить моду взяли: им, значить, малина, а жёнам кислица!

– Да это я от радости, бабуль! Что ты в самом деле! – засмущался Дмитрий.

– Ну, коли так, прощаю, – улыбнулась Лизавета, – давай-ка к Петровне рысью. Люлька моя у ей зажилась. Внучка ихняя уж кой год бёгом бегаёт. За ненадобностью вещица простаивает. А нам в аккурат ко времени.

В матицу, поближе к печке, лет семьдесят назад, а то и более, вкрутили по указанию Лизаветы выкованное кузнецом Данилой кольцо. Сколько раз на бабкином веку подвешивалась к нему люлька – не счесть, как не счесть и деток, принятых руками древней повитухи.

Может быть, последний раз довелось ей присутствовать при извечном чуде – появлении на свет младенца. И случай этот особый, редкостный. Ребёночек – праправнучка!

На другой день, обустроив колыбельку и переведя Аннушку в горницу, бабка достала из сундука Святцы, и, напавив (для пущей зоркости) одни

очки на другие, погрузилась в чтение. Спустя некоторое время, приняв, вероятно, для себя решение, повела с молодыми родителями беседу.

– Ну, и как же вы девицу наречёте? Задумывались, ай нет?

– Митя никак не определится, каждый час новое имя предлагает, а я так думаю: Елизавета, – твёрдо заявила Аннушка. – Обязана я тебе, баба Лиза. Спасительница ты моя, в твою честь и девочку назовём.

– Оно, конечно, спасибо, уважили старую. Только народ мы православный, и не след от отцовских обычаев отступаться. В праздник малышка рождена. Чтимы в день её появления на свет Божий, тридцатого сентября, Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья. Одно из этих имён и выбрать следует.

– Тогда и размышлять нечего – Любовь, – заспешил Митя.

– Ну, что же, так тому и быть! Сильное имя, обзывающее. Всё в мире и сам этот мир, появились по великой любви. Пусть будет на земле нашей грешной её как можно больше... Да с крещением-то не запаздывайте! Всё спокойней, коли дитятко Ангелом-хранителем защищено.

Через неделю Аннушка, Митя и маленькая Любаша распрощались со старой повитухой. Всё это время они уговаривали переехать Лизавету к ним, но несговорная бабка твердила одно: «А вдруг я ещё кому понадоблюсь? Вдруг кто рожать вздумает, а меня на месте не окажется?» «Ну, разве Митришна с Петровной без тебя не разродятся!» – настаивал, подшучивая, правнук. Но коли Лизавета что задумала, так ничем её уж не сговорить.

На второй день Рождества, в Собор Пресвятой Богородицы, прикатили они, как и обещали, к Лизавете в гости, на профессиональный повитушечий праздник, на «Бабы каши». Навезли ей пирогов и всяческих подарков. А самый главный – икону Богородицы «Помощь в родах».

Гоняли чай под хруст январского морозца и беспристанное гулюканье Любашки. Баба Лиза в этот день была, как никогда, разговорчива и поведала молодым, как бывало на Бабин день ещё до восхода солнца обходила она всех маленьких деток, рождению которых она помогала. Окропляла их Святой водой, смазывала лобики елеем и мёдом, чтобы жизнь была сладкой, благословляла. А потом в повитухиной хате гуляло широкое застолье, настоящее веселье, на котором бабку-повивалку в корзине мужики носили на речку, где она мылась в полынье, «очищалась», готовилась принимать новых младенцев.

Лизавета опытным глазом сразу уловила: дитё у правнуков растёт крепеньким, здоровым. Обязала девочку льняной верёвочкой-пояском.

– Как поясок длинён, так жить тебе; как поясок белой, так быть тебе; рая видать, а в горестях не бывать!.. Ну, теперь и отойти можно, – заявила спокойно бабка.

– На какой это покой ты собралась? А Любашку кто замуж сготовит? – запротестовала Аннушка.

– Зажилась я, милаи... Дак я смерти-то не боюсь...

Верно ли, нет, только сказывают, что на том свете повитуха не понесёт тех испытаний, что предназначены грешным людям, потому что за неё молятся ею принятые дети, и Бог снисходит к тем молитвам.



ИЮНЬСКИМ ВЕЧЕРОМ



Окошко растворяется и рисованные красногрудые петушки на голубых ставнях разлетаются ещё дальше в стороны. Из-за тюлевой занавески слышится: «Настёна! Зорьку не прогляди!» Мама выглянуть не может, руки у неё в муке – пирог к завтраму, на Васяткины именины затеяла.

Настя оставляет под яблонькой на лоскутном одеяле читанные-перечитанные Афанасьевские сказки, поддёргивает на Васятке штанишки, разворачивает и суёт ему за щёку барбариску.

– Пойдём Зорьку с Бурчиком встречать, – командует брату.

Четырёхлетний Василёк, натягивает задом наперёд панамку и поспешает с сестрой за околицу.

Вечер тёплый, ласковый, и пыль на просёлке такая шёлковая, что хочется шлёпать и шлёпать по ней босыми ногами, идти и идти. До Кривой балки, до Стёпкина оврага, до самых дальних покосов. Но туда нельзя. Мамка заругает. Да и не успеешь моргнуть, как совсем свечереет. А там и облудиться ничего не стоит. Туманы-то у нас – о-го-го, что молоко козье – густые, душные.

Настя и Васятка выходят за деревню и усаживаются в ожидании стада на поваленную корягу. В прошлом году молнией спалило старую ракушку. Недогоревший толстенный сук ребяшня приспособила под лавочку. Встречая скотину, по вечерам здесь собирается детвора. Но сегодня – никого. Только Настя, Василёк да коростели на болотце. Скрипят, словно дед Михей на телеге несмазанной катит. Вот от Дуськиного сада отъехал, вот на пойме поскрипывает, а вот уж почти и не слышать – где-то у Стёшкина мосточка тоношенько выводит.

– На завтра опять жарень. Вишь, Васятка, небушко над хутором Степным калиновое, словно море бабулин, ни тучки, ни облачка, – поясняет Настёнка.

Восток погружается в полумрак. Лохмотья его чернильными пятнами расплываются по небесной глади, тянутся тончайшей дымчатой кисеей к югу, к северу. И только запад полыхает жарким костровищем.

Настёна сламывает две хворостинки. Одну себе – Зорьку залучить, вторую, покороче, Васятке – Бурчика подхлестнуть.

Из заречных лозняков пастухи выгоняют стадо. Настя вынимает из кармана присоленный ломоть ржаного.

– Угости телёночка, – протягивает кусочек Васе, – он и слушаться тебя станет.

Стадо ныряет под горочку, не видать. Но уже чувствуется неясный глухой шум. Настя прикладывает ладошки к ушам, Василёк повторяет за ней – закрывает свои. Но гул от приближающегося стада передаётся по земле. И ребятишки ногами ощущают мерную поступь тяжёлых животных.

– Идут! Идут! – кричит Васятка.

И из невидимого Большого лога сначала расплывчато, а затем всё яснее и яснее выступает кудрявистая башка быка Бугая. За ним проявляется норо-

вистая мосластая Груня. Крупные животные, будоража улёгшуюся к ночи пыль, ступают споро и ходко по натоптаным, набитым с апреля тропам.

Одна за другой, вереницами надвигаются они на околицу. Разномастные. Есть среди них аккуратные полумерки, белые с рыжими подпалинами – стройные, тонконогие южанки. Но большинство – дебёлые чёрно-белые коровицы, неповоротные, с лохматыми тумбами-ножищами, завезённые откуда-то с запада.

Вместе с ними на деревню снежным валом накатывает туман. Мимо ребят проплывают палевые, белые, чёрные, рыжие пятна, коров почти не видеть. Лишь изредка возникает то одна, то другая морда. Соседская Ласточка, следуя мимо, мымыкает, но, признав Настёнку, задерживается на мгновение, тянется за хлебушком. Как не угостить! Ласточка лижет ладонь шершавистым языком, будто наждаком. Обслюнявливает Настину руку, вздыхает, мол, маловато будет, и важно удаляется ко двору.

Коровы тают, растворяются, но чёткой остаётся дрожь земли, размеренная поступь стада. Она вваливается волной на затихающие улицы, и вот уже слышатся бабьи окрики: «Звёздочка! Звёздочка! Милка! Милка! Да куды ж ты, блудная, запропостилася!»

– Ну, подманивай своего Сивку-Бурку, – шепчет братцу Настёна.

Васятка протягивает хлебец, зовёт бычка, припомнив, как это делает бабуля: «Бурчик! Буренька! Пойдём домой, родимай!»

Показывается слюнявая Буркина мордочка.

Зорька тыкается в Настёнины ладошки, жуёт краюшку, перекладывает за щёку и, не сбавляя ход, мычит, вытянув морду в сторону своего подворья.

Настя улыбается, треплет коровку по холке, заворачивает полусонного Бурчика. Набрыкавшись за долгий июньский день, тот не в силах шалить, смирно токает следом за степенной мамашей, принохивается к распёртому, тяжеленному вымени, от которого куда как заманчиво пахнет.

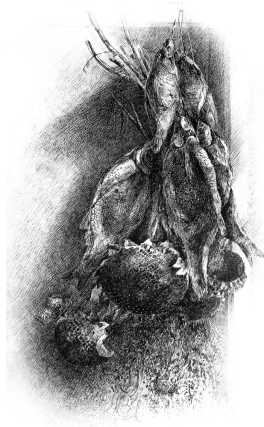
Наконец, хозяйки разбирают кормилиц, циркуют о подойники вечёришником. Пыль опадает на росные подорожники, деревня угоманивается. Но запах молока, запах разгорячённого стада ещё долго плывёт по закоулкам.

Бабуля процеживает удой, сдувает пену. Ставит на стол две кружки: перед Настёной красненькую в горошек, а перед Васей – синенькую с золотой пчёлкой.

– Помочники мои безотказные! Пейте на здоровьице. Нынче молочко душицей пахнет. Видать, Петро в Ярочкиной балке пас. Там травки этой видимо-невидимо. От сорока болестей. Пейте, силушки набирайтесь.



ГОЛУБОЙ ПЛЁС



«Утренний часок самый сладкий», – шепчет баба Луша. Склоняется над Гришуткой, приглаживает шершавой ладонью непокорные, выгоревшие, словно песок на Голубом плёсе, кудряшки. Чмокает внука, поправляет сползшее на половик одеяло, шикает на закашлявшего деда.

Но Гришутке уже не спится. Открывает глаза. Никого...

Бабушки полгода как не стало. Преставилась в самые холода, под зимнего Николу. Хворала. «Мне бы только до травки...» – шептала бабуля пересохшими губами склонявшейся над ней младшей сестре Марусе.

Гришутка с рождения спал с бабой Лушей за ситцевой, в крупный огурец, занавеской. До сих пор от подушки пахнет бабушкиными, сполоснутыми мятным квасом, волосами.

По ночам является она внуку во сне. Всё в той же вязаной шерстяной кофточке с карманчиком. В нём для Гриши – то маковая розовая сушка сыщется, то барбариска, а то горсть орешков «от белочки». Снится она в том же штапельном платочке – по белу полю россыпью спелое просо ...

Присядет на краешек, запоёт, как бывало:

«Шапка-татарка
С городу летела,
Князя накрыла.
Князь, не печальси!
Твоя жена Марья
Породила сына.
Сын Максим –
Пятьдесят аршин».

Так и спит Гришутка всю ночь под бабы Лушины побасенки...

Как не стало её, повадился спать с мальчишкой кот Пехтерь. Всё бы ничего – живая душа рядом, только очень уж чистоplotен. Ни свет ни заря очнётся, усядется в ногах и начнёт умываться. Вытянет растопыренную лапку, вылизжет, облизнявит и давай ею то за одним, то за другим ухом натирать. Так чмокает, что спасу нет! Пройдётся напослед мокрым шершавым языком по длинной, волнистой шёрстке на брюхе, причешет, пригладит – гребень не нужен, и, довольный, заперебирает-затянет свои котовские мурлыки.

У Гришутки, пока Пехтерь умывается, весь сон улетучивается. Приучил мальчишку котейка подниматься ни свет ни заря. Полежит, полежит пацанё-

нок, штанишки натянет и – к деду Степану Кузьмичу на сеновал.

– Дедунь, вставай! За окуньками обещался!

А Кузьмич давно уж на бахче. Червяков копает.

– Вот анчибелы! – сердится он на кур. – Сыскали жестянку, что вчёрась заготовил. Листок капустной скинули, всех и порешили. Ну, ничего, свеженьких, жирненьких десятка три насбирал.

Дед идёт с бахчи. За ним гомонят куры – подлётывают, стараются выхватить из банки червячка.

– Одолели оглоеды! Чисто басурманы, – отбивается Степан Кузьмич. – Вот тебе, Григорий, – так он называет Гришутку для важности момента, – дождевики на сохранность. Обожди-ка на крыльце, я мигом.

Уложив «провиант» и прихватив пару ореховых удочек, рыбаки отправляются на Голубой плёс.

Не раз слышал мальчишка от деда Степана о том, что есть на земле много мест, где можно всласть порыбачить. Но пока у семилетнего пацана из затерявшейся в мелколесной России Сарафановки рыбалка проходит на пронырном вдоль и поперёк мелководном плёсе.

Сарафановские смотрят на жизнь, бурлящую в райцентре, через этот плёс, через его туманы, вслед заречному просёлку, ускользающему прожаренной степью в непроглядные дали.

Детство Гришутки совпало с большими потрясениями в стране, которые, как прибрежные ивы, отражающиеся в водах плёса, отразились на и без того никомушней жизни маленькой деревушки.

Растащили на мелкие хозяйства колхоз. Отец Гришутки, тракторист Пётр Касьянов, подался в столицу на заработки.

– Ну, Григорий Петрович, остаёшься за главного. Мамке помогай. За кроликами приглядывай. Да смотри, траву-то загодя рви, подвялюю давай. Милку из стада встречай. Коз-прозук с бакши гони... Такие вот дела, сынок... Надо сдюжить... Подработаю, в район съедем. И тебе в школу далековато, и нам здесь жить нечем.

Не до рыбалки Петру Касьянову. Месяц как уехал, оставив на попечение Гришутки мать и хозяйство, а самого мальчонку – на пригляд престарелого деда Степана.

Ребятишек в Сарафановке, кроме Гриши, – ни души. Скучно... Деваться некуда – подружился пацан с дедом Степаном.

На самом деле и не дед он мальчишке – прадед. Дед Алексей погиб на пожаре. Бабушка Луша не любила вспоминать об этом. Но паренёк кое-что выпытал.

Однажды, когда отец Гришутки и в школу ещё не ходил, а тётя Надя только в пятом была, разыгралась страшная гроза. Бубушка Луша с детьми упала на пол в сенцах да так и лежала, от страха подняться не могла. На улице из-за молний синё стало. Шарахнуло над фермами. Загорелся колхозный телятник, а в нём – первогодки. Дед Алексей рванул спасать. Теляток вызволил, а сам не успел, крыша рухнула.

Поднимала баба Луша деток одна. Дед Степан помогал управляться. Теперь вот за правнуком доглядывает...

Солнце ещё не объявилось, лишь просветлел краешек Митрохина лога, когда старый да малый вышли со двора. Зарозовело, вспенилось гречишное поле. Взялся жаворонок над просёлком, не успевшем остыть за крохотную июльскую ночь.

– Спозаранку трудится. Знать, опять дождя не будет, – рассуждал дед Степан, всматривался в высь, старался разглядеть подслеповатыми глазами неугомонного певца. – Пташку эту «юлой» кличут. Взмывает аж до сотни метров. А как тянет! Не сорвётся, шельмец! Ни тебе резкого звука, ни вскрика. Чистенько ведёт: «Юль – юль – юль!»

Гришутка прислушивается: кажется, крохотный хрустальный колокольчик звенит-заливается.

– И как он только не уморится! Без передыху день денской заоливает, – удивляется мальчик.

За околицей – мама навстречу. Спроварила Милку в стадо, торопится по двору управиться. Собрала на задах охапку росной лебедеи – Васька боровок, наверно, визжит, ждёт её не дождётся.

– Харчишек-то прихватили, кормильцы? – улыбается мама, подтыкает выбившуюся из штанов Гришуткину рубаху, – а картуз где? Небось, опять жарить спозаранку начнёт.

– Справимся, аль впервой! Лопушок-то на что? – успокаивает бывалый дед Степан.

– Сынок! Малину нынче варить стану, пенки собирать? – доносится уже из-за поворота.

– И поболее! – радуется Гриша, представляет, как за ужином мама поставит перед ним миску с творогом, а поверх – горкой малиновые пенки. Облизывается.

– Дедка, и чего это ты варенья не любишь? – удивляется мальчишка.

– С измальства сластей не видывал, а теперь и привыкать не к чему, – отмахивается старик.

С пропылённой, взбитой в пух кружной дороги сворачивают на чуть приметную, проторенную ими после апрельской распутицы стёжку. Продравшись сквозь знакомые лозняки, где не раз по осени резали прутья для плетух, спускаются овражком в долину.

Туманы густыми валами откатывают за поймище. Первые лучи тянутся, скользят по разбросанным там и тут копейкам, пробегают по пересохшим осокам, чиркают по неостывшей глади, подпаливают середину реки.

Клубы пара, словно дым от пылающего плёса, сносит лёгким ветерком всё дальше и дальше в перестоявшие луга. Парная молочная пена цепляется и повисает рваными шмотьями на валерьяниках, на бурых свечах молодого прибрежного рогоза. Оседаёт и тает, растворяется, рассыпается в мокрую пыль, кропит полусонные тростники.

Гришутка потерял деда из виду, но не плутает, шагает уверенно по знакомой тропке. В дремотной тиши слышатся тяжёлые шаги. Кто-то большой и сильный ломится сквозь кусты, приближается, шумно дышит. Растерялся Гришутка, замер у развилки.

Из лозняка высовывается седая морда, тянет ноздрями, и на стёжку вваливается старый колхозный мерин Мотя. Склоняется, внимательно рассматривает мальчика почти невидящими глазами и ласково фыркает. У Гришутки на душе легчает: не с Водяным столкнулся, а всего лишь с добрым, безобидным Мотей. Мальчонка нащупывает в кармане кусочек горчишной лепёшки и протягивает коню.

Мотя осторожно берёт хлебец с ладони влажными губами, перекидывает языком из одной щеки в другую и мумлит беззубым ртом.

Несколько лет назад, когда от колхозного хозяйства почти ничего не осталось, подошла очередь и конюшне.

Приехал татарин-колбасник, закупил табун. А Мотя уж в такой поре, что и на скотобойню не сгодился. Коней угнали в сторону большака, постоял неприкаянный Мотя в осиротевшей конюшне и пошёл куда глаза глядят вдоль обнищавшего колхоза по развалившейся стране. Никому не нужный престарелый работяга.

До него ли? Сама Сарафановка обречена!

Ждёт своего часу дед Степан: когда, наконец-то, успокоится на Поповке. Устал видеть беды земли родной, сполна политой его потом и кровью.

Ждёт мама отбившегося от дома, мыкающегося в чужих краях отца.

Ждёт-надеется Пётр Касьянов, что настанет-таки время, вызволит он семью из беспросветной нужды.

Только Гришутка живёт себе да живёт, не чует никаких особенных перемен. Отец был бы ещё рядом.

Ходит паренёк с дедом Степаном на рыбалку, дышит вкусным, настоящим на иван-чае с душицей, сарафановским воздухом, бултыхается в Голубом плёсе, украдкой дерёт у Филипповны недозрелую медовку. И никуда ему отсюда не хочется! И так хорошо!

Здесь – исползанный им Мишкин бугор, расплёсканная цыпочными пятками Неруча. Его, Гришутки Касьянова, небо, размётанное от земляничного Ярочкина лога до Копытец – июльское небо в перьях белой голубицы...

Словно цыплячий выводок, разбегаются из-под ног рыбаков жёлтые куртины купав.

Показался крутояр. Из-за этой горы и прозвали плёс Голубым, из-за глины её. Днище плёса с сарафановского края кажется голубым-голубым. Лево-бережный обрыв уходит в воды яркой шёлковистой глиной.

Дед Степан сделал открытие – глина сарафановская – лечебная. Оттого и Гришутка, барахтающийся без конца в её мути, не хворает, крепышом растёт. После каждой рыбалки плещется мальчишка под крутояром. Невозможно пройти мимо. На рыбалке да не окунуться!

Пока пацан бутетенил бело-голубые воды, дед сидит на бережку, зарыв ступни в тёплую мисель. Попыхивает цыгаркой, нагребает в специальный плотный мешочек глинки «от коленной болести».

Смурными осенними вечерами слонялся Гришутка без толку по горнице, докучал вечно сонному престарелому Пехтерю. Дед удумал пристроить мальчонку «к дельному делу».

Откуда появилась в их доме дымковская игрушка, даже старик не знает. На этажерке почитай лет пятьдесят хороводится раскудрявый Ванька-ключник с гармонью наперевес вокруг пышной в обористой юбке барыньки-красавицы.

Наносил дед за лето голубой глины с плёса, и долгими скучными вечерами пыхтели они с Гришуткой над гулюшками-поделками. То у них заяц на барабане лупит, то лиса петушка тащит, то бычок, точь-в-точь Милкин Буяр получится.

Подсохнут игрушки за ночь, а утречком, как истопит мама печку, да сойдёт большой жар, поставит дедка их сначала на загнетку, а потом и подале задвинет. Обожгутся, затвердеют, словно из камня или кости. Самое время расписывать. Тут кто на что горазд! Сопят, допоздна не ложатся, стараются, у кого заковыристей получится...

Дед Степан ныряет в заросли приречных трав, аукает внука, пробирающегося следом за ним.

Бело-серая птичка выпархивает из глубины ракового дупла и на лету накидывается на Гришу. Мальчишка заглядывает внутрь трухлявого осокоря и обнаруживает пяток птенцов. У подножья в траве примечает беловатые в мелкую крапинку скорлупки.

– Притих, не дозовёшься, – сердится на мальчишку старик.

Птичка бежит недалеко дробными шажками, потряхивает длинным хвостом.

– Трясогузка. Вишь, беспокоится. Напугали, в её владения ворвались, – дед манит пацана за собой.

Под самым верхом, в добела выжженных лупастым июльским солнцем, изрезанных сосновыми корневищами могучих пластах, наковыряли гнёзда ласточки-береговушки. Спозаранку, с петушиного переклика, тонущего в парных водах плёса, до мычанья припозднившегося в Закамьях стада, носятся они над водой. Гомонят, режут тонкими крыльями-ножницами чуть дрожащую кипельную кисею над перламутровыми водами. Чиркают о волну, гоняются за мошкаррой-комариком, носятся у гнёзд, кормят пищущих голодных желторотиков. Объявятся крупная разбойная птица – навалются всем скопом, зашиплют, заклюют, спровадят не солоно хлебавши. Одним словом: шум-гам, птичий базар.

Старик любит рыбачить. Всё свободное время проводит на реке, «на вольном духу». Видать, оттого и дотянул до немалых лет. Лишь проклянется рассвет – удочку в руку и айда за краснопёрками.

Рыбак он отменный. Изловчается там, где вовек никто не видывал, набирать уйму плотниц или тех же краснопёрков. Из Неручи, захудалой речушки, что на Жилепёках, притащил целые кальсоны рыбы. Шёл с пасьбы, как не заглянуть на речку? Рукой подать, под горочку да наискосок мимо тырла.

При себе ни удочки, ни кубарика захудалого. Углядел Кузьмич косячки, снял исподнее и ну им рыбёшку огребать!

Прознав о дедовой удаче, бабы проходу не дают, допытываются: «Не щекотно, Степан Кузьмич, с головастиками в подштанниках ходить?»

Даже кличка у старика рыба. Вместо Степан Кузьмич прозвали его деревенские Налим Кузьмич. Дед гордится необычным именем.

Ходят они с внуком и на раков. Отродясь никто не припомнит, чтобы раки в Сарафановской Неруче водились. Наловил их где-то дед Степан и разнёс по ближним прудкам да речушкам. С тех пор закишели водоёмы. Что не лужа, то раки.

Берёт их Кузьмич мудрёно. Востожит из орешин рамку, натягивает на неё ключок марли, а по углам верёвочки привязывает. Отступает локтя два-три и собирает тесёмки в узел. Насыпает на марлицу отрубей и опускает остороженько на дно. Раки наползают подкрепиться, дед вскидывает агрегат над водой и – скорей на берег. Гришутка только поворачивается, пособляет. С «клешастыми» надо пошвыдче. Заподозрят что – мигом скроются. Поднимут муть, взбутетения дно, ищи-свищи, хоть на горе, хоть под горой. Ловля раков – дело хитрое, подходить к нему надо умеючи.

Гришутка пообтёрся рядом с бывалым рыбаком.

Прихворнул как-то Степан Кузьмич, так мальчишка полведёрка раков в одиночку натаскал.

– Моя выучка! – гордился дед.

Степан Кузьмич долго не выздоравливал. Гриша скучал без рыбалки. Прихватив кота, пообещав ему весь улов, отправился на ближайшую лужицу-прудок. В тростниках на мелководье мальки грелись. В деревне их «саяками» зовут. Вместо удочек прихватил Гришутка мамкино решето. Зачерпнул пошире и вытащил сразу с десятка. Через час целый бидон домой приволок. Пехтерь неделю вокруг этого бидона крутился, отъедался.

Правда, от деда пацану влетело. Мол, неследно таких-то таскать, нехай возрасту свою достигнут.

Хворый Степан Кузьмич и сам скучал по рыбалке. Все разговоры сводил к речке, крючкам-удочкам.

Засыпая, слушал мальчик рыбацкие истории.

Дед «обезножил», сидел на кухне, парил распухшие колени в высокой дубовой кадке и травил нескончаемые байки, пока Гришуткина мама прибирала со стола и мыла после ужина посуду.

Дед Степан знал бондарское дело и для «грязи» справил себе нужного размера кадку. Усядется, облепит колени тёплой глиной. Накладывает, отмотав из рулончика, компрессную бумагу. Уворачивает колени бабы Лушиной белокрайкой, избитой молью. Ноги опускает в травяной взвар и накрывает соbachим, выдавшем виды, тулупом.

– Я, девонька, на войне за рыбалку награду получил. Так-то... – старик потянулся, достал медали из-за иконки Георгия Победоносца.

Развернул истлевшую газету, развязал носовой платок. Положил одну из наград на ладонь.

– Под Сталинградом дело было, – начал он. – На Волге стояли. Век реки такой не видал! Ну, как тут было рыбаку не соблазниться, не узнать, что в таких могучих водах проживает?

Справили мы с товарищем кой из чего удочки и в затишье решили попытать рыбацкое счастье. Присмотрели место, расположились. Маскхалаты накинули, не видны – не слышны... Часа два ночи... Смотрим: подгребают с таво берега в лодчонке фрицы. Чуть левее берут. И след в след – на наши позиции.

– Страху-то! – всплеснула руками мама.

– Разведчики! – смекнули мы.

– Что будем делать, – спрашиваю товарища, – как своих предупредить? Не успеем! Ушли они. А мы транспорт ихний затопили и затаились.

Дед помолчал, видать, припоминал, что дальше было.

– Оружие на фронте у солдата всегда при себе, даже на рыбалке. Заползли в камыши, немчуру поджидаем. Часа три не шевелясь просидели, оклякли совсем, октябрь месяц. Фрицы долго не возвращались... Смотрим: крадутся, перегирыкиваются шёпотом. Прикинули – шестеро супротив двоих. Надо брать внезапностью, иначе не сдюжим.

Не подпустили фашистов к берегу, перехватили у лозняков да как полоснули! Одного подранили в ногу, живьём взяли.

– Языка, что ли? – вспомнила из кино мама.

– Понятливая ты, Катерина! Внимательно слушаешь. Доставили фрица на наши позиции... Всыпал, конечно, командир за рыбалку-самоволку. Но к наградам вынужден был представить – много чего важного рассказал захваченный разведчик.

... Гришутка пробирается сквозь факелы конского щавеля, шуршит переспевшими соцветьями, скользит в бледно-розовых зарослях таволги, стараясь не потерять из виду сторбленную стариковскую спину.

– Ну, вот и добрались, – слышится из-за кустов болиголова дедунин прокуренный голос, и уже через пару минут перед Гришуткой сверкает Голубой плёс – кажется: тысячи серебристых рыбёшек плещутся на солнце.

Обдаёт свежестью. По дальнему берегу бегут, растекаются до самого горизонта безлесье ковыльные дали. Вдоль пойменных лугов выкатились огромными зелёными шарами ракитки. Прохладой веет от мшистых, кряжистых деревьев. Жара ещё не подступила, и они не вывернули листву наизнанку, не серебрятся, а отливающих лучах всеми оттенками – от бледно-зелёного до тёмно-оливкового.

У воды беззаботно роятся невесомые мотыльки. Порою теряются в незабудках, и не понять уже, то ли подкинул кто-то букет нежнейших голубых цветов над тростниками, то ли перламутровые мотыльки опустились у самой кромки воды.

В изумрудной ряске шлындрают, виляют ниточкой-хвостиком пузатые головастики. Выползает погреться на подваленную корягу жаба-мамаша.

– Летом, бывало, – припоминает Кузьмич, рассматривая закатившую глаза лягушку, – сажала матушка жабку в кубан с молоком.

– Зачем это, дедусь?

— А чтоб не скисало. Замест холодильника-то лягуха служила, — поясняет старик, расправляя удочки.

Гришутка морщится, представляет: мама наливает молоко, а из банки на него тарашится противнющая жабина. Мальчишка фыркает и отворачивается от уснувшей лягушки.

Дедушка, поплевав на червячка, закидывает Гришуткину удочку. Расстилает старую плащ-палатку, выдавшую не одну рыбалку да ночевку на больших и малых реках. Развязывает потрёпанный излинялый тормосок, вынимает «провизию»: ранние пупырчатые огурчики, любимые печёные, аж до коричневого цвету, духовитые яйца, густо начесноченные ломти сала, полкраюхи и бутылку молока.

— Перекусим, чем Бог послал, — дед скидает харпалёк, сворачивает и усаживает мальчика, — не застудился бы по заре.

За завтраком обстоятельно растолковывает внуку, «что есть такое — окунь».

— Хотя рыбёшка эта речная, но порой настолько неприхотлива, что приходилось мне вылавливать её и в подсолённых южных лиманах. Дай волю — везде расплодится.

— Дедунь, а какой он из себя? — интересуется Гришутка, не поймавший в своей коротенькой жизни ни одного окунька.

— Нарядный, шельмец, яркий... И пятнышко у него чёрненькое приметное на кончике спинного плавника. Сразу от других отличишь. Коль попадётся — сымай с крючка осторожно.

— Ай кусается? — удивляется мальчишка.

— Да не! По шипу на каждой жаберке завёл для обороны. И зубы у него вострющие, что мамкины иглы вышивальные. Не лыком шит. Да живоглот к тому ж.

— Хищник, значит, окунёк-то?

— Хищник, как есть хищник. Всё рубит, что встретит: и мальков, и икрой балуется, и рачками не брезгает.

— Прямо разбойник какой-то, — возмущается Гришутка.

— Ещё какой! Лакомится даже своим потомством. А на охоту бандами целыми ходит, стаями, значит.

— Такого не грех и отловить, да сковородкой наказать, — участь окунька решена наперёд.

— На живца возьмём. Мелкоты на крючке подкинем. На, прожора заглоти!

...Расположившись в лозьяках, пацан таскает пескариков, готовится на окуня. Иногда посматривает сквозь камыши на деда.

Тот копается в деревянной коробочке. Гришутка знает: в ней у старика припрятаны драгоценные блёсны. Дед вынимает какую-то особую, прилаживает. Парнишка догадывается: видать, на щуку!

Вчера ходили за боровиками в Гороня, так дед весь день про неё толковал.

В Неручи щуки не много. Загорелся дедка подцепить парочку, надоели ему караси да краснощёпки. Азарт у Кузьмича разыгрался. Щуку-то голыми руками не возьмёшь. Хитрая! В вольной воде голубым отливает, на отмели — жёлтым отсвечивает, в водоросли зайдёт — зазеленеется. Дед её собачкой речной

кличет. Злющая! Подтянет плавники и кидается вперёд, словно сторожевая с цепи. Всех, кто попадает, заглатывает. Пасть длинная, и зубищ – не счесть. Дедуня рассказывает, на того же окуня, даже на ерша, охотится. Не наколется, не поперхнётся. А уж пескарей да плотицу стаями прибирает. Не откажется и от своих щурят. А однажды видал дедка, как щука на уточку-чирка набросилась.

– Поделом будет. Нехай дедуня её изловит, – сердится Гришутка.

А ракитки уже посоловели, обратная сторона листы засеребрилась, скукожилась от жары. Белое солнце, подгоняемое горячим ветерком, словно воздушный шар, взлетело над береговыми кустами, зацепилось лучами-ниточками за их кроны да так и замерло в зените. Таращится прямо в веснушчатое облупленное лицо парнишки, заглядывает в бидон, наполовину наполненный пескариками.

Гришутка срывает лопух, смачивает в реке, как учил дедуня, пришлёпывает на пшеничные кудряшки. Прихватив улов, лезет сквозь тростники к Кузьмичу.

Тот, прикорнув к плешивому стволу осокоря, мирно спит. Из ведёрка на Гришутку сердито пялится увесистая щука.





МАРТОВСКАЯ ЛАЗУРЬ

Под Покров, с первыми серьёзными холодами, в доме вставили зимние рамы. Чтобы тепло не просачивалось наружу, щели законопатили ватой, заклеили бумагой. Войдёшь с мороза в дом и слышишь: в печи постреливают полешки, и чуешь: комнаты пропитались берёзовыми и вишнёвыми смолками.

Но в марте пахнёт вдруг от входной двери, из раскрытой форточки чем-то необычайно новым и в то же время с раннего детства изведанным. И захочется быть соучастницей подступающих перемен. На смелую гнетущей выюжной тоске зародится в груди рой светлых, ярких чувств.

Чтобы дышалось вольней и отрадней, срываю бумагу, вынимаю вторые рамы и прячу до следующей осени в чулан. Дом становится просторней, шире, словно разворачивает плечи, потягивается и отряхивает последние зимние сны.

Свежо, светло и свободно. Окон в доме много. Хлопochу около них весь день: сдираю остатки бумаги, мою рамы и подоконники, ныряю на чердак и стаскиваю старые пожелтевшие газеты – натираю до блеска стёкла.

К обеду добираюсь до кухонного подоконника. Дом наш высится маковой на вершине Мишкиной горы, и из этого окошка открываются такие дали, что порою среди ночи разглядишь огни посёлка, лежащего за десять километров от хутора.

Мою окно, а сама нет-нет да на улицу посматриваю. Душа рвётся туда – в залитый мартовским солнцем мир.

Овраги и буераки доверху забиты снегами. По ночам подмораживает так, что забытое на веранде ведро с ключевой водой разорвало льдом. Солнце в полдень только яростно сияет, а землю согреть не в силах. Липы у ворот красно-коричневые, а почки не прозеленились, не побурели стволы. И березняк в Шешкиной ложине не порозовел, кипенно-белый. Но надо же! Крохотные синички каким-то особым чутьём зачуяли начало великих перемен. Цвенькают так, что опухший ото сна Барсик, наконец-таки, очухался. Лызнул во двор разобраться, что к чему, и вот уже неделю пропадает от любви, орёт по ночам, подменяя надорвавших голоса синиц.

Окна промыты так чисто, что не замечаешь стекла. Кажется, можно без препятствия прыгнуть в палисадник, в эту прошитую солнцем лазурь.

Душой слышу неумолчный зов весны. Ещё чуть-чуть и всё, что движется, всё, что может дышать, задышит, всколыхнётся, пропитается мартом.

Только у нас, только на севере, на контрасте стужи и тепла, можно почувствовать и оценить настоящий восторг весны. Вот и дождались – поддаваясь птичьему гаму, бляению новорожденных ягнят, великому напряжению льдов на Крме, пятятся холода.

Сердце бьётся так, будто ждёт чего-то большого и хорошего, словно все заботы отступили, а впереди – обязательно счастье.

И ветер нынче вестовой. Зима изглодала бока у гречишного стога. В холода он кряхтел, приседал, но держался. Налетел тёплый мартовский ветерок, завихрил, засмутьянил, шалый. Раскидал на охапки остатки изгрызанного стога, выстлал двор соломой. Солнышко подогреет – день, другой, и снег под ней подтаёт. Куролесит ветер, хулиганит. Весёлые наигрыши в проводах да в ракушковых верхушках разучивает. На задорный весенний лад хутор настраивает.

А с крыши прямо мне в ладони то золотом, то серебром плавится, течёт и капает солнце. Словно прожгли его озорные зайчики дырочки в шелках небесных, и сыплется оно на осевшие снега, брызжет в до краёв наполненное ведро под водосточной трубой, подмурлыкивает развалившемуся на припёке Барсику, сверкает в оперенье горлинок, радостно переговаривающихся на коньке крыши.

Накинув шаль, выбегаю во двор, снимаю с верёвок подсиненные и высушенные заботливым ветерком шторы. Развешиваю «кусочки неба» на карнизы. Распахиваю настежь форточки. Шторы оживают. И чудится мне, будто сама весна нагрянула ко мне в гости. Влетела на тончайших тюлевых крылышках и разгуливает по комнатам, размашисто кропит на счастье каждый уголок солнцем, причащает пьянящим мартовским воздухом.



ОТ ПЕЧКИ

ора на покой. Уж и память подводить стала. А что удивляться, годков-то, годков! Склероз, видать, старческий у меня. Всего и не припомню, что со мной приключилось. Остываю потихоньку. Лишь иногда вспыхнут ярким пламенем далёкие деньки, когда я и печью-то не была, а всего лишь глиной сырой на Мишкиной горе.

Жил в ту пору в нашей деревне мужичонка один, неказистый такой, росточком – метр с кепкой. Худенький, рябой, как колхозный мерин Буян, а мастер – откуда что бралось, на все руки. Кулибин местный, ни дать ни взять. Больше всего на свете любил печки русские класть. Был, как сам выражался, «по сугревной части». Днём печки мастерит, а вечером в «корогоде» на балалайке девкам жарит.

Уж почему его Балдой прозвали, и не знаю. Вроде, не дурак мужик. Может, за балалайку? Говорят, в сказках Балда балалаечник искусный был. Наш Балда имел на Мишкиной горке крошечное дело. Сам глину замешивал, сам кирпичи для печек обжигал. Знатные кирпичи у него получались, скажу я вам! И удумал, балагур, на них своё клеймо ставить. На каждом кирпичике отпечатывал букву «Б»: то ли «Балда», то ли «Балалайка». Что бы это ни значило, только кирпичи его фирменные до сих пор деревню греют. В каждой старой хате у нас поныне его печки стоят.

Так и я появилась на свет из-под рук этого Балды-мастера. Почитай, отец мой родной. Побелила меня мать-хозяйка, как молоком умыла. Пришёл печник «дель спробовать». Затопили, а дровишки берёзовые как загудят: дымоход – что надо! Крякнул дед, осушил стаканчик по такому случаю, хрумкнул кашеной напусткой, похлопал меня ласково по пышущим жаром бокам и сказал: «Ну, смотри, милая, не подведи!» Перекрестил три раза и вышел.

С тех пор сколько дров в трубу мою вылетело, сколько торфа во мне сгорело! А сколько я душой своей горячей согрела! Растопит, бывало, хозяйка с утра, а кашня уж пышит, пышит. Возьмёт она, Марыюшка моя, лопаточку липовую и начнёт хлеба в жар сажать.

Закопашатся ребятишки, дух хлебный зачуяв, повскакивают с полатей. И то пора, все бока мне отлежали, обмяли. Четверо пацанов да две девки-погодки. Любила меня хозяйка, берегла. А под Пасху на Страстной неделе и перед Покровом всегда белила.

Стан у неё в горнице стоял, так она специально для меня наткала постилоч широких, накрывала ими кирпичики мои, чтоб ребятишкам помягче спать. Мастерница она у меня была. Соберёт лоскутков, обмерочков всяких из штапеля, из ситчика, и состроит, сошьёт – глядишь, и одеялочка. Детишки за неё гвалт поднимали, уж очень красивая была, «кубинетиками». Застелет Марыюшка меня, карнизик сладит, по белу полю крестом петухи да куры вышитые, а по низу кружева длиннющие. Выдумщица была. И как у неё до всего руки-то доходили! Шестёрку одной поднять нешто лёгко?

Бывало, раскочегарит к вечеру и устроит банный день. Что творилось! Дым коромыслом! Ребят сразу всех четверых выкупает, а потом девчонок. С ними возня: пока косы расплетёт, пока то да сё, так до полуночи и провозится. Намоет ребятишек, а тут и гарбузня подойдёт. Я-то ей, сердечной, старалась помочь, где уж одной-то с такой оравой! Нарезет Марьюшка дольками гарбуза, а я запекую. Трескает ребятня с пшёнкой, с молочком – за уши не оттянешь. Налопаются, и ко мне на бочок, и засопят, засопят.

Так и подняла их бабонька с моей да с Божьей помощью. А жить осталась с младшеньким. Девочку замуж повыдавала в своей деревне, а вот ребята разлетелись кто куда. Старший в Крым уехал, там потом полпосёлка нашенских прижилось, всё его дети да внуки. Второй сгинул... так хозяйка моя и до смерти не узнала о его судьбе. А средненький в соседнем селе обосновался, в примки ушел. Сноха попалась хорошая, не обижала, и Марьюшка ею довольна была.

Перед войной дочка первая у младшенького народилась. Марьюшка на неё наглядеться не могла. Кашу мы внучке не на молоке, на сливочках стряпали. Хозяйством обзавелись, коровка уже была. Жизнь только стала налаживаться, а тут беда грянула. Ушёл молодой хозяин дорогами войны, хату немцы отобрали, штаб устроили в ней. Как же мне своих горемычных жалко-то было! Ночей не спала, всё думала-печалилась, как они там в холодном сарае мучаются, как их «буржуйка» несчастная согревает?

Пойдёт, бывало, немец ко мне, а растопить-то и не может. А что мне его, проклятого, греть, сколько он горя на землю нашу принёс? Вот я и плююсь, чихаю в фашистскую физиономию, никак ему, христопродавцу, не даюсь. Пусть злыдень промёрзнет, глядишь, быстрее от нас драпанёт.

А как немца-то повыбили в сорок третьем, вошла Марьюшка в свою хату, села подле меня на лавку, и плакала, плакала. То ли от счастья, то ли горе своё выплакать хотела.

А потом отскоблила полы от сапог «басурманских», отчистила дощатый стол. Принесла из сарая прабабкины иконы, водрузила на прежнее место и разговорилась со мной: ну, что, мол, вот и опять с тобой вместе. Выбелила хату, вымела загнетку гусиным крылышком, разыскала чугульки-ухваты и захлопотала...

Особо кормиться-то нечем. Картошки промёрзлой, «пирепиков», по весу не на огородах собирает, высушит, разотрёт, мушкетеры горсточку добавит. И напечём мы с ней лепёшек, невестку да внучку накормим. А о себе Марьюшка и не вспоминала, перекусит, что останется.

Отшумела война. Деревня становилась на ноги. Хозяин с фронта вернулся. Родилась вторая дочка. После беды вдруг счастье такое! Жизнь наладилась... И всё в этой жизни от меня – от печки, значит. И спало дитя на печке, и первые шажки около меня сделало. Рада была я этому ребёнку, как никому другому. Первый ведь, послевоенный...

Марьюшка слабеет, прихварывала. Всё больше в тепле, при мне находилась. А невестка, Аннушка, и по хозяйству, и в колхозе по сотке в день лопатой на поле вскапывала. Да и за дочками малыми присмотреть нужно. Они всегда рядышком, около меня крутились.

Как-то управлялась Аннушка со скотом, а чугунок двухведерный с кипятком на пол поставила. Младшенькая поскользнулась да в кипяток и села.

Не передать горя, что поселилось в нашем доме. Привезли ребёнка из больницы, не стали там ухаживать за ним, очень тяжёл был, домой помирать отправили. Выдали только мазей каких-то, да тюк марли. С этим Аннушка ко мне и вернулась. А куда ещё ей, родимой? Только ко мне, к печке...

Открыли мы лазарет. Пропахла я насквозь снадобьями всякими. Ночей не спала, вздрагивала от каждого всплача, и всё тепло берегла, не гасла, старалась хоть чем-то помочь, согреть тёплыми боками. Так потихоньку, помаленьку и выходили девчонку.

В ту пору Аннушка сына уж под сердцем носила. А бабка совсем меня не покидала. Когда внучок родился, просила рядом положить: очень ей посмотреть на мальчика хотелось.

... Не стало печника Балды, ушла Марьюшка, и только я всё продолжала жить в углу горницы. Рядом играли свадьбы, рождались дети, рядом проходила жизнь близких мне людей, рядом со мной провожали их в последний путь, отпевали и оплакивали.

Я так мыслю: печка – она ведь центр деревенской жизни. Всё вокруг неё вертится. Без неё и хата – не хата. И самой жизни-то без неё нет. Какая жизнь без очага, без тепла? Да и работа вся вокруг печки.

Сбоку приладил хозяин клеть. Родится зимой телёночек, холодно ему в сарае, морозы жмут, приведут его домой – обогреется, замычит, молоком парным запахнет. А потом вздумает свинья пороситься, её тоже в клеть, на место подросшего бычка переведут.

Чего только не происходило у моей загнетки! И не припомнишь. И дети всегда жались ко мне, и я о них заботилась с утра до ночи, как мать родная.

Жизнь шла своим чередом. Вот у Аннушки и внучка первая появилась. Посреди хаты подвесили к потолку люльку. Нянчиться с девчонкой особо некогда было: кто пройдёт, тот и подкачнёт. Так никто и не заметил, когда ходить начала.

А я вот помню её первые шаги. Дома никого не было, укачали Танюшку и разошлись по делам. Проснулась она, завозилась в люльке и выпала. Покрыхтела, посопела, встала и пошла себе, да прямо к двери. Видно, помнила, куда все уходят.

Помнится, зима была лютая. Распахнула девчонка двери и стоит на пороге. Я разволновалась: простудится ведь! От моего волнения, ещё ли от чего, только вспыхнули дровишки, разгорелись, тепло в сенцы стало выходить. Раскопегарилась я, дитё спасти надо! Так и пылала, пока домашние не вернулись.

А потом я Танюшке молочка согрела, да с медком. Ничего, сальцем гусиным растёрли, ко мне под бок, в одеяло «кубинетиками» укрутили, пропарили. Жива-здоровая девчонка.

Ох, и намаялась я с ней! Так за неё напереживалась! Как пошла ходить, спасу не стало!

Свинья в ту зиму только что опоросилась. Подобралась разбойница к ней, уселась верхом и хлопает по бокам, скачет, как на коне. Рядом сосунки

лежат. Я перепугалась, раскипятилась вода в чугунах. Таню это от свиньи и отвлекло. Хорошо, что та добрая оказалась, только похрюкивала да тяжело дышала, а могла бы за поросят разорвать девчонку.

На Маслену случай с блинами произошёл. Были они у Аннушки особенные, во всю огромную сковородку. Каждый промазывала топлёным коровьим маслом, посыпала сахарком. Печём это мы, значит, с хозяйкой блины, только ухват поворачиваться успевает, и в блюдо на подоконнике складываем, а Танюшка рядышком крутится. Смотрим, блюда-то и нет. Уселась девчонка на него, прямо на блины, сидит, довольная, приговаривает: «Тёпленькая подстилочка!»

Заторопилась однажды Аннушка куда-то, просит Таню пособить: присмотри, мол, за молоком, а то убежит. А девчушка ей так серьёзно в ответ: «Ничего, догоним!»

Да, сколько я деток на своих плечах подняла, сколько ангин, простуд, радикулитов излечила! А сколько каш натомила, сколько хлебов испекла! Щи какие варила духовитые! Холодец какой гусиный томился в чугунах под Крещение! А молочко – до коричневой корочки! Да, старалась, пекла-жарила...

Выросли дети, поднялись внуки. Так уж случилось, на старости лет вынуждена была Аннушка переехать в город к дочери. Как не хотелось со мной расставаться, а деваться некуда. Не могла же меня с собой забрать, я-то всё понимаю.

Осталась я в пустой хате. На лежанке одеяло «кубинетиками». Иконы в Красном углу. Негоже их из хаты забирать. Уехала хозяйка, а от загнетки до печурки в ту же ночь пролегла трещина, и труба зачихала, закоптила. Сколько ни пытались новые хозяева замазать, заделать трещину, она всё больше расходилась.

Да и что это за хозяева? Так, одно название. Два пьянчужки, отец и сын. То с горем пополам затопят, а то и растопить нечем вовсе.

А бывало... Поедет прежний хозяин в лес, дровишек берёзовых нарубит-напилит, сосёнок подвалит. Я его в благодарность уж так согрею! Такой дух пойдёт по хате! И я-то не болела, не страдала, видно, смолы берёзовые да сосновые помогли, целебные ведь! Печка без них не может вовсе. Остывать начинает, умирать.

Как-то напились мои хозяева, завалились спать на единственную «мебель» – старый топчан. Видать, курили, заснули, а топчан и вспыхни. Закадил, они и не почувяли, так и задохнулись в дыму. Хата, правда, уцелела. Жаль её, жаль и себя. Я уж и забыла аромат похлёбочки гороховой, не припомню, как шкворчит яишенка на сальце свежем.

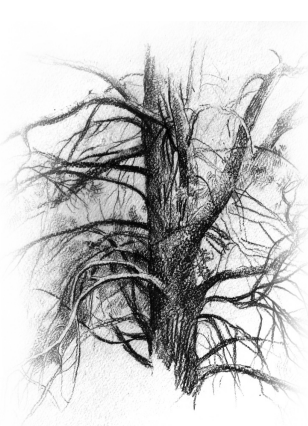
Но самое страшное в моей жизни стряслось месяц назад. Подкатила весна, пригрело солнышко. Хата сколько не топлена, перепады температур, вот и ухнул потолок прямо посреди горницы.

Думаю: опять война грянула. Ведь я тогда хозяйку свою спасла. Драпали немцы, вздумали, антихристы, деревню с землёй сравнивать, били прямо по дворам. Угодил снаряд в хату. Как хозяйка за меня спрятаться успела? До конца жизни благодарна мне была.

А тут вот в мирные дни хата рушится. Да и я вся в трещинах-морщинах. Постарела, сердце остыло, видать, час мой пробил. Кому теперь нужна-то? Смотрю, бывало, вечером в окошко: улица – как на ладони. Огней-то, огней! И всё дымки над хатами, дымки. Душа греется, так и гудит-поёт. А теперь взгляну через щёлочки заколоченных окон: два огонька во всей деревне, и дымков не видать, не топятся печки. А как же без нас, без тепла нашего? Без печки и жизни в деревне нет.



ЗАНОЗА



Ает пять не ступала я на Глиняную дорогу. В те времена, когда ещё не протянули до райцентра шоссейку, слыла она наиглавнейшей в округе. Но, срезав углы, проложили напрямки большак, и канула в забвенье древняя Глинянка. Лишь изредка забредал кто-нибудь по ней в Жёлудь-лес за подгруздками, да в сенокосную пору вжикали по её обочинам литовки.

Судьба деревни шагала с ней в ногу из года в год, версту за верстой. Веками утоптанная, чего только ни хранила Глинянка в своей пыльной памяти: и набегι самозванцев в смутные времена, и беспощадные «акции» латышских стрелков в Гражданскую, и кованый сапог германца в Отечественную.

В детстве под Покров ходила я с бабушкой этой дорогой в дальний Богачев-лес за калиной. На обратном пути, умаявшись, останавливались пополдничать под яблонькой-дичкой, что прилепилась к Глиняной дороге у въезда в Волчий лог. Тогда мне, маленькой девочке, казалось, будто ветви старого дерева цепляются за облака и удерживают их. Не припомню нашего похода, чтобы в этом месте нас не отхватывал дождь. Порою к нему примешивался снег.

Каждый раз, несмотря на непогоду, разрывая пожухлую листву, мы отыскивали пяток кислющих, аж вязало скулы, яблочек-лесковок. Без этих заветных дичек бабуля не уходила домой.

– И на что они тебе сдались, горькие, как полынь, – не выдержала я однажды.

– Судьба у матери горькая, знать, и детям аукнулась, – вздохнула бабушка.

Вечером, лёжа на жаркой печи, согревая оклякшие руки-ноги, я подступила к ней с расспросами: мол, что за тайна за лесковкой водится, о которой я до сей поры не знаю?

– Годками не вышла, вот и не знаешь... Каждый стар-человек окрест помнит тот Покров в девятнадцатом.

– Бабуль, – закланчила я, превозмогая клонивший к подушке сон, – расскажи!

– Думаешь, отчего над яблонькой у Глинянки всегда дожди полоскают? – начала неторопко бабушка. – Я так кумекаю: там Богородица денно и ночью плачет. Явившись в день тот злосчастный, оказалась она свидетельницей жуткого злодейства. Не к ночи будь помянуто!

Сон с меня будто Лыска языком слизала.

– Бабуль, спишь что ли? Чего замолчала? – шепчу, а сама к бабушке лгну, боязно отчего-то.

– Да где тут теперь заснёшь? Разбередила годы. Глаза не смыкаются.

И поведала мне историю, забыть которую не могла всю жизнь. Историю, о которой и я теперь нет-нет да вспомню, а недавно решила детям своим рассказать, надо, чтобы и они знали.

* * *

В начале века объявился на хуторе Савва Куприянов. Мужик, приглядывались нашенские, работной. Да и деньжата водились. Сруб из Калуги привёз. Пятистенник поставил. Амбар не соломой, тёмсом покрыл. Скотинку завёл. И, что самое удивительное, сад насадил, всё больше яблоньки.

Деревенские считали, что Савва и спать-то никогда не ложился. То на подворье у него лязгали-отбивались литовки, то жужжала им же слаженная крупорушка, то мычала-ревела-кудахтала по сараям-амбарам живность. Сыны на задворье ставили овины, невестки с ребятней пересушивали, утыкав горожу, возы ломинского торфа, выше небес укладывали поленницы. Савва вольностей не терпел – все у него при деле.

Хозяйствовал с умом. Всё под контролем. Сынов при себе держал, подшучивал: «Миром и батьку легче бить». Дети в него – работающие, не выпивохи, не гулёны. Ладилося в Куприяновской семье. Уж и внуки пошли, и сад начал родить.

Голь хуторская завидовала – мол, чужак, а как землецей нашей навострился пользоваться. Подъез к Рождеству хлебушек, лезли в долги к Савве, а потом отработывали на севе, на сенокосе, на уборке.

Любил работку Савва Кузьмич, и она его уважала. Бывало, выйдет с сынами да с батраками на покос, уж под шестьдесят ему, а ручку идёт – никому не уступит. И соху из рук не выпустит, и топор ещё слушается, и батраки за счётку хозяйскую уважают.

Но подоспели, как дурман-травы в Ревун-овраге, лихие времена. Возвнувшийся с завода шибутной Елизар Матюхин собрал сход, взбаламутил народ. Мол, по всей России что деется, а вы тут хребет гнёте, закрома да карманы Куприяновские набиваете.

– Долой Савву-кровопивца! Пожечь его, стервеца! На Соловки! В Сибирь змеиное отродье! – сначала на сходе, а потом и в глаза Куприянову стало выкрикивать мужичьё.

Савва раскинул умом, пообговорил с сынами и, аккуратно под Покров, снарядил обоз, будто бы в волость на ярмарку яблоки везти. Увязав в узлы самое нужное, не жалея усадьбы и построек, сметливый мужик усадил на каждую подводу по сыну с домочадцами, сам тронулся последним, прикрывая обоз.

Сборы эти обманные, конечно, не были не замечены хуторскими. Тут же доложили Елизару. И он, прихватив дюжину осатанелых от нищеты мужиков кинулся в погоню наперерез.

В полчаса бойня была закончена. Из всего обоза, из всего Куприяновского рода, уцелел пятилетний мальчонка. На другой день Елизар отправил его в волость, и след последнего отпрыска Саввы Куприянова затерялся.

Усадьбу растащили. А как грабили, передрались мужики. На всех-то коров-свиней не хватило. Дошли до мордобоя. Вволю натузившись, решили скот порезать и поделить. Мясо через неделю съели, сохи-хомуты растащили. На полушку обогатились. Как была нищета, так нищетой и осталась, а мужика крепкого, себя кормившего, дававшего возможность прокормиться многим, изничтожили. В порыве ярости дом подпалили, амбары-сарай сами огнём взяли, яблони вырубили под корень.

Спустя несколько лет на месте гибели Саввиного семейства, там, где рассыпали налётчики плетушки с яблоками, прижилась яблонька-дичка, одна-единёшенька, словно в подтверждение тому, что жив, не гиб Купряновский мальчонка.

Не поднялась ни у кого рука сломать деревце на обочине Глиняной дорожки. Дождик поливал, солнышко согревало сиротинушку. И окрепло, возмужало деревце, превратилось в красавицу-яблоньку.

Многие годы усталые путники находили прибежище под её раскидистыми ветвями. Не раз и я укрывалась под ней от дождей, проходя с корзинкой боровиков или с лукошком земляники.

Но однажды страшная гроза разразилась над Волчьим логом. Молнией опалило яблоньку. Обгорела крона и суки. Ухнул ливень, будто так и было задумано свыше, и не успел заняться ствол. Год от года высушивало его солнце, шлифовали-выветривали ветродуи. Залубенел остов яблоньки, превратился в нерукотворный памятник убиенным. Острой занозой торчал он над Волчьим логом. Долго бередила эта заноза незаживающие раны омытого кровью места.

Рассказывают, несколько лет назад объявился на хуторе старик, всё о делах тех давних расспрашивал. И, не сказав кто он и зачем, исчез. Только обнаружили хуторские, кто-то на месте занозы яблоньку привитую посадил, а заноза исчезла без следа. Каждый год по осени появлялись новые саженцы. Их становилось всё больше и больше.

Поговаривают, что старик тот каждый год наезжает отведать свою яблоньку и посадить рядом новую. Так-то оно так, только Глинянка стала примечать: потянулись с хутора мужички – то Григорий заглянет, то Петруха завернёт, то Илья зайдёт на памятное для хуторян место, и не спроста, с деревцем молоденьким.

Дай-то Бог! Глядишь, на месте занозы сад покаянный приживётся.



РЕЦЕПТ НЮРИНОЙ СВЕКРОВИ



Девчонка как девчонка, но косы! Длинные, тугие, ни у одной в округе таких не было. За косы и полюбил её Михаил. Увидел, прото-сковал лето, а к Успенью сватов заслал.

...Нюра работала в райбольнице. По выходным округа собиралась на лугу в лесу Волчьем. Девки отплясывали под гармошку, а парни устраивали кулачки. На лугу и познакомились. У Михаила три брата. Станут стеной, все бегут врас-сыпную.

Михаил приехал свататься, и будущей теще очень понравился. Крепкий, ладный, непьющий. Сыграли свадьбу в тридцать восьмом. Только не пришлось Нюрочке покрасоваться косой своей. Тиф свирепствовал тогда в деревнях. Навезли тифозных в больницу, Нюра и заразилась, слегла. Долго провалялась в жару. В таких случаях стригут налысо. Брат Нюрочкин скандалил на всю больницу, не давал резать её расчудесную косу. Выгнали его за дверь, а Нюру всё равно остригли, и косу сожгли. Случилось это незадолго до свадьбы. На вечере сидела она слабая, бледная, в белом платочке, волосики ёжиком, только начали отрастать... В тридцать девятом родилась первая дочка.

Это теперь разные отсрочки перед службой в армии существуют, а раньше такого в помине не было. Пришло время, забрали Михаила на действительную, на Кавказ. А тут – война...

В деревне мобилизовали всех мужиков, остались старики, бабы да малые дети. Осталась и Нюрочка с полуторагодовалой дочкой на руках да со свекровью. Слава Богу, та её любила. Бывало, до войны посадит на гулянках рядом, нальёт стопочку (а Нюрочка и вкуса спиртного не знала) и смеётся-приговаривает: «Попейся, молодница!»

Ведь знает, что Нюрочка не будет, а всё подшучивала над ней. Прожила свекровь с Нюрой до самой своей смерти. Всегда ладили, душа в душу. Любила свекровь её, как собственную дочь.

А чего не любить-то? Бабочка она была покладистая, работающая, чисто-плотная, да и Мишу, сына её, очень любила. Коса у Нюры отросла, но уже не была выдающейся. Зато из простой девчонки превратилась Нюра в красивую женщину, расцвела, стать появилась.

Но в сорок первом обрушилась беда.

До того момента, когда на поле запылали конопляные снопы, в деревне лишь слышали погромыхивание дальних боёв, да время от времени приходили слухи о зверствах гестапо в Орле, а тут заскрежетали гусеницы по

большаку, и в деревню вкатилась война. Сначала ворвались танки, за ними мотоциклы и машины с солдатами. Улица наводнилась немцами.

Первое, что они сделали, выгнали всех баб из хат в амбары да сараи, и расквартировались. Заходить разрешали только для того, чтобы навести порядок, приготовить.

Бабка собрала кое-какие пожитки, забрала невестку Нюру с маленькой дочкой и ушла с ними в летник. Сладили печку, стол, так и перебивались.

На постое в их хате жил дебёлый рыжий немец. Часто вынимал из нагрудного кармана фото и показывал фрау с малолетним сыном на руках. Из дома ему присылали посылки с шоколадом, печеньем. Он и повадился угощать Нюрочкину дочку, а сам всё на Нюру заглядывался. Почувяв недоброе, свекровь вырядила невестку в рваньё. В сарае соорудила большой топчан. Сама ложилась спать с краю, внучку укладывала посередине, а Нюрочку у стенки. Утром самолично вымазывала её лицо и руки сажей.

Фриц всё, конечно, понимал, и только ржал над уловками старушки.

К зиме он совсем уж не давал прохода бедной Нюре, заставлял её умыться, чтобы не прятала красу.

Немцы резали скот, отбирали продукты, а деревенские кормились, как могли. По весне их спасали грибы, ягоды, щавель.

Надумала старушка пойти в лес, и невестку с собой прихватила. Молодка подберёзовики да свинухи собирает, а свекровь – мухоморы.

«Совсем бабка плохая стала, – подумала Нюрочка, заглянув в корзину свекрови, – одни поганки». Та, ничего не сказав, прикрыла добыток папоротником, принесла домой и затеяла баню.

Пока Нюра с дочкой купались, хитрая бабка сделала отвар из мухоморов. Не впервой ей снадобья стряпать, до войны отварами всю деревню лечила. Взяла и окатила Нюру ядовитым зельем.

На другой день кожа на теле у невестки покраснела и распухла. Увидав это, немец остолбенел, но никогда больше не подходил к Нюре и даже не заговаривал с нею. «Нечего фрицам на наших девок заглядываться!» – ворчала довольная старушка.

Война длилась. Каждый раз, как только бабка замечала, что фрицы засматриваются на Нюрочку, тут же пользовалась испытанным рецептом. Настойка на мухоморах действовала безотказно. Многих девок на деревне спасла тогда хитрая бабка. Скольких фашисты не угнали в Германию, боясь колдовской заразы!

В августе сорок третьего выдворили немцев с Орловщины. Михаил тоже освобождал родные места, а затем погнал нечисть до самого его логова. Бабы возрождали хозяйства и ждали весточек с фронта. Михаил дошёл до Берлина. На родину попал только в сорок седьмом. Бабка перед смертью успела налюбоваться на вернувшегося с фронта сына.

Нажили Михаил с Нюрочкой ещё двух детей. Любили друг друга до последних дней. Девчонка, пережившая оккупацию, первая Нюрина дочка – моя мама. Живёт она всё в той же деревне. Часто приезжаю к ней. Рядом с домом – лес, а я – грибница, ещё какая!

К мухоморам у меня особое уважение. Заслужили.



СЫТНЫЙ МЕСЯЦ



Полгода как деда Михея пристроили к Петруше. Отец пообещал: «До школы. Как учиться пойдёшь, Дениске под пригляд сдашь».

Пете шесть с хвостиком, Дениска на год помладше. Дед Михей счёт летам своим не ведёт: «Чего их считать-то? Все как есть мои». Уже года два дед живёт, не задумывается. По разуму стоит на одной ступеньке с Дениской. Видать, поэтому и интересы у них схожие. То у радиолы лишние детали обнаруживают, то из головоастиков, что в кадушку запустили, для селезня Гошки лягух выращивают, а то вздумают проверить, сколько стаканов сметаны в кота Пушка поместится. Мало Петруше Дениска, так ещё дед ополоумел, свалился на его голову. Глаз да глаз и за старым, и за малым.

А у Пети и своих дел невпроворот. И в поле смотаться надо бы, там уборочная началась, на комбайне Петрович обещался дать порулить. И за карасями в этом году только раз пришлось вырваться. У Кольки Титова под сараем низки сохнут, а тут из-за деда не выбрал рыбицу даже у Тимкина овражка, где месяц прикармливал. И в Савин лог бы сбежать, посмотреть, подрос ли куропачий выводок. Некогда даже к Макаровне в сад шмыгнуть. Доска в заборе с прошлого года на одном гвозде. Титок уж побывал, пипин, говорит, поспел. Ему что, Кольке-то, у него деда на руках нет!

Облака, обложившие до свету хутор, рассасываются, солнце выплещивается прямо над их хатой, и день разгуливается. Петруша, всучив Михею и Дениске шашки, отправляет игроков в тенёк под липки сражаться в Чапая. Приносит с веранды для Дениска панамку, для деда Михея – лёгонький картуз.

Часок-другой, пока игроки стараются обжульничать друг друга, Петя ковыряется в древнем, как дед Михей, велике. Неделю назад развалил у крыльца, а справить руки не доходят. «Соберёшь тут с ними, как же!» – сердится Петя и замечает, как Денис подталкивает локтем с доски дедову шашку. Михей, поглощённый поеданием красной смородины, кисточки которой дёргает из миски, не замечает шельмовства. Напряжённо морщит и без того порожистый лоб. Картуз сдвигает на затылок. Сквозь жиденькие, седые до желтизны, пуховые колечки проглядывает серый от безвременья череп. Дед скребёт на макушке и туго соображает, как это он снова умудрился продуть мальцу.

«Вся природь нашенская белогористая ды волнистая», – дед гладит Дениску, словно котёнка, по кудряшкам и высыпает остатки смородины под ноги. Тут же орёт бурластый петух, подлётывают голенастые бройлерки и мохнатыми лапами яростно разгребают обобранные кисточки, выискивая среди сора пропущенную Михеем алую ягодку.

Дед кышкает на птиц и вынимает из душегрейного кармана подавленные сливы. Потянув на себя сливовый дух, принимается угощаться. До Пети доносится причмокивание. Дед обмумливает косточки, лакомится медовой «Алёновкой».

В августе на старика, как он сам говорит, жор нападает. Крахмалистые помидоры, тающие во рту бессемянки, треснувший от перезрелости белый налив, рослый чернослив, не дают ему покоя. Днями напролёт дед пробует, жуёт, набивает карманы про запас.

Свой сад-огород он уже наизусть изучил-обнюхал, а потому с утра норовит улизнуть и подкормиться на чьём-нибудь соседском дворе. То огурцов ему за пазуху напихают, то насыплут в картуз яблок-ранеток.

Август настолько щедр, что плоды его некуда девать. Хуторские не справляются с урожаем, и из садов от грузных ворохов тянет перепрелыми медовками и пипинами. Воздух бродит винным духом прокисающих слив.

Уборочная команда под предводительством Петруши, в составе деда Михея и Дениски, нарезает за день тоненькими ломтиками несколько вёдер яблок и груш. Нанизывают на нитку и гирлянды развешивают на веранде. На железную крышу расстелили клеёнку, сушку прожаривают под палящим августовским солнцем. Тут же пристроили старое покрывало. На него высыпали накроенные тонкими лоскуточками духовитые подберёзовики и боровики.

Пете приходится поминутно забираться по лестнице на крышу, шевелить-ворошить сушку, следить за небом, чтоб не дай Бог, не намочило продукт. Донимает обнаглевшее за сытый месяц вороньё. Мало ему ворохов в садах, так нет же – поподжаристой подавай. Подскочит ворога боком-боком, схватит жмуренный ломтик и – прочь. Уж такой, видать, норов шкодный. Прибил Петя крестовину на фронтон. Треух дедовский нахлобучил, рубаху натянул. А птицы только насмеваются над пугалом. Облепят его и сидят-перегрыкиваются.

Из сараюшки доносится чавканье и хруст сливовых косточек. Это подсвинок Бутуз лакомится. С утра Петина бригада подчистила заросли в крапиве под сливняком, насобирала две корзины перезрелок. Нахрустевшись, Бутуз успокаивается и замирает, лишь иногда доносится его мерный хрюк.

«Прожора, – замечает Петруша, – скоро закуть новую ладить придётся». И вываливает в корыто через верх ведро коричневых семенников. Сладкие мясистые перестарки-огурцы разбиваются в дребезги, пахнут свежестью и спелой бакшой. Потревоженный боров приоткрывает заплывшие глазки, но с места сдвинуться не в силах. Так и засыпает, уставившись в халавный августовский корм.

Дед, вычислив, наконец, шельмовство Дениски, ссыпает шашки. Обижается, словно ребёнок, и, поменяв бурки на войлочные боты, отправляется с ревизией вдоль хутора. «К обеду не ждите», – заявляет внукам и скрывается за калиткой. «Видно, деду опять пора подзаправиться. На тихую охоту торопится старый, – ехидничает Петруша, – своего девать некуда, так ещё со всей деревни тащит». Забросив велик, он отправляется по следу. Дед этого не терпит. Внук вынужден держаться на расстоянии и появляется в самый нужный момент, когда, изрядно попробовавшись, дед для пушнего убеждения пускает

слезу и вступает в рассказы о том, что грачи подёргали по весне рассаду, и семья осталась без огурцов, помидоры колорадский жук на корню порешил, а сад – на горе – прихватило на цвету заморозками. Хуторяне знают Михеевы замашки и щедро угощают деда.

Вечером он не вылезает на подгорье из лопухов. Петруше опять хлопотно. Кое-как свинтив велик, шпарит на другой конец деревни за фельдшерницей Егоровной. Та ворчит: «Как август подкатит, одно горе с вашим дедом». Назначает порошки-микстуры. Но дед их не признаёт. Ему не впервой. Ночь напролёт шуршит, будто мышь запечная, точит сушку – грушу-дичку. Клином вышибает.

А Петруша, пока дед лечится, не спит: «Хоть бы уж сентябрь поскорее... Дед отъестся... В спячку ляжет... В школу пойду...»



ЗВЕРЬ НЕВИДАННОЙ ПОРОДЫ



А деревня, в которой я родилась, расположена в пойме Кромы – небольшого притока Оки. Низкие берега её поросли лозняком, а кое-где на сотни метров раскинулись болота. В семидесятые годы на этих болотах у нас брали торф. Помечали участок, углублялись метра на два – три и, стоя по колено в воде, копали его специальной, с уголком, лопатой. Кубы торфа привозили домой, нарезали ломтями, как хлеб, всё лето сушили, воткнув их между кольев изгороди. В холодное время топили ими печки да группки. Это теперь – уголь, газ, а раньше – торф. Без него да без дров, как зимовать? Летом в колхозе высвобождали даже целую неделю, чтобы люди успели заготовить себе топливо на зиму.

История, которую я хочу рассказать, произошла как раз во время заготовки торфа. Мне было лет десять. Дома со мной и с братом был отец, а мама ушла на ночь к родителям, чтобы на утро помочь им управиться с торфом.

В июле в деревне ложатся спать поздно, в одиннадцать только домой заходят. Сено, огород, скотина, мало ли каких дел наберётся. Поужинав, мы с маленьким братом отправились спать. Он сразу уснул, а я всё ворочалась. Неуютно и непривычно без мамы. Окна летом распахнуты настежь, жарко. Вдруг слышу: в сарае закудахтали куры, заорал во всё горло петух, закричали растревоженные индюшки, сердито загундосил индюк. Поднялся переполох. Вскочила с кровати, подбежала к окну. Вижу: отец, в одних трусах, в тапках на босу ногу, прихватив воздушку, пробежал к сараю. Рванул на себя дверь, шум и гам ещё больше усилились, кто-то метнулся. Отец, решив, что это и был нарушитель спокойствия, зажал его. Было темно, курятник прилепился под клёнами, и лунный свет не проникал сквозь густые кроны. Послышался радостный крик: «Попался, голубчик!» Кто-то рванул, что было сил, и в руках у оторопевшего обескураженного хозяина осталась волосатая закорючка сантиметров семь – десять. И он прихватил эту штуку домой.

Курятник постепенно засыпал, лишь индюк всклокивал время от времени. Победитель уселся на кухне, на столе перед ним лежал трофей, как он решил, вражеский хвост. Прожив в деревне всю свою жизнь, отец не смог припомнить, как ни старался, у какого же зверя мог быть такой невиданный хвост. Так и не уснул до утра, всё гадал, что за таинственный гость приходил ночью в курятник. Перебирая в уме всех хвостатых, приговаривал: «Ну, отродясь не видал ни у кого такого!» Долго с кухни потом ещё доносились его вздохи и ахи.

Рано утром мимо нашего двора на покос проходили мужики. Он поджигал их у калитки с хвостом в руках. Усевшись на бревно, мужики по очереди рассматривали жёсткий, как щетина, хвост, и только головами качали. «Видать, забежал из соседних краёв», – сказал многозначительно Афоня. Начали гадать, какого размера мог быть обладатель таинственного хвоста. Порешили, приблизительно, с зайца, и, по всей видимости, колючий, раз хвост такой

жёсткий. «Вобщем, без меха этот зверь, и хищник к тому ж, – заявил сосед Васька, – теперь всех кур на деревне прикончит». Договорились последить ночью за курятниками, и эту колюче-бесхвостую тварь изловить, чтоб неповадно было. На этом и разошлись.

Трое суток мамы не было дома. А деревня гудела. Бабки по вечерам на лавках обсуждали невиданного зверя. Говорили даже, что Фролович, мой отец, его почти поймал, но тот взвизгнул, как поросёнок, вывернулся из рук, только его и видали.

Мама, наслушавшись рассказней, первое, что попросила, возвратясь домой, – показать хвост. Когда отец, развернув газетку, в которой хранил драгоценную частицу невиданного зверя, показал её маме, та, где стояла, там и села. Она так расхохоталась, что долго не могла произнести ни слова. Отец даже обиделся: «Тебе смех, а если б этот хвостатый укусил меня? Может, он вообще – ядовитый! Вернулась бы домой, а я умер давно». Тут мама и рассказала, что за зверя отец пытался поймать. При этом она несколько раз не сдерживалась и принималась опять хохотать. Оказывается, хвост этот вовсе и не хвост, а маленькая борода. Растёт она на груди у индюка. В доказательство неоспоримости маминых слов, индюк был изловлен тот же час, и обнаружилось, что на груди его вырвана не только борода, но и изрядный клок перьев. Во время переполоха, когда отец открыл дверь сарая, индюк, ополоумев от страха, рванул на улицу, а отец защемил его бородаку вместе с перьями. И бился не какой-то неопознанный зверь, а наш бедный индюк. Поэтому и до утра он не мог уснуть, всё ворчал на своего хозяина.

Мама щипала индеек, и знала о таком необычном хвостике на груди у этой птицы. Знали о нём и все женщины в деревне. Долго ещё они подшучивали над своими мужьями: «Расскажите-ка, какого вы зверя с Фроловичем собирались отловить. Наверно, и капканы на него заготовили?»

А вот, кто напугал птицу у нас в курятнике, мы так и не узнали.



ГЛУПАЯ ПТИЦА



авно это было, я ещё маленькой была, и жила с родителями в доме на краю деревни. Рядом – луг, а за ним – леса, поля да косогоры. Раздолье...

Хозяйство отец держал небольшое. Но птицы всегда было очень много. Ухаживать за молодняком поручали мне. Особо нежным мясом лисят своих поднять. «Такие глупые!» – думала я о них до случая, о котором и хочу рассказать.

Индюшата-птенчики, в отличие от другой птицы, очень нежные. Когда они подрастают, мамаша уводит их далеко от дома, порой на край леса. А лиса постоянно их выслеживая, за лето непременно переловит большую часть, задушит, сложит в кустах, а потом переносит к себе в норку, чтобы нежным мясом лисят своих поднять.

Рядом с нашим домом колосилось то пшеничное, то ржаное поле. И когда индюки добирались до него – пиши пропало. Если их там не сцапает лиса, целый день они могут бродить в хлебах, а ты весь день будешь их искать, пока сами не соизволят выйти.

Одна только привычка нравилась мне у этой птицы. Так как кроме лисы ими хотели полакомиться и коты, и все, кому не лень, мать-индюшка научилась оборонять потомство таким вот способом. Выведя детей на прогулку, она, стоя, как часовой, наклоняла голову то на один, то на другой бок. Уставится то левым, то правым глазом в небо, и зорко следит за воздушным агрессором, да и на земле замечает всех, кто приближается к её выводку. Только обнаружит что-либо опасное, подаёт, курлыкнув, знак, и дети рассыпаются среди травы так, что их и не видно вовсе. Отсидаются, покуда мать не разрешит снова гулять.

Надо индюшкам отдать должное, матери они хорошие. Птица эта, сидя на гнезде, так трепетно относится к своим обязанностям, что не ест и не пьёт, пока хозяйка не вынет из гнезда. И к концу высиживания весят мамыши намного меньше.

Однажды случилась на нашем дворе беда. Высидеть птенцов индюшка успела, а у самой здоровья не хватило, умерла. Детишек – сорок штук. Индюк ходил по двору, и решили мы проверить его родительские чувства. Рядом из корзины высыпали маленьких, ещё не оперившихся, индюшат.

Отошли в сторонку, ждём, что же будет. Индюк ходил сам по себе, индюшата разбрелись сами по себе. Отец мой вокруг двора поставил сетку, чтобы птенчики не исчезли бесследно.

Так прошло полдня. Вдруг я услышала, как индюк громко курлыкнул раз, затем второй, и инстинкт сработал, малыши рассыпались кто куда.

Я взглянула на небо, что за беда им грозит. Гляжу: вороны кружатся, как раз над выводком.

Прошло время, хищницы улетели ни с чем. Индюк протрубил отбой, и птенцы один за другим начали показываться из травы. Теперь они гуляли только рядом с индюком.

А тот был горд своей новой ролью. К вечеру он, выступая впереди своего стада, ввёл индюшат в сарай.

Но самое интересное произошло через неделю. Счастливое семейство выпустили из заграждения. Неожиданно выползла туча в полнеба. Поднялся ветер, а за ним обрушилась гроза. Мы не смогли найти индюшат и решили, что теперь их не увидим вовсе.

Летний дождь возникает ниоткуда и так же быстро заканчивается. Ещё громыхало над дальними полями, по дороге мчался поток мутной воды, а мы, надев сапоги и плащи, бросились искать наше образцовое индюшачье семейство.

Нашли его рядом с домом. Увидели раскрылехтевшегося индюка под кустом сирени. Потомство его цело. Заботливый родитель подобрал всех малышей к себе под крылья. И они переждали в тепле и сухости дождь, всю воду отец принял мужественно на себя. Выглянуло солнце. Степенно вышагивая, индюк вывел из-под куста своих питомцев.

Так он и предводительствовал у них, пока индюшата не стали совсем взрослые.

А мы-то думаем: «Глупая птица!»



КЛЮЧИ ОТ ВЕСНЫ



ветлая тревога бережит душу: то накатывает, то отступает. Словно вот-вот что-то случится. Но сердце не обмирает от страха и боли — ёкает от предчувствия нового, неизбежно надвигающегося; звенит свежей, не дающей покоя песней.

Скопища высыпавших с вечера звёзд полиняли, но одна, ярко выкрашенная, ещё изумрудится над деревенскими задами.

Чудится: будто вновь голосит древняя, немощная Афонина кузня. Из-за Ярочкина лога, растворяясь в шальных потоках южных ветров, дробит ладный перестук наковальни.

Прислушиваюсь: да это капель!

Распахиваю форточку. Барабанит, лупит всюю!

Вчера бабушка расставила под ледышки тазы и корыта.

— Талая водица жисть полнит. И курочке горлышко промочить, и герань-ки в светлице сбрызнуть, и внучат скупнуть.

Тёплая мартовская ночь тревожит каляные сосульки на хуторских подворьях. С крылечка капает, у амбара дзынькает, вдоль хаты опрометью скачет. Где попало топает, по ступенькам-порожкам прыгает, по ведёркам пританцовывает. Не сразу капелят дворы, по очереди вступают. С востока да юга зачинают.

Март на сносях. Не удержать! Затемно весна заводит припевки, раным-ранёшенько.

Под моим окном тренькают самые бойкие да писклявые ледышки.

К полудню дробь усиливается. Не разобрать, о чём лопочут, о чём спорят-толкуют.

Свет, накатывающий бирюзовыми волнами на окна, проникает в укромные уголки комнаты, прозрачно курится, кажется живым, осязаемым, чуть зеленоватым. Это замолоделись горьковатые раkitки да ивы по закрайкам усадьбы.

Неделю пылит моросейко. Попыхивают проволглые туманы. Слюнявятся почки на тополях, прозеленяется осинник. От зеленушных лозинков сосульки, свисающие до подоконника, кажутся хрустально-зелёными. И вода в разрастающейся с каждым часом луже у порога — перламутрово-зелёная, и синицы — жёлто-зелёные. Нахохлившийся хутор ухаёт в зеленовато-прозрачную бутетень.

И голос бабушки, плещущей ковшиком в корыте у крыльца — молодой, звонкий и весёлый.

— Кажись, со дня на день заполоводит. Вишь, как наддаёт!

Весна подступила к хутору тайными тропками, освоилась и взяла в полон.

А ведь совсем недавно хаты прятались под белыми ушанками, к сараям ковыляли присыпанные золой да соломой стёжки. Хутор не дышал ещё за-

пахом парного навоза, смешанного с тонким ароматом набухших почек бузины. Сад был усыпан цветами последнего снега. Завьюженная февральскими метелями Крома напоминала о себе лишь редкими протоками на Облоге. Мох на соломенной крыше сараюшки серебрился в полудрёме.

Всего лишь пару недель назад мело и куролесило. Потом поутихло. Думали: оттепель. А оно как закаркает! Как зажурчит! Как забормочет!

Ухают льды на реке, пучатся, лезут на берега, треща и подминая лозняки, несутся опрومتью ручьи.

Воробьи днями чебурахаются в луже посреди двора. Их щебет и драки не дают покоя измученному бессонницей Лентяю. Он жмурится, лёжа на просохшей скамье, и нервно передёргивает хвостом.

Отогрелись в парном тумане хриплые галки-серошейки, говорливыми гирляндами облепляют провода, обсуждают последние хуторские радости.

Тополя за околицей стонут от грачиного базара. Стаи срываются и летят к рыжим проталинам. Осмотрев окрестности хозяйским глазом, строят планы: суматоха продолжается.

С утра бабушка тайком ходила куда-то, сказала только: «За ключами».

К обеду вернулась, принесла из Савина лога букетик первоцветов. Она у меня – старушка-лесовушка. Сколько побасенок лесных знает! Исходила местные урочища вдоль и поперёк. Каждый кустик ей ведом – и близ хутора, и за дальними пригорками.

– Про ключики от Царствия Небесного я ещё от своей бабушки слыхала, а она от своей. Давно это было... давно... – начинает рассказ бабуля.

– Да кто знает, правду ли было-то, коли давно? – встречаю я.

– Не сумливайси, сказано тебе, было, значит, так оно и было.

Бабушка не терпит возражений. Всю жизнь верит она в эту небылицу и ранней весной спешит сыскать на лесной полянке «баранчики», похожие на связку крошечных ключей.

– На счастье ключики те, на радость, – приговаривает старушка. Идёт в красный угол и рядом с Евангелием ставит золотистый букетик в гранёном стакане.

– Плесни-ка, милая, в чайник водицы. Заварим прошлогодние, – подаёт высохшие цветики.

– Чтобы не болеть, бабуль?

– От ста хворей, детка, от всех болестей.

Бабушка вынимает из шкафа накрытый полотенцем щавелевый пирог, достаёт с верхней полки чашки.

– Возьму тебя с собой на будущую вёсну. Стара стала, помру, кто ключики сберёт, домой принесёт?

– Ты бы нынешней весной сводила, показала заветную полянку! – умоляю я.

– Сказывают, проштрафился Апостол Пётр, обронил в стародавние времена ключи, – старушка словно не слышит моей просьбы.

– А что за ключи-то важные такие, бабуль?

– Дык самые наиважнейшие, девонька, от ворот райских. Он ведь Господом к Вратам Святым приставлен. Ключником, что ль, по-нашему, аль хранителем служит.

- Ох, и попало, наверно, Апостолу от Всевышнего?
- Ты поперёд не заскакивай, не торопи меня, старую, – бабушка подливает чайку и продолжает сказ о ключах Святого Петра. – По нечаянности беда-то приключилась. Поясок, на котором они висели, развязался.
- Кто ж вернул ключики, небеса-то вон какие?
- Долго утеряны были... долго. Только послал Апостол Пётр Ангела на поиски, тот вмиг и доставил. Сыскали, как не сыскать-то святую вещь? У нас на Земле, на проталине лесной за нашим хутором лежали.
- За какими же ты ключами по весне в лес торопишься, коли Ангел Божий давным-давно их поднял да Петру вручил?
- Дык, – сказывала бабушка, – в том месте, где связочка золотая упала, проросли первые золотистые цветики.
- Видать, отпечатки от ключей остались, – размышляю я.
- Так ли, нет ли, только первоцветики эти – ключики, значит, Святого Петра – врата весны да закрома с цветами-травками пользительными откутают. Это уж точно. Сыщешь первой, счастье в дом принесёшь. Сбирать их по чуточку можно. Не как вы с Галкой, надерёте на Мершине ромашек охапками, да побросаете через час. Где на вас земляки красоты нарожается?
- Их же тьма тьмущая, хоть косой коси, – сопротивляюсь я.
- Нешто можно так-то с благодатью Божьей? У Господа каждая былинка на счету. Рассерчает, что без надобностей цветики изводите, нашлёт на другой год колюки да татарник, – пугает бабушка.
- С приходом весны собирает она травы и лечит хутор от хворей взварами да примочками, да словом Божьим. По-особому чует природу. Я всегда мечтала перенять эту бесконечную любовь к деревьям и ягодам, к птицам и родникам. Хотелось, чтобы и мне, как бабуле, поведал свои тайны хуторской бор, чтоб неспешная Крома нашептала, что она скрывает в своих мутных водах.
- ...День и другой допекаю старушку, уговариваю смотаться в лес.
- Бабуль, а бабуль, не дотерплю я до следующего года, – клянчю и хожу за ней хвостиком.

Как раз пообдуло коровьи тропки по косогорам. Бабушка сжаливается.

– Только не ныть, а то враз домой спроважу, – грозит.

Отправляемся в рощу за берёзовыми почками «от лёгочных хвороб».

Впервые оказываюсь в непросохшем весеннем лесу. Весна распаивается, и я впитываю её в свою маленькую душу.

Вижу, как в дремлом полове пылят заросшие серебристыми листьями кряжистые ольхи. Как причепурился, выкинул висюльки-серёжки удочник-орешник. Слышу гулюканье новорожденного грома, дивлюсь белобашенным дворцам в бездонном небе. Присаживаюсь на корточки и слежу за бойкими мурашками, хлопочущими вокруг осевшего за зиму муравейника.

Наблюдаю, как проворные лучи касаются земли, и подымается пар. Сохнут жухлые прошлогодние травы, освободившись от остатков снега.

Внутренним слухом чую, как полнятся соками дородные берёзы. Корни трав, напитавшись талыми водами, ждут не дождутся, когда под солнечными потоками напроць схлынут надоевшие снега. Вижу за мутными перелесками

невидимые косяки диких уток. Спешат, родимые, на наш камышовый прудок у дряхлой мельницы.

Кажется, понимаю, о чём переговаривается старый длинноносый ворон с важно раскрылехтевшейся подругой. Пора, мол, на гнездо. Займись-ка попомством, весна накатывает, до травки недалеко.

...Мы поднимаемся на опушку и чуем, как воздух распирает от густого, словно гороховая похлёбочка, аромата.

— Знать «первушки» объявились, — всплескивает руками бабуля.

Так она строчки кличет. Надо же! Ещё от лошин холодом веет и снега ползут по склонам, а они уж рвутся на свет Божий.

Грибы эти, как «Петровы Ключики», — подснежники.

По апрельской распутице тащат их хуторяне вёдрами из окрестных лесов да подлесков. Лишь омоет первый дождичек земельку, выскочат по припёкам крупные, бурые, мурластые, как щенки бульдогов, строчки. А за ними, глядишь, и сморчки заспешат.

— Первый приварочек, — радуется старушка, собирая молоденькие, хрустящие грибочки прямо в фартук. — Пирогов к Вербному с ними настряпаю.

Наколупатили почек берёзовых целый холщовый мешочек. Обежали не одну поляну. Устали.

— Надо бы поползничать. Ить заморилась, небось, да и проголодалась на вольном духу-то.

Бабушка подкладывает сухие былочки под валежник, разыскивает два перестарка-грутовика, трёт их и запаливает костерок. На лозинки нанизываем кусочки хлеба, ломтики сала и самые мелкие строчки. Жарим над костром.

Хлебушек поджаривается, сальце шкворчит, а строчки, похожие на дряблых старичков, сморщиваются ещё сильнее.

— Вишь, набрякли, тряпицами мокрыми обвисли, — замечает бабуля.

Поджариваясь, грибы издают такой вкуснящий дух, что текут слюнки.

Не замечаешь, как жарёха заканчивается, но до вечера во рту остаётся её непривычный вкус.

На обратном пути заворачиваем в перелесок. Я ахаю. Золотым ковром стелятся косогоры. Баранчики! Ключи от весны!

— Вот, милая, и поляночка с «Петровыми ключиками». Припоминай дорогу-то. Вправо от березнячка повернёшь, не заплутаешь.

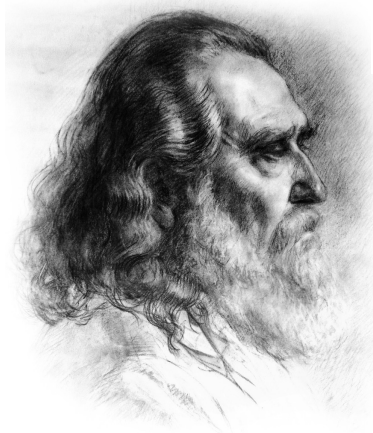
Ключики вытянулись, окрепли. С тех пор, как бабушка первенькие принесла, уж несколько дней пролетело! Стоят, на ветру покачиваются, на солнышке греются.

— Самая пора, — бабушка пробует бархатистый листок на вкус. — Приглядывай, запоминай, — толкует. А сама по ведомым ей одной приметам срывает только по листочку с куртинки.

... Ночью снится расшитая солнцем поляна. Весёлый апрельский ветерок дзынькает золотистыми ключиками.



ПЧЕЛИНЫЙ БАТЬКА (МЫСЛИТЕЛЬ)



Вёрст за пять от Сеножатного, на южном склоне Почуй-холма, в непролазных зарослях лилового кипрейника да золотистого донника укрылись времянка и пасека деда Михея. Семей под тридцать пожуживают в любовно сложенных ульюшках. Раньше-то до сотни доходило, а теперь, как не хорохорится дед, силы уж не те. Правда, на вид ему – не больше шестидесяти. И не подумаешь, что Михей под Масленицу девятый десяток разменял. А всё медок да дух вольный!

Молодцевато подтянутый, всегда в свежей рубаше (пчёлы дурных запахов не терпят), снуёт он день-деньской от колоды к колоде. С утренней зорьки до позднего заката крутится, дымарит около своих подопечных: то рамки ставит, то подкармливает, то медогонку налаживает.

Сетку надевает за редким случаем: коли рой разбуйнится или ещё какая оказия приключится. А так – зачем? С окладистой белой бородой, прожаренный солнцем, пропахший вощиной, мёдом и духом цветущих трав, дед давно стал похож на большую хлопотливую рабочую пчелу, а те, как известно, своих не трогают.

Себя он называет «пчелиным батькой», никак иначе. «Матка в гнезде за малышней присматривает, ей недосуг, а уж я снаружи за старшими доглядываю», – подшучивает Михей.

Деревенские деда ещё интересней кличут – Мыслитель. Долгая одинокая жизнь на пасеке, как говорит Михей, «в улье», способствует всяческим размышлениям: о людских отношениях, об устройстве государства, о месте человека в Божьем мире. Соскучившись по общению, Михей радуется всякому, свернувшему на чуть приметную в цветастых покосах тропинку, ведущую в его отшельный уголок. И, к чему скрывать, за чашечкой духовитого чая из чабреца или можжевельника с разнотравным молодым медком любит и может Михей от души потолковать, пофилософствовать на какие-нибудь заковыристые темы. От приземлённых (на каком клине в будущую весну гречу посеять или где бы мешка два семян рапса раздобыть) до большой политики (кому это так насолила Польша, что разом убрали всё правительство).

Дед отлучается со своего хуторка и появляется на людях по Великим праздникам. И непременно с подарками, с угощением. Кто только не от-

ведал его медку! А коли прихворнёт какая старуха или дитя малое – сразу снаряжают посыльного к Михею. Мёда не пожалеет, а то и снадобье изготовит. На каждую болячку у деда свой рецепт. Вся продукция его хозяйства в ход идёт.

Есть у пчелиного батьки и собственный секрет долголетия. На протяжении всей жизни не выкинул он ни одной погибшей пчелы. Соберёт по весне из ульев подмор, высушит во времянке на печурке, растолчёт в мелкую крошицу. Зальёт в тёмной бутылке первачком и настоит в чулане. А потом весь год добавляет по чайной ложке в чаёк. Живёт себе батька, здравствует: и простуда ему нипочем, и зубы, словно у молодого коняги (лещинку в раз расщёлкивают), и сердечко, что мотор у новой председательской «Нивы».

А сколько семей он в округе своими советами спас! Не один мужик заглядывал вечером на хутор к деду Михею. Так, мол, и так, жена помоложе нашла, не тот я уж стал. Насыплет пчелиный батька мужичку в холщовый мешочек бурого порошку. Из чего состряпал, конечно, не пояснит. Да несчастный и спрашивать постесняется. Велит лекарь порошок тот настоять да принимать перед вечером по столовой ложке. Во скольких дворах его вспоминают с благодарностью, а крестников, крестников у деда!

Рассказывают, мучилась Марья Потапова, по врачам ездила, к знахаркам обращалась, никак с бедой своей справиться не могла. В деревне поговаривали, мол, Зинка, ближайшая её подруга, за Кольку Петрова порчу на неё навела. Извелась девчонка от экземы. Не выдержала, постучала как-то в Михееву калитку. Деду долго думать не надо. Велел через неделю заглянуть.

Сходил в Рябую лошину. Набрал зверобоя. На обратном пути свернул на кукурузное поле, нащипал с початков рылец. Прихватил подорожника, благо его хоть косой коси. Сломал веточку полыни. На задворках разбуреломилась, раздушилась, за версту учуешь. А от шалфея Синь-гора волной перекатной колышется. Так Михей его, шалфея этого, целую охапку притащил, сгодится. Пережарил дикого лука-луговика. Залил стаканом конопляного масла. Самое главное – настойку прополиса не забыл. Через неделю зелье устоялось и принимай, девица, на здоровье. Всего-то и дел – пить по полстакана перед едой.

На Покров уж сидел Михей посажённым отцом на Марьиной свадьбе. Правда, Зинка с тех пор с дедом не раскланивается. Ну, так ещё не вечер, может статься, и самой пчелиный батька зачем понадобится.

А то ещё случай с Макарихиным Васяткой был. Работал он где-то в Кемерово на шахтах. И вдруг приезжает домой. Так, мол, и так, помирать собрался. Открытая форма туберкулёза, ничто не помогает. Макарьиха скорей на песeku к Михею. Тот не пообещал, но обнадёжил. Попробую, мол, и задумался.

Взял опять же настойку прополиса, липовый мёд, кедровое да репейное масло, смешал да ну выхаживать этой микстурой больного. Говорят, парень опять на шахты отбыл. А в благодарность подарил Михею коня. Тяжело, мол, с хутора в такие-то годы добираться.

Сама же я столкнулась с пчелиным батькой, когда, приехала в Сеножатное отведать тётку. Поработав на покосе, с непривычки перестаралась, а потому свалилась от радикулита. Скрутило так, что вздохнуть невмочь. Поначалу тётка пыталась своими силами поставить меня на ноги. Дед, мол, Михей помогает, а мы что, ай без рук. «Мёдом любой вылечить сможет», – заявила она и растопила баньку.

Смешала в махотке мёд, соль и яичные желтки и затолкала меня в парилку. Только я выскочу, она меня своим снадобьем смажет, и опять в парилку. А потом ещё вечниками: то берёзовым, то сосновым. Вроде отлегло, но не надолго.

Через день старушка сдалась, зашпешила к деду Михею. Рассказала о своём пользовании. Дед усмехнулся в бородку, запряг Карего, доставил тётку до хаты, а меня, усадив в телегу на свежескошенное сено, забрал с собой.

И вот уже две недели живу я у пчелиного батьки на хуторе. Лакомлюсь вкусными сотами, терплю дедовы философствования, дышу густым, словно гречишный мёд, воздухом. И, не ведая того, вместе с телом лечится душа моя, покрываясь, словно цветочной пылью, красой хуторских окрестностей.

Пасека у Михея тихая, уютная, вдали от дорог и деревень, у самой кромки старого осинника. Небольшой клочок бахчи с грядкой лука-порей, веснушчатые зонтики самосевки-укропа да будылистыми подсолнечниками, развесившими свои выгоревшие, заломившиеся по краям шляпы на присевшую в крапиву кривую ореховую изгородь.

Камыш, покрывающий Михеево жилище, связанный на самой макушке в большой взъерошенный хохол, позеленел от распolzшихся по нём, словно престарелых прудовых лягушек, плюшек бархатистого буро-зелёного мха. Времянка покосилась на заднюю стенку. И издали кажется, что и не сараюшка это вовсе, а старичок-лесовичок в надвинутой по самые брови соломенной шляпе, с ползакрытыми ставенками-глазками, присел передречь под кипенными шапками расцветшего калинника да так и спит себе уж который день, баюкаясь неумолчным мелодичным жужжанием дедовых пчёл.

Крушинник, вырвавшийся из тени неохватных осин, напирает на пчелиную обитель почти со всех сторон. И только с востока, наверно, нарочно для того, чтобы Михей и его неугомонные любимицы могли любоваться восходами, открываются такие дали, что глаза устают рассматривать заливные луга, поспевшие покосы, серебристые вётлы над излучиной осокушки-речки. А там, дальше – поля выколосившихся хлебов. Чуть левее – сине-розовый сосновый бор, разложивший на перистые розово-перламутровые облака свои могучие ветви-опахала. И на ростанях почти невидимый (разглядела, когда ехала на хутор), увитый диким хмелем старый-престарый придорожный крест с образом Казанской Богородицы.

Ульи у Михея смотрят летками на юго-восток. В той стороне, в полукилометре от пасеки, пенится гречишное поле. Лишь только солнышко заиграет над Песчаной балкой, да порозовеет березняк в Зареченской рощице, выскользнут из ульев пчёлы-разведчики, а следом – всё крылатое рабочее население. И заснут неугомонные взад и вперёд с утра до вечера.

– Трудяги они великие, – нахваливает пчёл дед, – что там – сто граммов мёда. А поди ж ты! Сто сорок тысяч километров надо намотать пчеле, чтоб собрать его всего лишь полстакана.

– Это откуда у тебя, дедусь, такие точные сведения? – интересуюсь.

– Ну, не зря ж меня Мыслителем кличут. Я за жизнь столько о них перечитал, передумал! А сколь перенаблюдал! – поясняет Михей, протягивая сетку и халат.

Дед, прежде чем приступить к лечению, решил познакомить меня со своей братией, чтобы знала, с кем дело имею. Кое-как кандыляю к колодам, Михай подставляет лавочку. Сижу, наблюдаю, как он, приоткрыв крышку крайнего улья, дымарит на рамки, просматривает, готовится брать мёд. Уж и медогонку у завалинки пристроил.

С летка ежеминутно одна за другой поднимаются в воздух пчёлы, набирают высоту и стремительно исчезают в полуденном июньском мареве. Навстречу им, тяжело гружёные, летят другие. Они грузно опускаются, с гулом пикируют, словно бомбардировщики, на леток, семят к крошечной щёлочке в улей, в гнездо. И сразу же теряются среди тьмы таких же хлопотливых существ.

Михей, ничуть не страшась, голыми руками, вынимает рамку за рамкой. А на них – живая каша!

– Народец этот смыслённый, за добро добром платит... Неблагодарного люда сколь на свете! А за пчёлами чуток ухода – и с лихвой расплатятся.

– Видать, вы друг друга понимаете, – поддакиваю, а сама обмираю, никак не могу привыкнуть к зунделкам, ползающим по сетке у самых глаз.

– А с ними нельзя по-другому. Только дружкой, уважением, иначе не подходи – съедят.

Михей носит мимо меня рамки, и я замечаю: чем ближе к центру сотов, тем реже просвечивает из-под копошащихся, неподвижных, ползающих и переминающихся пчёл строгое плетение ячеек. На первый взгляд, незатихающее хаотическое движение в застывшем узоре из нежно-кремового воска.

Одни пчёлы вползают в пустые ячейки, забираясь в них целиком, другие, словно облудившись, нанюхавшись терпкого нектара, неприкаянно бродят туда-сюда по сотам. Есть и те, что выкарабкиваются, пятятся из ямочки, стараясь не нарушить сон крошечных личинок, прячущихся на самом дне.

Вот запыхавшаяся пчела, вся в цветочной пыльце, усевшись ножками на края ячейки, начинает головой трамбовать корм. Выбиваясь из сил, тащит из глубины гнезда труп осы пчела-санитар. Вылетает, не выпуская своей ноши, и мчит подальше от пасеки.

– Мне думается, жизнью улья руководит не царица-матка, а несколько пчёл одновременно, – выдаёт Михай свои соображения, – сами-то они в работах не заняты. Наблюдают за медовым и восковым промыслом. Опять же – налаживают связь с разными группами пчёл.

– Да ты, дедунь, и впрямь философ!

– Какая тут наука! Присмотрись и увидишь. В каждом уголке гнезда кипит, кажется, непонятная нашему разуму жизнь, а приглядишься, и суматоха на сотах перестает казаться беспорядочной.

– Хочешь сказать, что тысячи четырёхкрылых насекомых в этом скопище связаны какими-то взаимными отношениями?

– А чему ты удивляешься, – возмущается Мыслитель, – ещё издревле люди находили в поведении пчёл отражение уклада их собственной жизни.

– Ну, о том, что на стенах египетских пирамид встречаются изображения пчёл, а в сокровищницах золотые украшения в виде этого крошечного существа, я тоже когда-то слышала. Но чтобы говорить об их разумном поведении – это слишком!

– Если уж толковать о древнем мире, так египтяне, коли хочешь знать, видели в пчелином гнезде государство во главе с пчелой-фараоном. Представь себе: сидит этакая матка-фараонша в окружении свиты, над ней слуги веют опахалами усиков. А в это время к её стопам несметное множество рабов снашивает сладкие подношения.

– Так мы и до цивилизации особой, пчелиной, договоримся.

– А что? Всё может быть. Плиний и Платон, например, считали, что пчелиным обществом руководят аристократы – трутни, а «царь смотрит за делом». Ну, это я думаю, они перевирают. Трутни – они и есть трутни. Их и терпят-то пчелы только до поры до времени, пока матка детвы не начервит. А потом, ближе к августу, взбунтует народец пчелиный и поднимет революцию, вышвырнет самцов-дармоедов из колоды, как они ни сопротивляются.

Поражаюсь познаниям простого бортника, но сдерживаюсь, не показываю своего удивления, чтобы ненароком не оборвать нить увлекательного разговора.

Мыслитель выносит из времянки собачий тулуп, расстилает его на травке и манит меня.

– Насмотрелась? Теперь пора и на процедуры. Ложись, да оголи поясницу-то, не стыдись... ты же хвораешь. А хворой какое стеснение?

Михей берёт стакан, насыпает прямо из колоды пригоршню пчёл. С нескрываемым страхом смотрю на приближающегося лекаря и загодя начинаю стонать.

– Может не надо, само отпустит?

– Не бойсь! Потерпи чуток, скоро, как новенькая будешь.

Зажмуриваюсь что было сил, а дед, как ни в чём не бывало, подлавливает за крылышки первую попавшуюся пчелу и усаживает мне на поясницу. Ощущения неописуемые, а потому передавать их не стану. Скажу лишь, что этот живодёр, мучает меня своими злодейками под Шекспира! У меня не находится слов, когда он, чтобы я не скучала (Надо же язвительный какой! Заскучаешь тут!), принимается читать из «Генриха четвёртого». Слёзы катятся градом, я мычу, стою, но из уважения к Шекспиру Михея не перебиваю.

... У них есть царь и разные чины:

Одни из них, как власти, правят дома.

Другие – вне торгуют, как купцы.

Иные же, вооружатся жалом,

Как воины, выходят на грабёж,

Собирают дань с атласных летних почеч

И, весело жужжа, идут домой,

К шатру царя, с награбленной добычей.

На всех глядит, надсматривая, он,

Долг своего величья выполняя:

На плотников, что кровли золотые

Возводят там, и на почётных граждан,

Что месят мёд; на тружеников бедных,

Носильщиков, что складывают ношу

Тяжёлую к дверям его шатра;
На строгий суд, что бледным палачам
Передаёт ленивых, сонных трутней...

– Вообще-то я, как уже говорил, в пчелиную монархию не верю, – не обращая внимания на мои вопли, продолжает разглагольствовать Мыслитель. – Царица у пчёл, подмечаю, находится под постоянным присмотром и в зависимости от работниц... Смекай, да на людскую жизнь перекидывай... Она не обладает личной неприкосновенностью и престолом. Жизнь отвечает за правильное использование своих царственных обязанностей.

– М-м-м! – то ли соглашаюсь, то ли пытаюсь сопротивляться Михею.

На большее сейчас не способна. Кажется, всю меня распирает изнутри и я, как воздушный шар, вот-вот вырвусь из безжалостных лап этого эскулапа, взлечу, словно дирижабль, над Михеевой сарайкой, над пчелиной обителью и, не удержавшись в безветренном июньском небе, плюхнусь в какой-нибудь ручей! Мне уже всё-равно. Только бы поскорей! И только бы в ручей ключевой!

А Мыслитель продолжает беседовать сам с собой, довольный тем, что есть терпеливый, почти немой, слушатель.

– По правде говоря, матка пчелиная – и не царица вовсе. Я так полагаю: улей – республика, а она в ней только президент... Заглянули б как-нибудь на часок наши управители кремлёвские ко мне на пасеку. Я б им все жизненные законы на примере одного улья растолковал... чтоб в ладу с людьми подопечными жили да чтоб и о вселенских природных законах не забывали. Мне думается, если б дать народам новые законы, списанные с пчелиной семьи, то на Земле процветал бы золотой век. Но при этом ульи – а ты мысли: государства – могут благоденствовать только тогда, когда каждая пчела соблюдает узколичностный интерес.

– Мандевиль! – хочется показать свои познания. – Философ такой в восемнадцатом веке жил, подобное писал, наверно, он-то и сбивает тебя, дедунь, на свою сторону, – но получается опять только: «М-м-м!»

А деду, видать, слышится: «Мыслитель!» А потому он отвечает: «Это не я философ-мыслитель, это пчёлы – живая философия мира!»

Михей заканчивает лечение и, не ожидая благодарности из моих одеревеневших губ, наконец, выражает соболезнование.

– Потерпи, милая, это попервости... пообвыкнешься.

Он оставляет меня в полузабытьи, держа под своим постоянным прищупом, а сам принимается за мытьё медогонки.

Вспомнив прерванный полёт мыслей, философ, а точнее, пчелиный батюшка, садится опять на любимого конька (ох, и любит потолковать о пчёлах!) и летит вслед за ними через время и пространство, прилаживая законы, подсмотренные у пчёл, для всего человечества.

– Вот, поди ж ты! Создания, лишённые дара мысли, смогли всё ж таки, и не в частностях, а в самой что ни на есть основе, устроить свою жизнь гораздо умнее, чем люди, – и, уже не ожидая моего мнения на этот счёт, Михей делает очередное глубокое умозаключение: прежде чем человек

научился думать, пчёлы настолько наладили свои дела, что теперь и вовсе не нуждаются в разуме.

– У-у! – возмущённо мотаю головой.

– И не спорь со мной понапрасну! Докажу на примере. Взять хотя бы простую санитарию. Сколь веков живём, а грязи и в домах, и на улицах хоть отбавляй. Теперь бери пчёл... Ты заглядывала когда-нибудь на дно колоды? Нет? Так я тебе в миг обрисую! Донце – пол домика пчелиного, вычищен и натерт аж до блеска. И пойми, не иногда, а в любое время суток, в любое время года. Поучиться бы нашим хозяйкам, как дом блюсти. Пчёлы-уборщицы веерами крошечных крылышек регулярно подметают и так безукоризненное дно улья... А уж врачеватели они какие, сама знаешь.

При этих словах, мне вспоминается отходящий в забытье процедурный кошмар, и тут же появляется запоздавшая слеза (а быть может, выжимается лишняя капля пчелиного яда, которым, как я чувствую, по самую макушку переполнен мой разнесчастный организм).

Лежу в тенёчке под навесом. Над моей головой повязанные попарно и перекинутые через жерди берёзовые и можжевельные веники, пучки душицы и ромашки, иван-чая и земляничника. Тут же – целиковые, нанизанные на суровую нитку, лисички и подберёзовики, чуть поодаль – ситцевые мешочки с какими-то корешками и сушёными ягодами.

Летний парной вечер... Лёгкий ветерок прокрадывается под навес и остужает моё измученное тело, а с ним и горячие воспоминания о сегодняшнем дне.

Михей, подуставший от необъятного июньского дня, ставит около меня на табуретку миску с молодым мёдом и банку с малосольными огурцами. Страхиваю с огурчика хреновую стружку и обмакиваю пупырык в миску. Была, не была! Говорят же: «На пасеке жить да в меду не искупаться!» Насквозь пропитаюсь, видно, пчелиным духом.

Дед разводит самовар, пиршество продолжается, и я, кажется, даже забываю о дневных злоключениях.

Михей ещё не успел убрать высвобожденные от мёда рамки, и припозднившаяся пчела, вернувшись домой со вспухшими на задних ножках пёстрыми комочками цветочной пыли, поднимается на соты. Перебегая от одной ячейки к другой, она ловко отыскивает подходящую и одним движением сбрасывает в неё принесённый корм.

Мыслитель, перехватив мой взгляд, замечает: «Если бы у меня спросили, что показать нам иным мирам, да чтобы не стыдно стало, я бы, не раздумывая, посоветовал – кусочек скромного медового сота – самое совершенное воплощение логики».

Спать остаюсь во дворе. В вышине роятся золотые пчёлы, и месяц, словно дед Михей, подпускает в низины туману, дымарит-ухаживает за своей звёздной обителью. В полусне вижу, как в небесных долинах распускаются невиданные цветы. И глаза мои, превращаясь в тысячи пчелиных фасеток, начинают распознавать доселе неразличимые человеком оттенки Вселенной.



КВАС



Квас в селе моём слывёт наиважнейшим напитком и никогда не сходит со стола: ни в зимнюю стужу, ни в летний зной. Пили и пьют его до работы, вовремя работы и после работы. И перед обедом, и после. Он, как хлеб, никогда не надоедает. Хозяйку могут и присовестить, коли на кухне не найдётся жбана, другого этого воистину нашенского напитка.

На каждый день готовят квасок просто и быстро. А вот к празднику – расстараются: для придания особенных оттенков что только не добавляют! У каждого двора свои рецепты и секреты. Их хранят и не выдают десятки лет. А потому у Семёновых – свой квас, у Тимохиных, сразу отличишь, – совершенно другой, фирменный, испокон веку улучшаемый, годами опробованный-распроверенный.

Издревле крестьяне полагают, что квас и усталость снимает, и силы восстанавливает. Поэтому с удовольствием берут в поле кубаны с кваском, прямо из погреба. Как обойтись без этого напитка в летнюю страду? Сызмальства помню, как носила косарям в луга бабушкин забористый, «аж в носу свербит», квас.

До сих пор у нас считают, что квас от многих хвороб помогает. Бабуля «пользовала» болящих односельчан и нередко, на их удивление, приписывала квасные снадобья: и сердечко подлечить, и желудок «подлатать». Не раз вспоминала она, как квас выручал деревню в голодные годы.

Изготовление этого напитка – настоящее искусство. Хотя и немудрёное, но требующее особого чутья и сноровки. С коих времён на Руси известна профессия «квасника»? А в наш век, с появлением пепси-кол и фант квас не по праву отошёл на второе место. Правда в селе всё ещё берегут квасное сусло, передают из кухни в кухню. А вот квасок умудряется заводить каждая хозяйка на свой лад: с ягодами и мятой, с изюмом и хмелем, с яблоками и черносливом.

Бабуля готовила целительные – на травках, на облепихе, на тёрне. Для деда, любившего квасок позабористей, – на хрене и редьке, которые заранее настаивала пару суток на ключевой воде.

В доме нашем любили квас ржаной и ячменный. Иногда, для разнообразия, ставили пшеничный, реже – гречневый и овсяный. С уходом бабушки рецепты упростились, и чаще готовились без сусла, хлебные.

Навсегда в памяти остались бабулины квасные хлопоты. Раньше в нашей деревне в приданое невесты непременно входила дубовая кадка. С такой квасной кадушкой и прибыла молодка (будущая моя бабушка) в дом деда. Как же без кадки-то квасной? Самая наинужнейшая посуда в доме!

В ней соединяли солод с мукой и заваривали кипящей водицей. Эту тестообразную массу – затор вымешивали весёлкой до тех пор, пока не появлялся сладкий вкус. Как говорится: «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается!» Настоящему квасу нужно время. Истопив спозаранку, хозяйка перекладывала затор в чугуны и ставила в печь на сутки. А потом переваливала в посудину да разводила водой. Через два-три часа добавляла дрожжи.

По весне в подвал натаскивали глыбины льда. На этот ледник и выносили кадушку. Перед тем, как выставить в погреб, бабуля сдабривала квас мёдом или патокой, подливала отвар хмеля. Обычно квас у нас готовили из ржаной муки и солода – настоящий русский квас. Правда, иногда бабушка баловала домашних «кислыми щами» – квасом из ржаного и ячменного солода да пшеничной муки.

В печурке обязательно стоял холщовый мешочек со ржаными сухарями. Остатки хлеба никогда не выбрасывались и не скармливались скоту (Боженька накажет!), сушились до золотистого цвета. Из них, из сахара и пшеничного солода готовился белый сахарный квас.

Сейчас приготовить этот напиток – минутное дело: сахар, тёплая вода, чуть лимонки, немного дрожжей, пару чайных ложек байхового чая и – готово. А раньше! Целая церемония, скажу больше – философия. Предки мои придавали ей значение ничуть не меньше, чем китайцы чаепитию.

Кроме хлебного кваса, в зависимости от времени года, готовились фруктовые и ягодные. У соседки справа, тётки Шуры, выпирал за изгородь заросший чем попадая сад. Вишняк склонял свои ветви через забор над нашей бахчой, и к концу июля тётка Шура делилась крупнющими карими владимирками. Бидонами ссыпали ягоду в кадку, бабуля колдовала над ней, а через некоторое время все кому не лень черпали в сенцах из кадушки отбитой по краешку голубой эмалированной кружкой божественный напиток тёмно-розового цвета с ароматом спелых вишен. Пройти, да не испить, кто ж удержится?

На каких только ягодах не стряпала свои квасы бабуля! То черноплодки наберёт в Казюлеевом саду, то по зорьке сбегает с товарками в Савин лог за земляникой. А то затеет квасок покислее, надерёт тайком от деда его «заводского» крыжовника, того самого, что тот не позволял до срока собирать. Или учудит: отрясёт куст чёрной-пречёрной бузины за сеником и заведёт квас цвета августовской ночи, такой, что и пьёшь с опаской, и сдержаться не в силах, интересно ведь, какой он, бузинный квасок.

Но вкуснее всего удавались у неё напитки на травах: на душице и кошачьей мяте, на чабреце и доннике. Угощая кваском, утирая кружку передником, она непременно приговаривала одну из своих любимых присказок:

Квас много народу спас!

Кабы хлеб да квас, так и всё у нас.

И худой квас лучше хорошей воды.

Щи с мясом, а нет – так хлеб с квасом.

Лучшие квасы она готовила к Великим праздникам. К Пасхе заводила особенный, всеми любимый: сушила до тёмно-коричневого цвета ломтики хлеба, сухари заливала кипятком и ставила в тепло на три-четыре часа. Тща-

тельно, через редкую тряпочку, цедила сусло и только тогда добавляла сахар, разведённые дрожжи, сушёные загодя или молоденькие почки-листки чёрной смородины, бледные ворсинистые побеги мяты-мелиссы, несколько горсточек изюмцу, припасённого ещё с осенской ярмарки. Накрывала кадку льняным домотканым рушником, сверху укутывала дедовым овчинным тулупом и лавку с кадушкой придвигала на ночь поближе к печке. Наутро – в погреб. А отведать позволяла только суток через трое.

Иногда вечером на крыльце у них с тёткой Шурой разгорался спор: чей квас сытнее да забористей. И тогда старушки отправлялись по соседям, угощая их прямо из ковша и уговаривая рассудить.

Соседка готовила свой квасок не менее мудрёно, чем бабуля. Мыла столовую свёклу, натирала на крупной тёрке, заливала кипятком, добавляла ук-сусной кислоты, настаивала, затем прибавляла сахар, дрожжи и оставляла для брожения на полсутки. А при угощении сыпала мелко нарезанным молодым лучком и зеленью укропца. А уж соль-сахар – по вкусу, кто сколько пожелает.

Деревенские напивались до отвала, подбадривая то одну, то другую квасницу, а извечный спор так и оставался неразрешённым. Стряпухи не сдавались, полагая, что рецепт каждой самый замысловатый, самый необычный, самый хитрый и, конечно, самый вкусный.

В летнюю страду хозяйки спешили похвастаться своими квасами. Мужики, отведав из каждого кубана, со знанием дела, важно побрякивая, обсуждали достоинства и недостатки напитков. Тот – в меру острый, тот – самый душистый, а этот – «щекочущий», игристый, аж дух захватывает. Все хороши!

Каждодневной, привычной крестьянской пищей на Руси всегда признавалась окрошка – холодный суп на основе кваса. Сколько хат в деревне – столько и разновидностей окрошки. Неизменно одно – квасок. А к нему, по желанию: рубленое яичко или яичница на сале, мясо или холодец, редисочка-огурчик, всевозможная зелень, сдобренная сметанкой, и неприменно – лихой (слёзы из глаз!) хрен. Что можно пожелать лучше в жаркий июльский полдень на сенокосе, расположившись в теньке под ракитовым кусточком?

В мае – начале июня, когда крапива ещё молодая и сочная, когда не успели загрубить языки щавеля-луговика, а на бахче самая прорежка столовой свёклы, в любом подвале в наших краях сыщется кастрюля с ботвиньей. Для неё дедушка загодя налавливал в Кроме краснопёрок да карасиков. Бабуля отваривала их в чугуне и разбирала – удаляла косточки. Обдавала кипятком горсть, другую щавеля, нащипанного в Плоцком логу по пути с полевых работ. Тут же красовалась горка рубинов – кубики только что завязавшейся столовой свёклы. В ход шла и ботва – нежный свекольник. Обдавала кипятком, рубила, растирала с солью молоденькую палисадниковую крапиву. Туда же – пригоршню сочного злого, как соседский Трезорка, лука – батуна. Из плетушки, что принесла с задворок для подвинка Хомки, выбирала росные молочные листочки лебеды. Эта гора зелени сдабривалась духовитым укропом и другими ароматными трава-

ми. Всё заливалось крутым квасом и выдерживалось на холоде. А коли положить ложечку сметанки за обедом в миску с ботвиньей, так и за уши не оттащишь!

Дедушка крошил в квас зелень и хлеб, и это была его любимая пища – тюря. Он ел её как-то особенно смачно, приговаривая: «В завтрак и обед лучшие тюри нет».

Да сколько ещё блюд в русской кухне можно припомнить на основе кваса!

Даже слюнки потекли. А не покопаться ли в бабулиных рецептах, не завести ли старый добрый напиток? Покудесничаю часок на кухне, глядишь, и задастся квасок. Не по душе мне эти «спрайты», не по душе!



НАСЛЕДСТВО

*Перебираю жизни лоскутки,
Остатки ярких, сброшенных нарядов.
Все воды внешние за счастьем утекли,
Им возвращаться в прошлое не надо...
А мне куда от памяти моей?!
Пропето, отгорело, отзвучало...
И лоскутков не хватит для затей
Лоскутного, как в детстве, одеяла...*

Н. Акимова

I



Мама, переспорив родственников, наперебой предлагавших для новорожденной вычурные имена, назвала её Надеждой.

Когда Надя подросла и полюбопытничала, почему у неё такое «простецкое» имя, мама растолковала: «Даже в самую трудную минуту, когда может показаться (не дай-то Бог!), что тебя в жизни ничего не держит; если ты останешься один на один со страшной бедой и некому тебе помочь, знай, что ты не одна, у тебя есть НАДЕЖДА – ты сама. С таким именем ты просто обязана верить, что все несчастья, которые редко кого обходят стороной, обязательно минуют, и всё образуется».

Надя уж и позабыла тот давний разговор, но, видать, имя у неё, действительно, не такое обычное, как ей казалось. По крайней мере, каких-то больших напастей (кроме

развода) за сорок с хвостиком с нею не приключилось.

Школа, институт, рождение сына, всё, как и положено, как у всех хороших девочек. Может быть, судьба и до конца дней не заморачивалась бы, но вот уже десяток лет она выживает в другой стране. Не стало той, в которой она росла, училась, начала работать. Канул в Лету Советский Союз.

К этому ни она, ни её родные, ни соседи, ни сотрудники не были готовы. Неразбериха сбила с привычного ритма столицу, прокралась и в её провинциальный городишко. На Надиных глазах рушился десятилетиями устоявшийся уклад, а с ним надежды миллионов людей на покой и стабильность.

Видно, настал тот самый, тяжкий, час, о котором когда-то говорила и которого так опасалась её мама. Беды посыпались одна за другой. Ну, так ещё

бабушка сказывала: «Пришла беда, отворяй шире ворота, потому как одна она в гости не наведывается, всё с сестрой да с кумой».

Первый раз она (эта треклятая беда) возникла в образе заведующей их отделом Людмилы Петровны, которая объявила о сокращении штата на семьдесят процентов. Среди «осчастливленных» оказалась и Надя.

Закончив ИНЯЗ, она двадцать лет отработала на заводе. Переводить технические бумаги – скуотища, не весть какая. Но это кормило. Конечно, они с сыном Витей жили более чем скромно. Надя научилась превращать бумажные купюры в «резиновые» – растягивала зарплату так, что хватало одеться-обуться-прокормиться, выкраивала даже на Витину художку. Продуктами помогали родители, так и не рискнувшие (как она их ни уговаривала) переехать к ней в город.

В той, заводской, жизни случались и маленькие радости.

Как-то в День её Рождения сотрудники скинулись, и, когда утром она пошла к своему столу, обнаружила на нём длинный алый футлярчик с ниткой крупного жемчуга.

«Розовый, икринка к икринке! – затараторила подруга Катерина, заглядывая через плечо. – Примерь, примерь, или не рада? Это тебе от нашей дружной компании. Заметь, неделю в очередях из-за этой прелести толкалась, выстояла!» – отрапортовала она с гордостью.

Надя, конечно, порадовалась, даже разволновалась. На хлеб, одежду она ещё наскребала, а чтобы украшения! Это откладывалось на неопределённое будущее.

Но через несколько месяцев завод обмер в недобром предчувствии, едва дышали кое-какие чудом уцелевшие цеха.

Она вышла через проходную в звонкий апрельский день. В лужах чуфыкались воробьи, на газонах «трещала», пробиваясь сквозь прошлогоднюю листву, первая поросль. Весна дирижировала в сквере неумолчными грачинными оркестрами. После зимнего полусна снова зажурчала, зазвенела, набирая обороты неумная жизнь. Всё вокруг жило в ожидании каждодневных перемен, чего-то обязательно лучшего, светлого и радостного.

А Надежда шла по улице с сумкой, в которой среди толстенных, скопившихся за двадцать лет словарей, затерялся тонюсенький конверт с последней зарплатой. О том, когда она, эта вечная головная боль – зарплата, появится снова, придавленная навалившейся безнадёгой Надя в те злосчастные минуты мыслить не могла. Она знала, как не просто сыскать более-менее оплачиваемую работу. Ежедневно предприятия города за проходные, в никуда, выплёскивали потоки рабочего и служащего люда, разом ставшего лишним, ненужным.

Надежде вспомнилось вдруг, как перетерпевала горе-несчастье её мать. Всегда жизнерадостная и открытая, она вдруг суровела лицом, замыкалась. Становилась немногословной. Действия её приобретали совершенно выверенные движения. Напрасно не растрчивались ни слова, ни взгляды. Нарядный пуловер заменялся на повседневную, штопанную-перештопанную кофту. А самое главное – мать искала утешение, а быть может и силы, окунаясь с головой в работу. Перестирывалось нужное и ненужное, выпекались башни

блинов, открывались кладовки: чистилось, драилось, выметалось, выскабливалось. Уходя с головой в хозяйство, она отвлекалась от неприятностей, монотонность хлопот наталкивала на размышления. Проходил день-другой, и в голове её созревало решение, отыскивался выход из неурядиц.

Обнаружив, что, наконец-таки, в доме и во дворе всё блестело и сверкало, а мать, куда-то сбегав, с кем-то потолковав, снова прихорашивалась у трельяжа, Надя понимала: схлынуло, отлегло у родимой на сердце, разрешились тяготившие её напасти.

Дома, задвинув под письменный стол сумку со словарями, Надежда сняла бусы, уложила в бархатный футлярчик и вместе с конвертом подоткнула в комод под стопку постельного. Мелькнуло: «Надо, чтобы Витя о случившемся не знал как можно дольше. Пусть живёт спокойно, а то задёргается... выпускной класс».

И начались каждодневные пустопорожные скитания по неотягощённому предприятиями городу. Но там, где, надеялась она, могли бы пригодиться её знания, опыт, шли свои увольнения, сокращения. Надя обивала пороги школ. Но (как никогда!) учителя держались за свои безденежные места мёртвой хваткой.

Город переполнился безработными, превратился в огромную барахолку. Торговали всем, чем только могли. Занищавший люд тащил на рынок накопленное годами. Рядом с извечными базарными торговками, не стесняясь знакомых, стояли инженеры, квалифицированные служащие, врачи, студенты, учителя.

Надя, перехватив денег у Катерины, которая каким-то волшебным образом всё-таки держалась в отделе, смоталась в столицу, накупила всякой всячины и тайком от Вити вышла на базарную площадь.

Боже мой! Разве станет кто-нибудь рассматривать её копеечные безделушки, когда все только и делают, что измудряются хоть как-то «втюхать» рекой слоняющемуся безработному люду что-нибудь из своего «бесценного» товара.

И вот настал тот час, когда у Надежды кроме неё самой действительно ничего не осталось.

Слава Богу, Витя этого не видел. Уже год, как он учился в МАРХИ. Сам поехал, сам поступил, сам устроился в строительную фирму на работу, освоил какую-то итальянскую штукатурку, подрабатывал. Как бедовал, не рассказывал, но домой не возвращался. Даже ей помогал. Стыдно... А что подлаешь?

Явился под Рождество. Заглянул в холодильник. Только и сказал: «Всё ясно. Мышь повесилась. Собирайся». Сгрёб её, повёл в магазин, набросал в тележку круп-макаронов, банок-консервов, прихватил бутылочку её любимого брютда да мандаринов, расплатился. Встретил с матерью праздник и снова уехал. Какие там студенческие каникулы!.. Спасибо Господу за сына...

Надежда – одна из тех женщин, которые между сорока и сорока пятью проживают десяток лет, которому не под силу затронуть ни красоты, ни стати. О таких, как она, обычно говорят: «Без возраста». Это у Нади по материнской линии. И мама, и бабушка, и прабабка – светловолосые, голубоглазые,

ростом – чуть выше среднего. Крепкие, ладные. Долго копались в женихах, но зато замуж выходили раз – и навсегда. И хотя Надежда поломала эти традиции, не стерпела, развелась-таки со своим непутёвым гулёхой Николаем, видать, как все её родственницы, осталась убеждённой однолюбкой. Научилась не замечать ни на работе, ни на улице сластолюбивых взглядов.

Безрезультатно колеся по городу в поисках заработка, забредала она то в одно, то в другое учреждение. Однажды, устав от недвусмысленных намёков работодателей, переступив порог Дома творчества и обнаружив, что из кресла директора выглядывал неказистый мужичонка, Надя подумала: «Ну, с этим можно сосуществовать спокойно. С такой внешностью женщин надо не обходить стороной, а обегать за пять вёрст». И, окрестив начальника «Жабом», согласилась на невесту какой, но всё же – оклад!

Через месяц она снова штудировала газеты, наматывала десятки километров в поисках хотя бы какого-то приработка. Жаб оказался на редкость предприимчив. В кабинет, где она (вспомнив о своём давнем увлечении) во второй половине дня занималась со школьницами домашним рукоделием, переместили зачем-то диван. И Жаб зачастил к концу занятий с проверками, напрашиваясь на нескафе-голд, который приносил каждый раз с собой, а, уходя, незаметно прихватывал до следующего раза.

Поначалу Надя, превозмогая отвращение, терпела посещение начальника, оттирая после него до блеска чашку, сердилась сама на себя – вот, мол, до чего нищета доводит, будь её воля, воздухом одним бы дышать не стала.

Но в марте, поздравив за праздничным застольем женский коллектив, подвыпивший начальник, перехватил её в тёмном коридоре. Прижал своим мягким противным глобусом, спрятанным под длинный, в горошек галстук к стене, и его короткие жабы лапки заскользили по Надиной шёлковой блузке, она рванулась что было сил, залепила пощёчину, вытянулась, как струна (казалось, даже подросла), и быстрым шагом направилась прочь. С оборвавшейся нитки сыпались на паркет, стучали, подпрыгивали и раскатывались по шелем её любимые бусы, но она старалась этого не замечать.

Добравшись до дома, упала в прихожей на стул, не раздеваясь, просидела несколько часов, повторяя: «Беда! Вторая! Жди третью...»

На утро, вволю нарыдавшись (на новом месте не успела даже первой зарплаты получить, а идти за ней она уже не могла себе позволить), взяла ножницы и, не помня, что творит, обчекрыжила свою чудесную шевелюру. Вымыла рамы, перестирала шторы, вытащила на свежий, принесённый внезапно вчерашней метелью снежок, дорожки. Лупила по ним с такой силой, что сломала выбивалку. Вечером, окинув придирчивым взглядом квартиру, подуспокоилась. Но потом опять две ночи не спала, просыпалась и редела, редела.

Наконец, с красными рачьими глазами, посеревшая и осунувшаяся, постучалась к Катерине подровнять как зря торчащие локоны, подвести за чаем итоги очередной неудачной попытки обрести хоть какой-то достаток.

«Не дрейфь! Прорвёмся, – поддержала Надежду никогда не киснувшая подруга. – Или в стране что-нибудь изменится, или сами что-нибудь надумаем, не может же так продолжаться бесконечно». Катерина понимала, что и она в любой момент может оказаться безработной, да ещё и без крыши над

головой. Прозябала она уже с десяток лет в ведомственном жилье. Но такова уж была подруга. Вот кого надо было назвать Надеждой!

Зиму Надя перебивалась частными уроками (Катерина где-то раздобыла для неё двух выпускниц), постройнела на пару размеров, еле-еле сводила концы с концами, но держалась. Родителям так и не осмелилась заикнуться о своём житье-существовании.

Им и своего горя хватало. Гордая, сильная духом мама слегла. Обострилась застарелая болячка. Казалось, что держалась матушка теперь только этой самой силой духа. Больше уж и нечем. Как такой о своих горестях плачешься... Отец? Если быть честной, ему – спасибо... за то, что упрямился, не переезжал к ней, освобождал от тягот по уходу за больной мамой. Не обманешь родительского сердца. Видать, догадывался родный, как не сладко ей приходится.

Надя, как только объявлялись какие-никакие деньги, мчалась проводить стариков. Постирать-приготовить, помочь по дому, в огороде. Просто потолковать, приободрить, мол, у неё всё в порядке. А мама не верила: «Глаза у тебя, Надюша, грустные. Ох, неладно что-то у тебя, неладно!»

Под Троицу опять приехал сын, опять потащил по магазинам. Надя сопротивлялась.

– Зачем тратишься? Откуда такие деньжищи?

– С работы, вестимо! – отшучивался Витя.

– Вагоны перегружаешь? – вспомнила она, как в её молодости ребята-однокурсники бегали по ночам прирабатывать на вокзал, а потом, на лекциях, вповалку спали.

– Специальностью, специальностью надо зарабатывать. Я, как ни как, – будущий архитектор! – улыбался Витя, но тайну своих доходов до конца не раскрывал, секретничал.

Она знала: упрямый, с расспросами лучше не приставать. Тихо радовалась: «Мужик растёт!» А с этой потаённой радостью затеплилась и надежда: может, хоть мальчик (чем чёрт не шутит?) при его характере вырвется из болота, которое её уже, видать, никогда не отпустит – опереться не на что и не на кого. Рядом – такие же, мечущиеся в безысходности друзья, знакомые, соседи.

II

В тот день Надя пересаживала свой любимый плющ. Вымахал, за последний год, раздвоился, проскользнул из прихожей одним усом в кухню, другим заполонил спальню. Катерина прозывала его почему-то «мужегон» и каждый раз ворчала – мол, сколько тебе говорить, подруга, избавься ты от этого лопуха. А Наде нравился его вездесущий норов, его неумное стремление к жизни. Цветок прищемляли дверью, отхватывая огромные плети, забывали поливать, а он – молодчага, всё прощал, имел весьма сносный, даже на редкость терпеливый характер. Ну не могла Надежда согласиться с такой необоснованной кличкой для любимца – «мужегон»! Для неё он был чудодерево, привезённое из Сочи, напоминание о единственном, самом ярком семейном отпуске, после которого и появился её Витюшка.

Прикупив в магазине громадную кадку, Надя пыталась перевалить в неё плющевое, непомерно разросшееся корневище. Руки по локоть в земле. Умаявшись, сердчала, выговаривала своему «зеленоухому другу», когда раздался звонок. Надя, отряхнув кое-как перепачканные руки, схватила трубку.

Безо всякой подготовки, далёким-далёким, словно с Сахалина, почти неузнаваемым голосом отец произнёс три страшных слова: «Умерла мама... Приезжай!»

Вот она – третья беда! Самая большая!

Тело разом потеряло контроль, перестало ей подчиняться, как-то неуклюже обмякло. Медленно оседая, она сползла по стене... села на расстеленные вокруг кадки, перемазанные землёй газеты. Из трубки, вдруг спохватившись, кричал отец: «Надя! Дочка! Надя!» Но что-то с неимоверной силой сжало её, она окаменела... одни лишь плечи вздрагивали и вздрагивали в беззвучном рыдании.

Почему-то вспомнилось, что мама не хотела умирать в холода... радовалась, что дотянула до травки... Конец апреля.... Черёмуха буреломит... А её не стало! И уже никогда-никогда не будет!

Надя не помнила, как добралась до родительской усадьбы. Последние годы в опустевшей деревне на многие вёрсты горел один-единственный огонёк – их крылечный фонарь, словно в безбрежной, непроглядной пучине сиротливый маяк. Оглуший и почти ослепший от старости Дружок, вот уже год, как не выбегал навстречу.

Ступая осторожно, словно боясь кого разбудить, Надя подошла к калитке. Накатила, душила страшная тишина. Чёрные, провалившиеся глазницы окон... Может, неправда? Света нет!.. Может, спят?.. Сердце захолоуноло... Но ведь последние годы, как только слегла мама, до рассвета в доме не гасили ночник!

На ватных ногах дотащилась до крыльца. В темени позднего вечера наткнулась на что-то мягкое. «Дружок! Дружок!» Пёс даже не пошевелился. Попыталась растолкать – не откликается. Охватил ужас – и он!..

Постучала... Фонарь над входом обжог своей холодной пронзительностью. Послышались шаркающие шаги... Отец!

– Что ж ты ... в темноте-то?!

– А зачем мне теперь свет?

Если сейчас спросить... похорон она не помнила... Как в тумане... Погруженная в только одной ей ведомые думы поехала на кладбище, сама выбрала место для могилы (чтоб на полянке, чтоб на просторе, где посветлее), отдала какие-то распоряжения по приготовлению к поминкам. На удивление родственников две ночи (пока тело мамы стояло в горнице) всё укрывала её напоследок бабушкиным пледом. Его убирали, – жара. А она снова находила и покрывала маму. Отвечая на немые вопросы, говорила: «Холодно... Она боялась холода». Кроме обычного смертного разыскала мамин любимый костюм. На подкладке. Ничего не видя сквозь слёзы, наощупь, передела в него покойницу, заменила тоненький платочек на шерстяной подшалок, кроме чулок, чтоб теплее – гамаши. Всё, что ещё могла сделать.

...С уходом мамы для Нади наступило безвременье. В самом прямом смысле. На похоронах у неё пропали подаренные когда-то мамой часы. Она пыталась разобраться, что значила эта добавочная потеря. «Какой-то знак свыше», – думалось ей. Но какой?..

Она не спешила обзаводиться новыми часами. И время для неё остановилось...

Навещая отца, Надя старалась переманить его к себе, в город. Но все разговоры заканчивались одним и тем же: «Слягу – тогда не откажись, а пока колтыхаю, нечего мне в ваших городах искать». И тогда Надя предупредила и брата, и невестку: «Раз такое дело, пока отец будет здесь, всё должно остаться по-прежнему, как при маме».

Полгода после похорон она не открывала шкафов, не заглядывала в комоды. Не могла... Там лежали вещи, которые хранили мамино прикосновение, пахли её любимой «Красной Москвой». Пустые флакончики заботливо разложены между аккуратных стопочек белья, рассованы по карманам пальто и плащей. Казалось, там ещё витал мамин дух. Открой дверцу – и он испарится, вылетит, исчезнет навсегда. Надя крепилась, держалась этим ощущением, ощущением последней тончайшей, эфирной близости с мамой.

Правда, с тех пор, как её не стало, Надя, прислушиваясь, как вздыхает за перегородкой отец, не могла ни одну ночь, проведённую в опустевшем, ставшем почему-то неизмеримо просторным, родительском доме, сомкнуть, хоть на минуту, глаза. Она находила себе любые дела (как когда-то мама), чтобы обрести равновесие, чтобы хоть как-то справиться с не отступавшим от неё горем: драила полы, чистила посуду, делала всё, чтобы не смотреть на опрятно застеленную материнскую кровать.

Однажды отец, озабоченный её состоянием, надеясь, что Надя хоть как-то отвлечётся, зашёл издалека: «Ты бы посмотрела всё ж таки, что там у матери в сундуках, в шкафах. Разобралась бы. Мне эти ваши отрезки, рушники да подзоры ни к чему. Забери, для тебя ж берегла... У тебя жисть впереди, может, что сгодится... Да... говорят, что одёжу, в чём покойница помирала... постельное там... сжечь бы... Петровна присоветовала... Полагается...»

Надя, молча, взяла узелок, в который, снаряжая маму в последний путь, уложила снятые с неё вещи: ночная сорочка, ситцевый платочек, вязанки, наволочки-простыни. Он, этот узел, так и оставался с самых похорон в углу осиротевшей кровати. Никто не смел к нему прикоснуться.

На пустыре, по сумеркам, развела костёр. Одна... без отца... чтобы не видел, как она сжимает зубы, как не может справиться с выплёскивающимися из неё рыданиями, как воет, причитает, бросая в костёр последнюю мамину одёжу. Долго смотрела на пламя, забыть его не сможет до конца своих дней.

Отец не тревожил, не окликал.

Наконец, последние искорки отлетели к небесам. Костёр погас, и показалось: с его умиранием на крошечную, мельчайшую капельку, притупилась, заглушилась, пригасла нестерпимая боль потери.

III

На другой день, лишь забрезжило, Надежда отправилась в кладовку. Принимать наследство.

На самом деле это и не кладовка вовсе. Много лет назад, когда не стало отцовых родителей, эту засиротевшую светлицу так и не стали обживать заново. Здесь всё осталось по-прежнему, как при стариках: та же никелированная кровать, с блестящими шарами, в которые маленькой девчонкой Надя любила смотреться и корчить всевозможные рожицы, тот же, тканый на тогда уже разваливавшемся, перевязанном, скрученном вожжами прабабкином стане, настенный ковёр.

В самой середине его без каких-либо схем-чертежей, просто так, по генетической памяти, хранившей передаваемый из библейских времён лик Пресвятой Богородицы, любовно выткана женщина, покрытая омофором. С ярко-золотистым (благодаря окрасу нитей особыми травами) нимбом, с воздетыми к небесам руками – Мать Оранта.

Каждый вечер, отчитавшись за прожитый день, посоветовавшись о завтрашнем со Святыми угодниками с Божницы, укладываясь на взбитую перину, рядышком с Надей, старушка, словно продолжение молитвы шептала внучке осевшие в памяти Нади на всю оставшуюся жизнь слова: «Спи, дитячко, с миром. С нами крестная сила и Матерь Оранта... и денно, и нощно. Перекрестися на неё с поклоном, покуда не чуешь, к спящей, она к тебе сотан-то и не допустит!»

Наде припомнилось из раннего детства, как на дворе в двухведёрных пузатых чугунах, водружённых на каменку, бурлил крутой кипяток. В него подсыпали из газетных кулёчков красители, выбранные у Петруши-старьёвщика на мену. Подбавляли дубовой коры, соснового лапника, а коли требуется – сенца, бузены-чернильницы, зверобойчика. Мотки овечьей пряжи, тонко сработанные за зиму, окрашивали в яркие, до рези в глазах, цвета.

Просушивали здесь же, в саду, развешивая на яблоневых и грушевых сучках. В такие дни сад для маленькой Нади превращался в сказочное тридевятое место. Она ныряла меж пёстрых нитей, вытянутых до самой земли прикреплёнными к их концам валунками. Пахло овечками, Глашкой и Нежданкой. А солнечные лучи, просачивавшиеся сквозь разморенную красильными парами листву сада воспламеняли подворье в какие-то неземные цвета.

Надя кружилась на месте, перед ней мелькал гигантский калейдоскоп, и подворье окрашивалось, как по мановению волшебной палочки, в изумрудно-лилово-бирюзово-пурпурные тона.

Может, бабуля – и не бабуля вовсе, а какая-то добрая ворожея? Помешивая шерсть в чугунах выструганной дедушкой специального для этого дела рогулькой, стряпает она своё колдовское зелье, которое (если раскрутиться быстрее) белогористого Барсика выпачкает каким-нибудь серо-буро-малиновым, совсем некошачьим цветом, а перышки на красном крыльчатом петушке вдруг засияют такими перламутровыми переливами, что покажется, вот-вот он встрепенётся и заорёт на всю округу, мол, радость-то какая объявилась, день-то какой лучезарный!

На кровати, как и при стариках, пуховые подушки. Маки-незабудки на наволочках поблёкли, но всё ещё можно различить витиеватые прошивы.

На одной: «Первый звон – пропадай мой сон; второй звон – земной поклон; третий звон – из дому вон», а на другой: «Страшен сон, да милостив Бог». В Надином роду всегда спали на таких подушках, с расшитыми наволочками. И всегда на них какая-нибудь присказка прописана. Дед, например, любил, чтобы у него под головой было напоминание: «Долго спать – с долгом вставать» и «Хвали сон, когда сбудется».

На больших подушках до самого потолка одна на другой – думочки разных размеров, одна другой меньше. И все в цветах-птичках, все со старинными поговорками.

С тех пор, как не стало стариков, наезжая домой, Надя любила (как бы не отговаривали родители, мол, там уж и духа жилого нет) ночевать в этой комнатушке, в которую теперь снашивали ненужные вещи и которую постепенно, к огорчению Надежды, захламляли. Здесь когда-то, да изредка и сейчас, снились ласковые сны, здесь ей было тепло и уютно. Каждая занавеска, каждый половичок напоминали о её детстве.

Бывало, разойдутся все из дому кто куда, останутся только Надя да бабушка. Малая кукол пеленает, старая – за громадным ткацким станом. В деревне пристыдять за леность, коли полы не устелить «своими» половиками. Порвёт-подерёт бабуля старое старьё на длиннющие лоскуты и «наработает» половиков да дорожек: и в простую полосочку, и хитротканые, с заумными узорами.

Но половики – что! Вот коли речь повести о бездонном бабулином сундуке, так и дня не хватит на тот рассказ. Боже мой! Сколько этот старикашка знает, сколько помнит! Наверно, не забыл и тот день под Рождество.

Надя уже в школу ходила, во второй класс. В самом начале каникул, поспорив с подружкой Машкой, кто больше сосулек съест, нализалась-нахрустелась их столько, что Машке вовек не осилить. Уже к вечеру расхворалась, была укутана крест-накрест бабулиной шалью, растёрта гусиным жиром и на все каникулы отлучена от санок. Сколько ни просилась, «ни-за-что!» – отрезали, сговорившись, все. Замотавшись в пред рождественских хлопотах, родные на какое-то время о болезной позабыли. Где там! И пирогов напеки, и холодца настряпай. Бабуля оставила свой драгоценный сундук распахнутым: видать, искала в нём что-то, может, праздничную скатерть, а может, нарядиться, подшалок новый. Стопами лежали на лавках рушники и отрезы ситцев-штапелей, шали и покрывала.

Надя, разобидевшись на весь белый свет, влезла на табуретку и спрыгнула на дно. Крышка от её прыжка и захлопнулась. Бабушка доила в сарае корову, мама тоже хлопотала где-то по двору. Дома – никого.

Сначала Надя ещё пыталась выкарабкаться из ловушки, но ни тут-то было! Тяжеленная крышища не поддавалась. Наконец, наревевшись досыта, она свернулась на самом донышке калачиком и заснула. Какой переполох устроила своим исчезновением – не передать!

Он и сейчас ещё здесь, тот дубовый, таинственный, удивительный, самый большой из всех, что Надя видела в своей жизни, старый-престарый (кажется, ещё прапрабабкин) красавец-сундук.

Когда-то он был празднично расписан: крупными аляповатыми заморскими бутонами на крышке; по бокам возлежали две жар-птицы; а в центре – красивая пара. Надя до сих пор не знает о ней ни сказки, ни были, не припоминала их и бабуля: видать, затерялись в закоулках памяти (её или того раньше – её бабушки), но называла она их – Бова Королевич и Королевна Дружевна.

Цвета поистёрлись, и теперь лишь можно догадываться о стародавней немудрёной раскраске сундука. Бабуля огорчалась, что в семье никто так и не обновил на нём узорочья. «Ить вот Витя-т мал-малецки «красит»! – сетовала порой старушка.

Если отрывать картинки, наклеенные на внутренней стороне крышки, слой за слоем, то до каких времён можно добраться, Надя не знала. Наверно можно отыскать и лубочные картинки, и дагеротипы.

Последняя оклейка, скорее всего, произошла лет тридцать назад, когда в клуб по два раза на неделе возили индийское кино. Бабуля выпросила у киномеханика афишу с двумя индианками-близнецами, заварила на муке клейстер и прищёпнула портреты полюбившихся черноколых девчонок под крышку своего сундука.

Может быть, в наши, с заморскими мебельными гарнитурами, времена, покажется странным удивительная теплота и нежность, охватывавшая Надю всякий раз, когда она дотрагивалась до простецкого, потерявшего счёт годам сундука с железной, кованой отделкой. А она в такие минуты, словно погружалась в бабулины сказки, в самые что ни на есть преданья старины глубокой. Особо далеко ходить не надо, и выдумывать ничего не надо. В углу – прятка, по стенам – лавки, под окном – стол с широкой деревянной столешницей. Сказочный, волшебный мир детства!

Вот ведь были же мастера... Вроде бы, что за невидаль – сундук! А какая на нём ручная декоративная ковка! Бока изукрашены тяжёлыми коваными уголками, верх и стороны – такими же полосами. Бабушка рассказывала, что привёз его в подарок прадед своей жене аж из Новгорода. Зачем его забросила судьба в те дальние края, она не ведала.

Многие годы, оставаясь в семье, переходя лишь по наследству, какую только роль не играл этот сундук за долгую свою жизнь: был и столом, и стулом, и кроватью, а самое главное – служил для хранения одежды. В нём же держали важные бумаги и документы. Бабуля прятала меж отрезков ситчика завязанный узелочком носовой платок, в котором сберегала копейку, другую про чёрный день. Здесь же хранилась и стопка фотографий её и дедовых многочисленных родственников, которых к концу жизни они уже начали путать: братьев, сестёр, двоюродных, зятьёв, невесток, сватьёв, кумовьёв; их и своих детей, внуков, всех тех, кто не поместился в длинный ряд рамок на стенах светлицы.

Бабуля никогда не называла сундук сундуком, для неё он всегда оставался «коробеем». Как-то покусился было Надин отец на жизнь заблудившегося во времени сундука. Так бабушка подняла такой гвалт, что больше никто и заикнуться не посмел о покупке шифоньера ли, комода ли для стариковской светлицы.

Кроме навесного, обычного замка, имел он потаённый, встроенный секретный механизм, который несмотря на давность лет, работал, как швей-

царские часы, сбою никогда не давал. Лишь в войну, когда бабуля, вместе с другими вещами завалила сундук в шейной яме хворостом да копну сверху водрузила, замочек забарахлил, зачихал было от сырости, но Василич, местный Кулибин, что-то подвинтил, поплевал, постучал – и с тех пор замок не шалит.

После того, как во время внезапного пожара, спасая самое ценное, шестеро мужиков на вожжах еле-еле вытащили сундучище на вольный дух, дед приладил по бокам четыре крепчайших ручки (чтобы впрок ловчее перетаскивать).

Крышка у сундука тоже не из простецких, с секретом, в ней у бабули хранилось самое дорогое, требующее особого сбережения. Конечно же, по такому случаю здесь был свой особый охранник – замок, хитрей которого вряд ли сыщешь.

Кроме этого сундука было у бабули несколько ларей. Но замысловатостью и изяществом они не отличались, простые, грубые. А потому и отношения бережного к себе не имели. Стояли они в сенцах, в прохладе и наполняли их, сколько Надежда помнит, и зерном, и мукой, и солью, и чем попадая.

От самой старшей в роду самой младшей передавались всегда на Руси такие сундуки, набитые всякой бабьей всячиной. У Надиной мамы тоже имелся сундук, и не один. Но начала наследница осмотр своего добра именно с бабушкиного, потому как знала, что в этом «коробее» сберегались заботливо пересыпанные полынными цветиками от моли (как говорили в этих краях: «от шашала»), вещи ещё её прабабки. Вынимались они лишь для проветривания и просушки, в летний жаркий день. А чтоб не выгорали на солнышке, вешивались в полутенёчке.

Раньше Надежду удивляло, с каким трепетом бабушка доставала прабабкины панёвы, как ухаживала за ними, оберегая от моли и солнца. «Одёжка, как одёжка, что в ней особого, дорогого?» – думалось когда-то Наде.

Но для бабули ни одно подаренное Надиными родителями платье не могло иметь ту цену, которой обладали три наряда, три панёвы, над которыми пуше всего суетилась старушка.

Одна из них звалась «годовой», надевали её только по Великим дням, по Дванадцатым праздникам. И была она самой нарядной. Богатство же этого наряда определялось по украшениям на подоле. Чем больше ярких полос, тем ценнее панёва, тем наряднее хозяйка. На годовой панёве цветастых полос аж семь штук!

«Полугодовую» носили по очередным праздникам, по всевозможным торжествам, крестинам, именинам. Наряд этой панёвы был более скромным. Но из-за того, что одежда эта, как правило, была распашная, женщины и тут умели показать форс – носили её с «подтыком», поднимали, подтыкали полы за пояс, фигура становилась более пышной, статной.

Третья панёва – самая скромная. Но и она отличалась своей особой красотой. Обычно в ней ходили по воскресеньям к обедне.

Такие панёвы надевались (вроде юбок) на длинные рубахи.

Надя покопалась, пытаясь найти рубашку. Кажется, была одна такая. Но вспомнила, что бабуля наказала положить её в гроб непременно в ней.

Цепкая детская память запечатлела, сберегла для тёплых воспоминаний в будущем роскошь ручной вышивки, символику добра на вороте, подоле и рука-

вах. Повсюду – круги, кресты и ромбы, птицы, олени и кони. Рубаха была расшита красными и чёрными нитками, разными техниками: и «крестом», и «набором», и «настилом», и «росписью», длиннее панёвы, а потому великолепные райские птицы на подоле, словно выпархивали из-под её пёстрых полос.

И вот теперь наряды, которыми дорожили женщины её рода, принадлежали Надежде. Давно нет бабули, не стало и мамы, некому, кроме неё, ухаживать за накопленным несколькими поколениями «бабьим добром».

День прокопалась она в старом сундуке, прежде чем добралась до донышка. Оглянулась: на лавках, на столе, на кровати – повсюду стопки и стопочки, вороха и кучи «бабьей радости». Одних рушников – под сотню, не меньше, гора горой. И крестом и гладью и стежком и списом, чем только не изумдрялись их расшивать. А кружева по концам – любая Елецкая мастерица обзавидует. Ведь дочка у матери, оттачивая мастерство, сберегая самое ценное, переснимала самые лучшие мотивы.

По качеству и количеству рушников судили о мастерстве и достатке невесты. Надя помнила ещё то время, когда под праздники вместе с бабушкой украшала светёлку самыми красивыми, самыми старыми рушниками, доставшимися её бабушке, кажется, ещё от прабабки. Вышиты они были одним из самых древних русских счётных швов – росписью (письмом).

Она тогда всё не могла понять: как это так в старину могли вышивать, что с обеих сторон всё выходило гладко да аккуратно, не было ни изнанки, ни лицевой стороны. Видать её предки-прабабки были мастерицы что надо. Бабуля толковала: мол, такой искусный шов удваивает обереговую силу рушника. А название его – письмо – указывает на то, что вышивки на этих старинных полотенцах вовсе не бессодержательные картинки, а самая что ни на есть книга, в которой особым языком записаны-вышиты очень важные знания русского народа. Письмена эти разные, но объединяет их всегда одно: обязательное пожелание здоровья, семейного благополучия, добра и счастья.

В русской хате полотенце занимало особое место. Без него не обходилось ни одно важное событие: и дружков, отправляясь свататься, перевязать, и новорожденного на него принять, и иконостас обрядить, и раму, в которой вся родня рядом сидит, украсить. На полотенцах и в последний путь из дома выносили-проводжали, и в могилу на них опускали.

Особое место среди нарядов занимали передники. Сколько Надя помнит, на кухонной вешалке всегда можно было обнаружить несколько штук. Стряпать ли, подать ли на стол – обязательно пригодятся. Но то были простецкие, каждодневные фартуки. И в сундуке таким места не отводилось.

Праздничный передник, тот, что надевали по особым дням, – наряд особый. Украшали его сплошь вышивкой да всевозможным кружевом, рюшами да оборками, кто во что горазд. Бабуля передник звала «завеской». «Что за фартук такой? Завеска и есть завеска», – утверждала она, и пытаться её переубедить было совершенно бесполезно.

Заглянувший в распахнутое окно отец не решился потревожить дочку, погрузившуюся в воспоминания ли, в размышления о будущем (кто знает?), лишь на мгновение задержал свой взгляд на распотрошенном сундуке, на разложенных по столу фотографиях, и тихонько удалился.

Надя, даже не вышла к ужину. Как сидела на кровати среди вороха родных, знакомых с самых ранних лет вещей, укрывшись любимой бабулиной белокрайкой, так не заметила, как уснула. Первый раз за столько времени не помнила, как промигнула ночь.

С рассветом сбегала на кухню, прихватила кринку молока да полкраюхи, и опять на стариковскую половину. К маминому сундуку ещё и не подступалась. Сундук этот, хоть и даден был маме в приданное, оказался, спустя самое малое время, вещью, почти что ненужной. Выглядел он намного проще бабулиного, неказистенький, ящик ящиком. Накупив шифоньеров и комодов, родители, стесняясь выставлять «пережиток прошлого» на показ, задвигали сундушко то в дальний угол, то выпроваживали в сенцы, а как не стало стариков, убрали в светлицу – с глаз долой.

Фотографий в нём не хранили, теперь про то альбомы имелись. Одежда – в платяных шкафах и комодах. Денег, припасённых на чёрный день, у Надиных родителей не водилось, потому как этот чёрный день слишком затянулся, длился для наших деревень уже не один год, и накопленные про худые времена деньжата истаяли, как вешний снег.

Откинув крышку сундука, Надя подивилась: на дне его лежал увесистый узелок. В льняной скатерти аккуратно уложены какие-то вещи. А под хохолок узелка подоткнута бумажка.

Надя развернула её, и тут же узнала этот «неправильный», в левую сторону, наклон, которым грешили многие медресисты. Мама по окончании медучилища столько лет профельдшерствовала в родной деревушке! Её почерк. Всего несколько слов: «Для Вити. Для правнучки или правнука».

Развязав «посылку в будущее», Надежда обнаружила полное детское приданое. Надо же, и когда только успела! Таилась, подарок готовила. Всё любопытствовала, нет ли у Вити подружки, обрадовалась, когда узнала, что внук собирается обзавестись семьей, и вроде бы даже потомство намечается. Зачув свой недолгий век (вдруг не дождётся!), потихоньку собирала для Вити, что могла... Распашонки и чепчики. Всё обвязала кружавчиками, расшила орнаментами-завитушками. Море ситцевых и фланелевых пелёнок. Вязаные пинеточки-тапушки, даже костюмчик из мягчайшего козьего пуха. Но, когда Надежда добралась до последнего дара, ахнула. Детское лоскутное одеяльце! Легчайшее, невесомое. Так вот куда пошли исчезнувшие пару лет назад две пуховые подушки!

Как-то летом, просушивая на выставленных на припёке лавках постели – великое множество перин и подушек, Надя, зная им счёт, подумала, что просто обсчиталась. А, оказывается, уже тогда мамина тайная работа по подготовке детского приданого шла полным ходом. Видать, торопилась, чувала, что силы покидают её, а так хотелось оставить для внука что-нибудь сделанное своими руками. Пусть не сможет она увидеть, погладить правнуков. Эти пелёнки, вместо неё, обнимут и согреют её потомство... её кровиночку.

Вспомнилось вдруг, что на Руси лоскутные одеяла испокон веков считались оберегами. Мать шила новорожденному одеяло из своих юбок и сарафанов, защищая таким образом дитя от злых сил.

Надя пригляделась к квадратикам и треугольничкам, из которых выстраивался какой-то фантастический, знаковый узор. В каждом из них она узнавала кусочек, частичку какого-нибудь материнского платья, блузки. Этот – в горошек, от нарядной кофточки, в которую мама любила наряжаться в самые счастливые дни её жизни, Этот, травянисто-зелёный – от шёлкового костюма, что подарил ей отец на пятидесятилетний юбилей. А вот этот – в мелкий розанчик – от любимого платья, что привезла она себе из поездки к сестре, в Москву. «Мудрая, хорошая моя», – слёзы катились по Надиным щекам, капали на разложенное на её коленях одеяльце.

Она – эта крошечная детская одеялочка, была справлена с таким сердцем, что Надя долго не могла её выпустить из рук. Казалось, что через неожиданный подарок для её сына, Надя соприкасается с матерью, читает её думы, ощущает нежность, которой насквозь прошито, вдоль и поперёк простёгано это последнее в маминой жизни рукоделье.

Обратная сторона одеяла подбита небесным шёлком, ярко-синей строчкой выписаны то ли морозные узоры, то ли перья неведомых птиц. Лицевая же, самая нарядная сторона, поражала своей необычностью. Среди пестряди ловко подобранных полос и квадратов, в самом центре – тёмно-синее поле, а на нём – кипенно-белый ангел. Крылья распростёр, словно пытался обнять, защитить. Надо же, выдумщица какая, – улыбнулась Надя, погладила умело вырезанное из газовой косынки, мастерски прилаженное перламутровое оперенье ангелочка.

На своём веку она видела столько лоскутных одеял, что удивить её каким-либо было не просто. В их доме всегда пользовались только такими, сшитыми бабушкой или мамой.

Лоскутное одеяло, как линия жизни: в детстве – маленькое, а под старость – большущее, «нарощенное» годами, судьбой, детьми, внуками.

Вон стоит в углу, отдыхает, списанная на пенсию, когда-то неумолчная старая-престарая швейная машинка. Сколько поработала на своём веку! Сколько обнов перешила! И не припомнит.

Сначала на ней стучала бабуля, шила незамысловатые наряды: штапельные юбки, ситцевые кофточки для себя, порты и рубахи для деда; модные послевоенные юбки и жакеты для дочерей.

Потом облюбовала её мама, навострилась мастерить себе и подружкам сарафаны да блузки. А уж как замуж вышла, да деток нарожала, тут «зингерка» и совсем покой потеряла. Жужжала и днём и ночью, строчила-выдумывала детские платица, костюмчики.

Как ни старайся, как ни наловчись экономно, по-хозяйски кроить, а нет-нет да останутся непригодные лоскутки, обрезки, небольшие отходы материи. Но и они у рачительной хозяйки пойдут в дело. Ткани на Руси всегда были дорогими и прекрасными, прежде всего вложенным в них трудом множества человеческих рук. Ценился каждый остаток. Ничего не выбрасывалось.

Из таких обрезков собирались, подгонялись по размеру косяки. Полосочка к полосочке, треугольник к треугольнику. Из них сострачивались квадраты. А уж из квадратов – полотнища для одеял: хочешь, махни рукой на цвет – распестри, как попадая, а задумаешь понарядней, полюбопытней, так

поломай голову, разложи лоскутики так, чтоб любо-дорого посмотреть – не одеяло получилось, а сплошное дивное узорочье.

В работе с лоскутами главное – цвет. Пёстрое при первом приближении, оно оказывается на удивление гармоничным при более внимательном рассмотрении. Такие вещицы считали, конечно, роскошью.

А вообще-то, появилось это рукоделие не из богатства. Тканью всегда в народе дорожили, лишний её кусочек никогда не пропадал. Измудрялись «востожить» такие одеяла и из старых вещей, экономно выкраивая несношенные, уцелевшие лоскуты, ведь одежда, сшитая из натуральных материалов, из льна, хлопка, носилась долго, зачастую передавалась из поколения в поколение.

Готовясь к замужеству, девушка должна была (непременно сама!), как залог счастливого брака, сшить свадебное лоскутное одеяло. Да не простое: для него собирали лоскутки от одежды жениха и невесты, их родственников с пожеланиями счастья и благополучия молодым. Такое одеяло являлось праздничным, первой реликвией для новой семьи, считалось её оберегом и передавалось по наследству старшему ребёнку.

Надя задумывалась и раньше, не находила объяснения, почему так завораживают, так притягивают взгляд старые вещи и предметы. Какой магической силой наделены старинные вышивки и лоскутные одеяла? Непонятна, неразгаданна и таинственна замысловатая вязь узоров, берущих своё начало ещё в дохристианской Руси.

Уж откуда повелось, Надя и не помнила, только отношение к «самделишным» одеялам было в их семье какое-то особое. Сработанные бабушкой и мамой для каждого члена семьи, они никогда не выносились со двора, не показывались посторонним, и уж тем более ими не укрывали гостей. Приезжим, даже родственникам, эти одеяла никогда не подавали. Для гостей держали городские, покупные – ватные, а про летний день – суконные.

Надя даже и не представляла родительский дом без лоскутного одеяла. Вот и сейчас бабулину кровать украшает такое. Уже совсем выцветшее, выгоревшее, но от этого не менее ласковое и родное. Укрываться таким одеялом на печи ли, на кровати, – было обычным делом, у всех соседей можно сыскать (да не одно!) подобное.

Для наших баб шить лоскутные одеяла и покрывала – дело обычное и понятное. Скорее всего для них эти вещицы, тряпичные куклы да вышивка являлись самыми первыми рукодельными произведениями.

Прикинешь одеяльцем постель, и в комнате воцаряется уют, от знакомых-перезнакомых «кубинетиков» исходит такое тепло, такой свет, что в хате сразу водворяется лад и покой. Скромная, повседневная вещица, а одаривает немудрёное крестьянское жилище радостными красками, согревает в долгие знойкие зимы. Залатано-перелатано. Истрёпанное, затёртое, с узорами грубых швов, ватное лоскутное одеяло... неприснившихся снов, несбывшихся мечт.

Лоскутное одеяло – кладёзь памяти. Расстели одно за другим, и получится нить, связующая многие поколения: ведь на его полотне и лоскутки от маминого платья, и уголки-квадраты от бабушкиной юбки, и клетчатые

ромбы от рубашки брата, и крохотные полоски от распашонки сына. Сшитое-сметано оно из разных отрезков жизни людской. Здесь и радость встреч, и горе разлук, и потери, и ожидания, и веселье и грусть – всё, чем жила семья на протяжении многих десятков лет. Оно – из воспоминаний о поездках, именинах и крестинах, рождениях детей и свадьбах; о бедах и похоронах, о болезнях и потерях... О самой жизни. Ведь она сродни «самоделишному» одеялу» – собрана из встреч, переживаний, радостей и расставаний.

Каждое событие так же, как в жизни, на лоскутном одеяле оставляет свой след. А люди, укрывавшиеся им, тоже какого-то определённого цвета, как и клочки ткани. Вот лоскуток ярко-зелёный, цвета майской травки – детский; этот, нежнейший, – яблоневого цвета – девичий, а вот эти – вишнёвый и знойно-красный – женские. Насыщенно-зелёный или синий, с переходом в фиолетовый, – явно мужской.

Одеялочка такая из тончайших ароматов и красок. Развернёшь – и разлетятся лоскутки, словно весёлый рой махаонов, капустниц и крапивниц. Синий, жёлтый, зелёный, оранжевый – мелькают клочки от фартуков и занавесок, покрывал и халатов. Пригождалось всё: штапель и батист, шерсть и ситец, шёлк и креп-жоржет, бостон и панбархат.

Вытрется на нём ситчик, потеряет блеск шёлк, там – пустота, там – заплатка, вата скомкается, заветшает любимая вещица: с кем-то расстался и кусочек тут же выпал, но приложит к нему хозяйка свои ловкие руки, подштопает, подстрочит, прирастит новыми лоскуточками – и опять согревает оно ставших для него навеки родными домочадцев.

Только к концу жизни одеяло лоскутное у всех разное, нет ни одного схожего: у кого-то – жалкие лохмотья и обрывки, у кого-то маленькое, чуть укроешься. Но у большинства – непомерные, роскошные двуспальные. А на его «поле», словно на подворье, за широко расставленными праздничными столами много-много ярких ляпочков – деток, внуков, правнуков... А как же иначе? Жизнь на том и стоит...

Как выбросишь дорогие сердцу воспоминания: танцы под радиолу или гармошку, застолье по поводу первенца, поездки в гости, Рождество и Пасху, юбилеи и сватанье? Эти одеяла-памятки связывают в единое целое, в большее семейство и живых, и тех, кого уже нет рядом, но о них всё ещё ведут беседы, шепчутся по ночам лоскутки их рубашек и платьев на этом чудо-одеяле.

IV

Спустя месяц нагрянувшая Катерина застала подругу ползущей по полу квартиры, смётывающей какие-то уголки-квадратики. Повсюду горы лоскутов и обрезков однотонной и цветастой, в полосочку и горошек, в огурчик и звёздочку-мушку, шёлковой и штапельной, льняной и шерстяной материи.

– И куда ж ты запропастилась? – пробираясь сквозь бедлам, любопытствовала она у Надежды.

– Да я и не пропадала вовсе, делом вот занимаюсь.

– Боже мой! Куда мы катимся, не знаю! Рыться в производственных отходах теперь делом призывается? – съехидничала чем-то расстроенная Катерина.

– Что стряслось-то? – Надя, почуяв неладное, отложила ножницы. – Выкладывай.

– Можешь меня в подручные взять, будем вдвоём в хархарах твоих копаться. Времени у меня теперь – через край.

– Ясно! Свободна, как птица?

– А чего ожидать-то? Последний цех накрылся. Все заводские помещения под бутики-салоны распроданы. Ловко! Производить теперь ничегошеньки не станем. Заграница нам поможет! Так, кажется, заверял незабвенный Остап Ибрагимович? Закупил за бугром – у нас в тридорога толкнул, опять закупил – опять толкнул. Боже мой! Жить страшно...

Надя впервые видела подругу такой беспомощной.

– Давай-ка на кухню, ставь чайник. Я сейчас, через минутку. Почаёвничаем, потолкуем. Глядишь, что и прикумекаем. У меня к тебе предложеньице наклёвывается.

До самого вечера говорили и говорили они о будущем житье-бытье. Надежда рассказала, о том, что недавно приезжал Витя со своей Наташей, вот, мол, мама, принимай невестку.

– А мне что, вижу: любят друг друга, дитё вот-вот народится. Разве ж я стану меж ними? Если Витя счастлив, так я – вдвойне.

– Чем невестка-то занимается?

– Да студентка ещё, третий курс текстильного. Не знаю... говорит, мол, академ возьмёт, а я так думаю: пусть ко мне дитё привозят, справлюсь, я теперь закалённая. А потом – я ж не одна!

– С кем это ещё?

– Как с кем? С Надеждой! – вспомнила мамины слова и улыбнулась Надя, – ну, а теперь о главном. А не открыть ли нам с тобой, Катерина, общее дело?

– И чем же заниматься станем?

– А ты не удивляйся, потерпи, не сбивай, я тебе всё путём и растолкую.

Надя принесла недавно законченное лоскутное одеяло, в голубых тонах, с небесной шёлковой подкладкой. Развернула и молчит, наблюдает, понравилось ли подруге.

– Витя, небось, подарил? Дорогущее, наверно!

– Да нет, уж! Сами с усами. Из таких же лоскутков, которые ты «харахарами» обозвала!

– Не может быть! Ну, Надежда, ну, рукодельница! Что ж ты талантище зарывала? И куда его теперь? Что дальше-то?

И Надя рассказала подруге о том, какое наследство оставили ей бабушка и мама. Показала старую «Зингерку», с горем пополам притащила с собой из деревни. Отвела Катерину в спальню, где на месте комода поселился бабулин красавец-сундук. (Мамин Надя оставила в светлице, сложив в него кое-какие вещи).

Щёлкнув хитромудрым замочком, приоткрыла крышку «коробя». Дохлаю полынком, чем-то родным-родным, до боли знакомым, глубинным. А когда начала хвастаться содержимым, Катерина загорелась.

– Я знаю, что делать! Это не должно лежать мёртвым грузом! Это просто не может молчать! Надо, что-то придумать! Может, выставку какую устроить? – не переставала она тараторить.

– Подумаем. Может, и выставку. Только я не о том. Невестка-то у меня толковая оказалась. Я ж из деревни два мешка лоскутов притащила. Накопилось, некому было в дело определить. Только развернула я свою «фабрику по пошиву лоскутных одеял», как приехали мои молодые. Наталья-то, как увидела моё рукоделье, так и заявила, мол, если в салоне народных промыслов выставить, с руками оторвут.

Пока погостевали, я ещё одно одеяльце сладить успела. Увезли они оба одеяла с собой, а через неделю перевод выслали и телеграмму, мол, ещё готовь. Я с почтамта пешком шла, не могла в транспорте. Слезы ручьём бежали, успокоиться мочи не было ...

Нет со мной ни бабушки, ни мамы, а мне, куда не взгляну, чудится, что они рядом... Словно куда-то вышли на минуточку и вот-вот вернуться... И бабуля подсядет к окну, раздвинет ситцевые с голубками занавески, привычным движением, не глядя, нащупает на липовой этажерке очки и затеет смётывать-«сбирать» очередное одеяло, а мама потопает в сенцах валенками, пооббивает с них бурьянным веником ледышки, распахнёт с хрустким вздохом двери, пропустит впереди себя клубы искрящегося пара, протянет мне раскрасневшимися застывшими руками огромную охалку свежестираных рушников, таращащихся от каляного мороза, дышавших свежестью, полыньей и рождественскими хвойными ветрами...

Царство им обеим небесное!.. Выручают они меня и по сей день... поддерживают. Память о них да оставленное ими наследство, дай-то Бог, помогут перебедровать да стать на ноги...

Только не знаю уж, отчего, подруга, щемит у меня на душе и щемит, словно предаю я их в чём. Ведь не по нраву было бы бабуле, что одеяла мои лоскутные по миру разлетаются... Знаю точно, не по нраву... Осерчала бы она на меня: «Что ж ты, девонька, ай, нехристь, душу-то выстукаешь, напоказ выворачиваешь? Не след так-то... дажить за ради куска хлеба, не след... Занедужит душенька враспашку-то, ветрами чужими захворает. То, что не напоказ, не для чужих глаз, самое сокровенное, в самой что ни на есть глубине носить следно, сберегать. Деткам сгодится».



ПОКЛОН ПРОСЁЛКУ



Чумая, то бархатисто-пыльная, то натружено-мозолистая хutorская дорога вырывается, наконец, на волю – за Митрохину околицу. За корявый, в серебристо-плешивых рюшинах тёрень, за трухлявый, отдающий гречишной мякиной, расхристанный недавними вешними ветродуями стог.

Выбегает дорожка и сразу же, будто баба хutorская, собравшаяся погостить денёк-другой в райцентре у сына, причепуривается.

А как же! Ни куда-нибудь – в Сенькину балку или в дальние покосы, а к большаку спешит.

Нырят с горушки в низину и – напрямик к Жёлтому. Окунётся спозаранку, умоется. Водица взбодрит путницу – ключики недалечь, а солнышко только проклюнулось – не прогрелся ручей, студёный. Поплещется и по камушкам, по голышам-валунчикам, по скрипучей, прогибающейся до самой воды, обросшей склизкими тинами тесинке, – на тот бережок. Заскользит, зашуршит в полусонных тростниках нарядной малахитовой ящеркой. Без особого труда вскарабкается по крутому песчаному склону на Шешкин бугор.

Передохнёт на крутояре, полюбуется зорькой, что пролилась малиновым цветом за Сидоровым садом. Опять эта Сидориха варенье спозаранку стряпала да не доглядела. Убежали пенки розовыми туманами за порог, растеклись по пойме, клубят-кипят над продрогшей за ночь Кромой.

Опомнится просёлок – даль-то ещё не малая! Задержался! И заскользит, обивая росу с барашковых тысячелистников по-над Плоцким логом, по самому краешку ячменного поля. Иногда, если просёлок заступает, ячмень, словно ворчливый старик, которому отдавили застарелую мозоль, водит недовольно усами, волнуется и, шурша-пыхтя, выталкивает непрошенного гостя восвояси.

А ему, просёлку-то, нипочём! Да на бровке не хуже! Кузнечики хрусткими ножницами утро кроют – любо-дорого! Цикорий голубыми мотыльками мельтешит. Вон русачок наперерез мотнулся, видать, к Савину логу в овсы торопится.

Перекинувшись через Закамни, дорожка вбегает в подсолнечник. Никак его не обойти – конца и края не видать. Пробирается просёлок в зарослях чуть ли не двухметровых и чует, что дурманеет от духа терпкого, от жужжания пчелиного монотонного. Петляет, будто облудился. Знать, Лешак кружит-насмехается. Может, и впрямь здесь чертовщинка водится? Петруха навеселе с Казанской из соседней деревни шёл, двое суток выйти не мог. Бабка Михеевна с плетушкой боровиков из Копытец плелась, истоптала лошинуку эту заворожённую вдоль и поперёк, полдня плутала.

Не успевает притомиться дорожка, а тут и просвет в пяти шагах. Слава Богу! Не дал бесовщине покуражиться. Отпустил Блуд-нехристь с миром. Испокон веку места эти шалят. Бегом-бегом от них подальше! И припускает, что было духу!

Обежав стороной сгоревший омшанник, останавливается проселушка у родничка напиться, передохнуть. Оглядывается: кипрейник-погорелец склоняет вдогонку свои лиловые султанчики, словно хочет рвануть следом, посмотреть, куда это просёлок разбежался, не остановить. Что там есть такого, чего у нас не может быть? Что за Мишкиной горой, за Ярочкиным логом, в непроглядных от хутора краях, к которым год за годом бежит, не догнать, эта непоседливая полевая дорога? Даже облака за просёлком не отстают, то забегут вперёд, то чуть замешкаются, а всё-таки рядышком.

Стелется половиком домотканым просёлочек, будто нарвала бабушка Анисья лоскутов-тесёмок и на стане, доставшемся ещё от матушки, наткала постилок. Вот они и разлеглись по луговинам да пригоркам. Ситцевый лоскуток – от внучковой рубашонки – жёлтыми да зелёными кружочками, одуванчики придорожные. Штапельный лоскутик – пёстрый да весёлый – от платья, что Аксиныюшка в покосы по молодости наряжалась. На нём и васильки, и лютики, и купавки с лесными гвоздиками.

Из Савина лога выскакивает чуть приметная стёжка, привязывается, припутывается к просёлку росстанью-петелькой. И – по следу, по следу за ним поспешает.

Пока просёлок до большака добегаёт, сколько тропок-тропиночек за собой сминает. Нацепляет их несчитано, будто репёв Митрохина Найдя, гоняясь по подгорью за сусликами.

Аистам, слетающим с гнезда в Гнилое болото за лягушками, видно, как по полям, долинам и холмам стекаются стёжки-тропы к просёлку, будто к реке ручейки да малые речушки. Впитывает он мелюзгу и – вперёд, к большаку, к полноводной артерии, к главной районной дороге.

Перелесками да косогами катит просёлок без оглядки, а как заслышит на большаке хрипы стальных коней да учует зловонный бензинный дух, сбавит шаг, остепенится-заважничает. Мол и мы, не гляди, что из простецких, не лыком шиты, хоть и по сю пору лаптем грязь хлебаем. Знает счёт таким, как он. Сколько их, безвестных, шмыгает по земле нашей босыми ногами, кирзовыми да резиновыми сапожищами.

Порой не приметна проселушка вовсе. По ней, может, всего-ничего и проехали-то за год. А всё-таки дорога!

Затеряет её, родимую, лихими метелями, не пройти, не проехать. Но остепенится непогодь, закалянеет наст, глядь, уж и следок санный обозначился. Не сбился, аккуратно по занесённому просёлку. Прокатит мужиком разок-другой, притрухнёт сенцом-соломою, яблоками конскими разукрасит, и вот она, снова оказалась, наша русская деревенская путь-дороженька.

Укатается за зиму, по весне уж и снега сойдут, а уезженный след всё тянется белесыми пеньковыми вожжами через месиво полей, через оползающие от размашистых вешних дождей косогоры. Размоют апрельские проливни полёвку вдоль и поперёк, оголят пески и суглинки – нет хода.

Но к Пасхе, глядишь, потихоньку, помаленьку зарастёт она муравой, ди-кой геранькой да лопушками подорожника. Обочь её пробьются-рассинеют-ся невыводимые в наших краях чертополошины, разбухнут пурпурные татарницы.

Знойным летним полднем прокатит по просёлку на велике, рассечёт пар-ное марево, Миколавнин внучок Гошка, сосланный на каникулы под пригляд престарелой бабки. Подхлестнёт-прогонит дед Кит из Хильмечков блудную телушку Майку. Прошмыгнут бабы с кошёлками куманики, обсчелкают про-селушку конопляной шелухой. Проспешит Илья на косовицу. Вот и весь лет-ний распорядок дорожки.

Ближе к осени, правда, наедут городские за опятами-рыжиками. Пофыр-чат-почадят «Жигулями», обегают перелески, накидают на привале буты-лок-банок, и опять – ни души, только гуляй-ветер да мелкий нескончаемый ситничек.

Люба душе русской эта простенькая полевая дорожка. Нет лучше места для думок. Потоскуешь с отлёглыми птицами, промелькнёт месяц-другой, а там и опять смотри-радуйся: дичка приобоченая в цвету, васильки подмиги-вают задорными глазами – мол, не робей, сколько вёрст пройдено! Дай Бог, чтоб осталось побольше!

Приумолкли бы шоссейки-бетонки, исчезни незатейливые, неказистые, но такие живучие российские просёлки. Тянется испокон веку к большаку по горячей летней пыли, по внешней распутице, по осенним хлябям-рытвинам, по первопутку, по нескончаемым ухабам продукт деревенский: и сальцо, и хлебушек, и фрукт-овощ всевозможный.

Сколько нашенских вышло просёлками, по бездорожью, на широкие жизненные пути в науку, в искусство, да и в рабочую братию. Жаль только, несравненно меньше свернуло на полевую дорожку с большака. Заманили, увлекли в невозвратные дали бетонные трассы тех, кто однажды ступил на их жёсткое, бессердечное покрытие. Не вернули, затеряли, и след простыл. Вывел просёлок на большую дорогу – ну и ладно, рванули, не обернулись.

Просёлок-то, он – родимый. Он забвение простит, как отец чаду свое-му. Он ведь помнит, как учил за ручку ходить, бережёт на обочинах памяти следы наших босых ног, не забыл и прощальный день. Простит... только бы пути наши были праведные.



В СНЕГАХ



До самого Рождества зима ничем себя не проявила: ни пургой-вьюгой, ни ветрами морозами. Слякотно, склизко, туманно. Скучно и неприветливо без хрусткого снежка, без искрящегося инея. Набухшее, прогнувшееся небо, словно марля с откинутым творогом, сочилось непро-

глядной белесой мутью. Разбалованные парным нескладным декабрём, грачи неумолчным табором накидывались на сад, скандалили из-за оставшейся подгнившей антоновки.

Накануне праздника зима вдруг спохватилась и давай навёрстывать упущенное! В одну ночь сковало воды, неожиданно-негаданно завьюжило, запуржило, закуролесило! Перемело, перебило пути...

Каждый год встречаю Рождество у родителей на хуторе. Вот и на этот раз, несмотря на ненастье, засобиралась.

...Автобус, кряхтя и чихая, на брюхе ползёт по заносам. С утра прошёл грейдер, но надолго такие снега, будто в Сибири. Того и гляди медведь помашет лапой с обочины. Водитель пробирается наощупь, находя по каким-то приметам дорогу.

Погода бесится. Вместо двух часов мучаемся пять. Но зато к вечеру успокаивается, тишь да благодать.

Дохнув на расписанное диковинными перьями окно, отогрев дырочку, обнаруживаю далеко-далеко на западе, на краю заснеженной пустыни, истлевавшие угольки заката. Иногда сиверко раздувает их, и бордовые отблески подсвечивают нависшие снеговые тучи. Нескончаемой стаей белогрудых гусей парят они над потонувшем в молчании миром.

ПАЗик ныряет в перелесок, а когда выползает на равнину, костерок за суровыми окрестностями окончательно гаснет. В деревню добираемся за-темно.

Истончённый серпик над остановкой норовит выскочить у макушек ракет. Но снеговые тучи-птицы, соскучившись по зиме, фланируют в небесных просторах взад-вперёд, застилают, не дают робкому месяцу взглянуть на заваленную сугробами деревню, на опушённый сосновый лес, на незамаранную скатерть праздничных полей.

Выйдя из автобуса, ухаю в сугроб. Приглядываюсь. Вдоль улицы хвостится слабо улавливаемая тропинка. Кто-то ещё засветло размашисто прошёл по первопутку. Стараюсь ступать след в след. Не ладится: видать, стёжку торил рослый мужик.

Мороз раскошегаривает не на шутку. Чуть приметная тропка, виляющая мимо подслеповатых хат, обрывается на краю деревни. Надо перемахнуть

поле, добраться до хутора. На самой его кромке теплится слабый огонёк – родительский дом. Отец, поджидая меня по выходным, не гасит на кухне свет. И огонёк, словно маяк, мигает сквозь ветви сада, манит, указывая дорогу.

И пройти-то с километр по бездорожью! Заблудиться невозможно, иди себе да иди на свет родного дома. Мешают полы шубы, рыхлый до пояса снег. Разгребаю, словно трактор, прокладывая путь. На середине поля, обессилев, останавливаюсь. Смеаю: не добраться с двумя тяжеленными баулами. В одном – настиранное для невестающей матери постельное, в другом – подарки, продукты.

Всхлипывая, усаживаюсь в сугроб. Чувствую: коченеют ноги, не слушаются руки. Тру варежками лицо. Ресницы оторачивает иней. Пряди выбившихся из-под платка волос побелели, лучше не запраплять: оттают, станет ещё холоднее.

Оставив сумки в поле, сквозь сугробы, не обращая внимания на то, что сапоги полны снега, медленно двигаюсь к темнеющему на взгорке саду.

Щиплю за щёки, хлопаю рукавицами, сбиваясь, шепчу: «Отче наш! Остави мне долги мои! Святыи Крепкий, Святыи Бессмертный, помилуй и спаси меня!»

Добираюсь до усадьбы. От горожи виднеются лишь макушки. Сугробы громоздятся до самых ставен. Поднимаюсь на занесённое крыльцо. «Слава Господи! Не дал сгинуть!»

Распахиваю дверь и ложусь в горнице прямо в шубе на пол. Мама охает из спальни, причитает.

– Как же тебя угораздило в такую непогоду-то?

– Самая рождественская, – пытаюсь отшутиться.

– Отец с обеда ушёл за хлебом на деревню и канул, – беспокоится мама.

Уже несколько лет она не выходит из спальни. Общение с миром – только через отца.

– Беда-а... Башню разморозило. Воды нет. Скоту снег топим, а самим-то?

Продолжаю слушать мамины вздохи, лёжа в шубе прямо на дорожке. Отогреваюсь.

– Пойдёт на ключ, молюсь, чтоб на гору вылез. Случись что, годы не малые, замёрзнет под кручей, а я тут помру. Ни души на хуторе. Месяцами никто не заглядывает.

Слышится топот обиваемых валенок. В собачьем тулупе, в меховых рукавицах в промёрзшую кряхтящую дверь вваливается отец, водружает на стол авоську с хлебом. Буханок десять, не меньше.

Обрадовавшись госте, суетится, хлопочет. Перво-наперво командует растереться первачом, надеть вязаные шерстяные носки и душегрейку.

Поддевшись, выхожу на кухню. Закипает картошка. Отец успел спуститься в подпол. Огурцы-помидоры, грибочки, мочёные яблоки.

– Полечиться тебе надо, а то сляжешь, – наполняет рюмочку, – свойская, на здоровье.

Пытается нарезать промёрзлую буханку.

– Вот ведь как получается: деревня хлебушек выращивает, а неделями без него сидим. Куда ни шло летом, а зимой? Ну-ка, походи в селпо! Не ближний край!

То ли оттого, что всё же добралась и согрелась, то ли из-за отцовских слов, сами по себе текут слёзы.

Завариваю чай. Наш, фирменный: щепоть липового цвета, веточка зверобоя, несколько листочков мяты. Нарезаю засахаренный мёд. Сидим, чаи пьем, разговариваем допоздна.

— Колхоз окончательно окошел. Самые мужики, те в город подались. Работы, мол, в деревне нет. Как же это на земле нет работы, куда ж она, милая, подевалась? Хозяина нет, скажу я тебе. Развалили всё, дохозяйствовались, дограбили, мать их... Брат твой тоже вот, рванул отсюда, не оглянулся.

— А что ему оставалось делать-то? — вступается за сына мама. Семью кормить надо, вот и уехал в район. Илюшке в школу. Да и старшему что в деревне ошиваться?

— А кто тут, на корню, останется? — не унимается отец. — Кто всех кормить будет? Скоро хлеб, как сыры голландские, за границей покупать станем. Срамота!

Старик встаёт, махнув в сердцах рукой. Расставляет у печки обувь.

— Говоришь, супротив Меркулихина города сумари-то побросала? Ложись, как развиднит, пробьюсь, сберу.

За окном трещат с морозу яблоньки. Разлетелись белоснежные гуси-облака. Месяц голубит снега. Над Колдучихиной хатой, прямо в трубу, падают звёзды. Рождественская ночь. Сквозь сон решаю: «Поутру серьёзно поговорю со стариками, пора съезжать с хутора».

Упредив меня, за завтраком отец твёрдо говорит:

— Даже не заводи речей. Куда ж я от них? — и манит к окошку.

На яблоньке красуется сложенная из сосновых дощечек кормушка. А на ней пощёлкивают конопельками алые—преалые снегири.

— Подарочек к Рождеству, — улыбается довольный отец.



ИЛЬЯ И ЕГОРКА



Всё мимо... Мимо хутора по большаку к райцентру мчат ино-марки. А у нас, как на Моховом болоте, жизнь чуть теплится, того и гляди, совсем зачахнет.

Ещё прапрадеды нарекли этот уголок на ручье Жёлтом «Козловкой». Наверно, из-за того, что единственная улочка его ловко взбегает по горам да оврагам к Ярочкину лесу.

Хуторской народ всегда считался зажиточным. И нас не обходил достаток стороной. Правда, когда это было? Нынче ветер гуляет вдоль домов, лопух да крапива заполонили палисадники осиротевших хат. Ни плача детского, ни смеха не услышишь. Ночью на улицу и выйти-то страшно: всего пять домов огнями светятся.

Да и живут в них только старики. Не живут, а доживают. Переехать в город им уж не с руки. Вот и дожидаются по выходным детей. Приедут, хоть хлебушка свежего привезут, круп-макаронов всяких. Сельпо-то сколько лет как заколочено.

На самом краю хутора, у леса, под раскидистой грушенкой стоит хата Ильи. Это сейчас он с палочкой да в бабкиных бурках всё лето ходит, а когда-то был знаменитым комбайнёром. На всю область имя гремело! До сих пор грамотами горница увешана. Орденоносец, не кто-нибудь!

Всё в прошлом. Давно нет колхоза, нет комбайна. Володька – местный жульман – технику на металл сдал. Старуха неделю Илью настойкой на боярышнике да валериановом корне отпаивала.

Хата потихоньку тоже разваливается. Поставил ее, вернувшись с войны, дети в ней родились, свадьбы сынов под этой грушенкой справили. Потом разъехались дети, и остались старики одни век свой коротать.

«В деревне жисть – и молодым не мёд, – рассуждал Илья, – а уж куды нам-то трухлявым!» Но не сдавался. Спозаранку кипел в работе. Он к ней, родимой, с детских лет привычный. То покосившийся наличник приладит, то омёт за бахчой от грозы засеменит укрыть, а то выйдет со старой воздушкой пулять по дроздам. Обнаглели, обобрали все вишни, только щёлк стоит в вишняке.

Порою скрутит радикулит Илью, он – к ульям. Изловит самую наизлейшую за крылышки, посадит на поясницу, а потом «собачьим» шарфом укутается, так и лечится. А коли не помогает, тогда – на печку, и кирпичный

компресс. До больницы-то почитай вёрст сорок с гаком. Дед сам себе, да и бабке, и врач, и медбрат. Ветеринар на дворе тоже он.

С осени бабка скисла, с печки не сходит. Всё скулит по Лыске.

– А что по ней теперь тосковать-то? Самим скоро на Поповку. Пала и пала. Сколько годков-то ей, и не припомню, каким телёнком, – подбадривал Илья жену, – не кручинься, мать, наладится!

– Как же! Наладится! А кто доски вчера сосновые под сараем стругал? Кто меня по утру верёвочкой обмерял? Думаешь, не видала, спала? – ворчала старуха.

– Дык, я и себя смерил тожить! – отвечал Илья, застигнутый врасплох.

А однажды дед учудил. Исчез спозаранку и только к обеду отыскался, да не один, а с жеребёнком. Прикупил малого в соседней деревне.

– Совсем ты, старый, из ума выжил! Где сил–то возьмёшь коня поднять? – ахнула бабка.

– Тебе лишь бы супротив гуторить, – буркнул дед. – Ты смекни: бакшу на нём вспашу весной. Опять же летом с ним на сенокосе. А с пенсии подсибиру и загоди у Михееча упряжь для него куплю. Конь уходу особого не просит.

И стал Илья растить помощника. Любил, как собственного сына. Да и конёк отвечал тем же, ходил за ним по пятам, шумно сопел в сгорбленную стариковскую спину. Утром, как собака, по следам находил деда. Такая умная скотинка!

Был у Ильи на фронте закадычный друг Егор Силин. Остался лежать под Варшавой. В память о нём назвал Илья коня Егором, и разговаривал с ним всегда, как со старинным другом. Думами делился. А с кем побалакать-то ишо, скажет, бывало. Души на двадцать вёрст не встретишь. Выйдет дед под вечер, только кашляет из-за плетня, а конь – тут как тут. И напрямки, через крапиву!

Одна зима сменяла другую... Пора коню показать, что в жилах накопилось. Но как на необъезженном пахать? Запряг Илья коня, и ну с горы на горку выкатывать, потом ещё все сугробы в округе перепахал, к сохе приучал.

Вскоре и весна подоспела. Старуха гусят высыпала из корзины на луг, на косогорах травка «затрещала», а с огородов пар повалил по переулку.

Илья вышел в поле проверять дедовским способом, готова ли земля к пахоте. Снял кальсоны, посидел, выкурил сигарку, не замёрз. Значит, пора... «А то перестоит земляка», – сообщил трущемуся о его картуз Егорке. А что коню? Он давно готов.

Вечером, задав Егорке сенца, дед лёг рано. Вёсны на селе порядок любят. Рано вставать, огород не маленький, к обеду управиться б. Надо выспаться. Но этой ночью Илье не спалось. Всё не мог дожидаться утреннего часу. Долго стонала скамейка у печки, не раз спускался отхлебнуть в сенцах кваску.

Поднялся до свету. Петух в сарае, слышав шаги, струхнул: «Ах, я, горе-мечный! Проспал на старости лет!» – и заорал с испугу что было мочи.

«Ну, с Богом!» – перекрестился дед и спустился под горочку к сараю. Распахнул ворота и обмер. Егорки не было – как испарился. Илья заметался туда, сюда. Луг, как назло, не оросился, следов не видать. Ход на месте, бричка тоже, упряжь в углу на гвозде, а коня след простыл.

«Копыта, видно, тряпками обмотали, чтобы не слышно было», – рассуждал старик, кастроша весь белый свет. Пошел домой, надел зачем-то пиджак. Вынул из открыточной шкатулки медали, пристегнул. Пошёл по хутору созывать народ.

Конёк ведь большой, не иголка в сене!

Прочесали округу несколько раз. Только к вечеру нашли в лозняке за развалившейся фермой. Голову и шкуру. И повсюду – кровь. Земля взрыта Егоркиными подковами. Толпа гудела: «Как руки не отсохли!» «Я думал, переживёт меня, – всхлипывал Илья, – откуда в наш век у людей столько злобы? Украл не коня, украл жисть мою... Осиротели мы с бабкой».

Не было сил идти домой. Дед плакал по Егорке, по судьбе...

На краю хутора выла Мушка.



К РОДНЫМ



Радоница. Второй день от Красной горки.

Нынче весна ранняя, швыдкая.

С каждым годом, стала примечать бабка Катерина, всё быстрее отметали для неё метели. Подберёт зима свой истрёпанный хвост, твякнет-хватит, будто лютающая собачица, напоследок морозами, и нет её, как не бывало. Лишь останутся напоминанием о ней замызганные сопливые снега по буеракам, но и те слизнут парные апрельские дожди, растопит-поджарит, будто смалец на сковородке, бойкое внешнее солнышко.

И оглянуться Катерина не успеет, как горюху надо городить, чтобы скотина по бакше не шастала, картошку прогревать, с Федькой трактористом загодя сговориться стать на очередь, чтоб вовремя вспахал-засеял. В бы-

лые годы за пару зорь ничего не стоило ей и лопатой управиться. Но то ж когда было! С тридцати трёх вдовствует. Всё в одни руки. Поизносились бабка Катерина. Глазёньками-то чего б не наворотила! А только порой и похлёбки сварить мочушки нет. С каждой весной урезает она себе бакшу и урезает. На кой ляд такая-то? Вон в подполе ещё сколь картошки! Всё одно под гору валить. Проросла, спуталась, не разобрать.

Уж и третьи петухи отголосили, а бабка так и не сомкнула глаз. Какой сон? Дождалась-таки, дал Господь и в эту вёсну дотянуть до самого наиглавнейшего для неё дня – Радоницы.

На кухне зашипели ходики, растворилось оконце, но кукушка кашляннула, поперхнулась и притихла. Катерина сползла с постели, натянула бурки и, пригрозив птичке корявым шишкастым пальцем, подёрнула гири. Вернулась в горницу, села на кровать. Дожидаясь рассвета, взяла с полки прореженный временем гребешок, расчесалась на пробор. Коса у неё всё такая же, по самый опоясок. Только из тугой пшеничной короны вокруг головы осталась белёсая жиденькая верёвочка. Бабка закалывала косицу шпилькой, направляла её под низко повязанный платок. Некому пожалковать об её угасшей красе. Уж сколь годков некому!

На Петровичевой веранде пыхнул свет. «Витька ихний из Заречного возвратился, – решила Катерина, – бабы перетирают, по Людке Тимохиной сохнут, обхаживает... Коли не война эта растреклятая, и я внучат бы давно выхаживала... Как убивалась тогда на росстани по Митеньке Варя Сотникова!

Любовь у них, знать, была... Сказывают, так и не сложилось потом у неё в городе»...

Бабка пообвыклась глазами. Всё в горнице по-прежнему. С тех пор, как ушли её родные, не меняла она в своём обиходе ничего. Надеялась, что живы, что ошибка вышла. Не могли они уйти, оставив её одну-одинёшеньку на белом свете, знали, что она и дня без них не может. Только верой в их возвращение и цеплялась за жизнь. Сердце не смирялось с похоронкой.

Тятка-то за Василия не отдавал... Катерина из крепкой семьи, а Вася – сирота сиротой, бабушка выхаживала. За все годы, что прожила Катерина с мужем, ни разу не пожалела о той мартовской ноченьке, когда семнадцать лет в одном платье ушла из родительского дома к Васе.

Всё нажили... Вася рукастый... И дом поставили, и хозяйством обзавелись. И табуретки, и стол, и этажерка – всё мужем слажено... А уж как берёг её, Катерину-то! Соседки завидовали: «И за что тебя, девка, Господь мужиком таким наградил?»

А как родился Митя, так и жили ради него. Смышлёный был мальчонка, всё около отца, около трактора крутился. Вася прикидывал, сынок на механика выучится... Вон и книжки Митины на полке... Сколько лет надеялась, пыль сметала, хранила, думала, может, вернётся Митенька, сгодятся.

Катерина встала, подошла к шкафу, раскрыла резные створки: Митины сатиновые рубашки, Васин тёмно-коричневый в полоску пиджак. Погладила вещи, опустила руку в карман пиджака, нащупала расчёску. Когда-то она купила её в городе на ярмарке для Василиных норовистых кудрей... А в другом кармане... она точно знала... письма её родных... все семь... Писал их завсегда сынок. Подчерк мелкий, убористый. Всё – как ты, мамка? Не хвораешь ли? Как с уборочной, управились ли без мужиков? И обязательно – Варе поклон. А о себе особо не прописывал. Громим, мол, ворога лютого. Ты только дождись нас, мама, снова заживём, лучше прежнего. А в конце – обязательно приписка. Буквы корявенькие, Васиные. Мол, крепко тебя, Катерина, обнимаю, помню. Навеки твой – Василий Митрофанов.

Старушка за долгие годы ожиданий запомнила на треугольниках каждый завиток. Очки не надобились, заучила наизусть... все до одного.

Вчера днём было не до воспоминаний, а ночью нахлынули, не отпускают...

В сенцах громынуло, и в отзынутую дверь проскрёбся Катеринин хлебник, хозяин и гроза всего проулка, кот Стёпка. Шляется с самого марта где ни попадя, пропадает по неделям, а мыши ходуном ходят. Сготовила старая семечки гарбузные на посадку – угостились за моё почтение. «В каждом дворе опосле твоего гостенья рыжатки мявчут», – пощуняла любимца бабка.

Ещё с мужем завели они эту золотистую масть. С тех пор Катерина сколькотов сменила! И все рожье, и все Стёпки... как при Васе.

Накануне умаялась, хлопотала у печи. Красила в луковой шелухе яички. Рябка свеженьких после Пасхи поднесла... Рябку вчёрась, хоть и жаль, по-решила.

Вечером разостлала на сундуке новый подшало, собрала всё, что полагается на помин: свячёный в новой, в прошлом году поставленной церкви, куличик, пяток крашенок, умлевшую на тихом жару Рябку. Спихватилась – позабыла красненькую. Откутала чулан, разыскала поллитру.

Вася-то особо не потреблял... Было, правда, раз... гулял дружкой у Федьки Прохорова на свадьбе... Но уж как маялся! Опосля и нюхать не нюхивал...

Увязав узелок, выставила его на холод, в сенцы на лавку. Сверху прикрыла плетушкой. Не дай Бог Стёпка начередит, разучует Рябку! Плетушку, для спокойя, привалила голышиком, что из капустной кадки под Велик день вынула (квашенка уж на самом донце, подъелась за зиму, гнёт ни к чему).

Не спалось... То ли от того, что не как обычно, на печке, а пройдя по полосатым, редко хоженным половикам в дальний угол почти нежилой горницы, Катерина прилегла в прохладную (столько лет не тронутую!) постель, то ли от того, что пахло от подушек чабрецом и донником. Вася любил дух поспелых трав, и она в лучшие годы, тайком от мужа, сушила и подкладывала в подушки пригоршню другую душистых цветиков. Бабы допытывались, бывало: «И чем ты Василия приворожила? В жисть на сторону не лызнул, будто окромя тебя в округе и баб статных не сыскать!»

Почти исчезнувший, но такой знакомый, сразу уловимый, запах трав напомнил Катерине довоенное время, пору сенокосную.

Двужильная была она, мужику на косовице не уступала. Ручку шла за Васей след в след, ни на шаг не отставала. Припомнились ей давно затерянные, почти уж стёртые временем ночи в лугах покосных. Не ночи – мгновения! Откуда силы брались! Ночь с Васей в копёшке пролюбятся-промилюются, а утром опять за косу, за грабли-вилы. Знать, от ласк Васиных, от поцелуев жарких душа у бабы пела, руки к работе рвались... Вася дочку хотел... А Катя ему: «Срамота! Митьке пятнадцать, а ты – роди да роди!» Да... жизнь была в радость. Только такое короткое бабье счастье оказалось!

За неделю до того проклятого дня покосы у Светлого дола отвели. Председатель Фомич расщедрился, от колхозных работ освободил. Паи богатые нарезали. Коси – не хочу! По двору бабушку Васину оставили. Хоть и духу у неё на копейку к той поре осталось, а всё ж таки живая душа: курам сыпанёт, Милку из стада встретит-подоит.

Травища! Стена стеной! После тёплых дождичков как попёрла! Не разгонишься, коса задыхается. Ручку пройдёшь, уж на копёшку смахнул. Работы хватало. Спозаранок, покуда роса, косили. Потом прибежал Митя на подмогу – валки подразбить, вчерашнее сворошить. Днём жара! Сенцо, что чай, душистое. Неподмокшее, за день просыхало. Бери да смётывай. Вася – самый мужик, тридцать пять, Катя – чуток помоложе.. Подвострят жалыцы да и вдругорядь, без передыху. Силушка на волю рвалась. Весь отдых – кваску попить. Подвалили – на три коровы. Подумывали, не пустить ли бычка в зиму. Корму – хоть отбавляй.

В тот день Вася заканчивал делянку, а Катерина с Митей в валки скатывали сухое. Уж полдень вовсю. Смотрят: бригадир на Смелом летит. Вася

ещё: «Запалит, паразит, коня!» А жена ему: «Васенька, знать чтой-то приключилося! Уж не пожар ли?» Петрович на стременах привстал, картузом машет, созывает: «Война! Война с германцем!» Вася только и сплюнул: «Эх, скопнить сволочь фашистская не дал!»

А Катерина не могла, не хотела верить... Какая война? Всё такой же залитый солнцем день, на небе — ни тучки, ни громыхнёт, ни сверканёт. И дед Редька погнал стадо к тырлу на дойку. Беспечно роятся бабочки, воробьи барахтаются в просёлочной пыли, голопузая ребятня ныряет с кладки у Шешкина омота. И кукушка с самого утра считает и считает. Всем до ста лет наворожала. И такая красота кругом! Разве может в такой день где-то прятаться, подкрадываться смерть?

«Брешешь, — загалдели мужики на Петровича, — у нас сговорённость!» Но, подхватив наспех косы и грабли, рванули в деревню. Какая косовица!.. У правления, вывесив на столб тарелку, всех поджидал председатель. Завидев его, смекнули: видать, дела нешуточные, коли так посуровел и ссутулился Фомич. Разом постарели бабы, посмурнели мужики, притихли ребятнишки... Казалось, помертвело всё вокруг, будто перед грозой: осыпались маки в конторском палисаднике, присмирели в чертополошинах воробьи, и только ласточки, словно пули, вжились и вжились низко над землёй... И вдруг над покосными лугами, над просохшим несметанным сеном ка-ак бубухнуло, и с запада потянулись тяжёлые страшные тучи. И уже совсем рядом, у околицы, ударило ещё раз и сверкнуло так, что полыхнули тополя на Манькиных задворках. Над ними застонали грачи, заорали, закружили, накрыли обмершую деревню чёрным расплывающимся облаком...

А уж после Петровых, в середине июля, мобилизовали всех работных мужиков...

Растревожила старуха душечку воспоминаниями... Да и как забудешь те минуты, с которых жизнь покатила кувырком, и не сыскать уж возврата к её далёкому счастью.

Не давала бедной Катерине уснуть и карточка, что висела в горнице над фикусом, напротив кровати. Пожелтела совсем. Вон ведь как рушник по раме белеется, а Васи с Митею почти не разглядеть. Только старушка точно знает: тут они, смотрят прямо на неё, в упор, будто до сих пор серчают за то, что выла, пласталась у большака, как провожала, не отпускала.

А как не причитать-то? На велику бойню нешто легко сразу обоих спроводить? Вася всё ж таки мужик, а Митенька!.. Господи, до семнадцати годков двух месяцев не дожил... Море разлитое слёз утекло, а всё не может простить себе Катерина, что не доглядела, не удержала, не спасла единственную кровиночку...

Сколько раз, не считано, голосила она за свой век старинную вдовью песню:

«На кого ты, милый мой, обнадеялся?
И на кого ты оположил?»
Оставляешь ты меня, горе-горькую,
Без теплова своо гнёздышка!..
Ни от кого-то мне, горе-горькой,

Нету мне слова ласкова,
Нет-то мне слова приветлива.
Нет-то у меня, горе-горькоей,
Ни роду-то, ни племени,
Ни поильца мне, ни кормильца...
Остаюсь-то я, горе-горькая,
Младым-то я млада-младёшенька,
Одна да одинёшенька.
Работать мне – изможенья нет,
Нет-то у меня роду-племени,
Не с кем мне думу думати,
Не с кем мне слово молвити –
Нет у меня милова ладушки».

Причитала Катерина всегда душой. Повоет, глядишь, и полегчает. Поголосит, что через скобку водицы святой плеснёт, – отляжет с душеньки.

Как провожала мужа, думала, до осени... край к Роштву свидятся. А оно вона как закрутилося! На годы захлестнуло!

Оба легли... вместе... в сорок третьем... И ведь где-то рядом... А могилы старушка не знает. Дуга-то Орловско-Курская эвон какая была! И бойня жуткая... Тут... в нашенской земле лежат её родные, хоть это успокаивает надорванное сердце.

Как подходят майские, День Победы, собирается всё село к правлению, у обелиска, откритчит Катерина у себя в хате, повяжется вдовьим, ни разу не менянным на светлый со дня двойной похоронки платком, и, окаменев, (как только ноженьки несут?), потянется за односельчанами на митинг.

Много фамилий высечено на камне, но нет на нём двух её самых дорогих имён. И оттого нет и ей покоя сколько уж лет. Не заспит, не заест своего горя Катерина. Хоть бы одним глазком увидеть то место, где остались навечно её Вася и Митенька... Как могли сгинуть без вести её родные?... Землицы бы своей, деревенской свезти, на холмик посыпать, поголосить бы от души, рассказать им, как жила все эти годы осиротевшая в самом расцвете Катерина.

Хоть и была с вечера сварена поминальная пшёнка, собран узелок, бабка поднялась, ещё не забрезжило. Зажгла свечку у Георгия Победоносца, пошептала с ним о чём-то, поклонилась в пояс мужниной и сыновней карточке. Но не заголосила, не закричала. Утёрла влажные глаза кончиком подшалака. Слёз не было. За долгие мучительные годы выпали они ядовитой росой на её сердце, иссушили его. И сама она – щепка-щепкой. И живёт из года в год одной надеждой, что откроет Господь ей глазоньки и в этот год на Радоницу...

За окном затарахтел мотоцикл. Агроном Иван Сидорыч собрался ни свет ни заря в поле. Гришка, вроде, у Дальнего лога вчера рыкал, пахал. Сидорыч ему не доверяет... Да и как доверишь? День работает, неделю пьёт... Да... пулей долетит агроном до Дальнего. Теперь эвон какая техника!.. Раньше-то лисапедка за диковинку слыла. Редко у кого имелась.

Помнится, отселились по весне, Василию премию выдали. А он – ишь чего удумал – на подарки её и убухал! Лисапед в сельпо приобрёл. Митька всё Варюшку Сотникову в Снежный овражек за черёмухой катал... Потом её соседскому мальцу отписала... Вещь почти неиспользованная. Чего зря без ухода ржаветь-то? Застоялась без хозяина... Митя бы дозволил... друшенька на распахку... бесхитростной... Кто только ни гонял при нём на лисапедке том!

И жену не обнёс тогда Василий: отрез крепдешинового прикупил. По топлёному молоку розанчик аленький с голубиное яичко. А ещё учудил – помаду к лицу! Вовек она губы ничем не мазала. Только за ради Васи и приняла подарок... И по сей день лежит та помада в сундуке, рядом с любимыми бусами, теми самыми, что одарил её Вася за сына. Крупные, ягодные к ягодке, вишенка к вишенке... Не стало мужа, и запрятала она свою радость, завязав в носовой платочек, на самое донце сундука. Нечего душу бередить!..

Любил Вася Катерину порадовать. Да и вообще задористый был. Привёз как-то из города штукину. Для всех, мол, чтоб в дому веселье не переводилось. Открывает ящик чёрненький, а в нём – патефон! Первый на деревне! Катерина: «Что ж ты? Видать, все деньги ахнул?» А Вася: «Ничего! Жизнь впереди! Ещё заработаем!» Вынесет к вечеру музыку во двор, вся молодежь на «Кукарачу» да на «Рио-Риту» и сбегается...

Патефон Катерина в сорок пятом отнесла в клуб... на общий праздник... да там и оставила... всем на радость.

С полным рассветом бабка отправится в путь. А пока, не привыкшая к безделью Катерина, искала своим рукам заботы. Бурьянным венником размела утопанный до сметанного блеска пяточок у крыльца, прибралась на загнетке. Порылась в сундуке, вынула тёмно-синюю в мелкую крапку штапельную кофту, обористую, цвета смурной октябрьской ночи, юбку, новый подшалок. Целая стопка этих чёрных подшалков громоздилась в углу сундука...чтоб хватило до конца бабьих дней. Видать, её это цвет – чёрный...

В тот день, когда Маруська-почтальонша принесла похоронку, жизнь Катерины, словно берёзовое полено, раскололась надвое. Маруська протягивала страшный конверт, а она отступала. Забежала в хату и заперлась. Пролежала в беспмятстве сутки, а как выползла на другой день в сенцы, обнаружила похоронку на полу. Почтальонка подоткнула её под дверь.

Маруська и сама была не в себе. Месяц назад получила такую же страшную весть о своём Николае. А потому не стало у неё сил на причитания с Катериной. Сколько похоронки разнесла по деревне! Но разве к такому привыкнешь? Со смертью мужа оборвалась в натянутой душе её какая-то звонкая струна, и она сникла, как никнет от лихих заморозков всё живое.

С тех самых пор Катерина старалась не заглядывать в зеркальный осколок повыше загнетки, встроенный когда-то для неё мужем. А если бы ненароком посмотрела, то не узнала бы себя – за ночь выбелило ей голову, да так, что и невозможно предположить, русая или чернявая была её коса до гибели мужа и сына.

Выгребая из подвала на посадку картошку, баба откидывала старую, сморщенную, никому не нужную, не годную на еду, не способную родить.

Она невольно сравнивала себя с никудышной, жмуриной картофелиной. Становилось ещё горше.

А сейчас, в свои восемьдесят с лишком, бабка Катерина, как замшелая верба на Синь-юру, гнулась всё ниже и ниже. И так же, как верба, не сдавалась ни лютым ветродуям, ни страшным февральским буранам, всё ещё скрипела зачем-то на этом свете. Почему Господь до сих пор не забрал её к себе? Может, и ему она не нужна? Или за давностью лет позабыл Всевышний о её существовании?

Бабка и сама понимала, что задержалась на этом свете. Но несколько лет назад в райцентр ко Дню Победы доставили настоящий танк. Говорили даже, что времён войны. Установили его на главной площади, как памятник, над могилой неизвестных солдат, погибших у нас в сорок третьем.

И решила тогда для себя Катерина: эта общая солдатская могила и будет могилой её родных. Они ведь танкистами были, у танка им и лежать полагается.

И повадилась она в район. Не на День Победы, когда митинги да оркестры, а на Радоницу. Хотелось ей наедине попричитать о Васе с Митенькой, потолковать с ними о своём.

Теперь у Катерины в этот поминальный день неведомо откуда брались силы. Согнутая в три погибели спина её распрямлялась, и бабка становилась проворна, словно молодуха. Издали казалось, сорокалетняя сноровистая баба снуёт по Катерининому подворью: вывешивает чугуны на просушку, отворяет ставни, стучит-гремит ведрами, торопится с управкой.

В те страшные дни, когда фашисты нахрапом брали в округе село за селом, всю колхозную технику, лошадей, приказали спешным порядком отправить на фронт. Председатель Фомич уговорил приехавшего уполномоченного, чтобы колхозу за все трактора и грузовики позволили иметь именной танк. Так и назвали его, как колхоз, — «Родина». И усадили на него лучшего тракториста, Василия Митрофанова.

Митя к тому времени два раза убегал на фронт. Но его упорно возвращали. И порешил Василий взять сына в экипаж. А Катерину успокаивал, мол, всё одно сбежит, а со мной хоть под приглядом будет.

Так и воевали почти два года отец с сыном на колхозном танке. На карточке разглядела как-то Катерина, на башне танка Митя краской вывел: «За Родину!». И за колхоз, значит, и за всю огромную страну.

Мужики её бились с ворогом, а Катерина вздрагивала от каждого стука в дверь...

Через месяц, как ушёл Василий, поняла она, что ночи июньские покосные оказались для них действительно счастливые — Катерина понесла. Но крошечная Василиса, не прожив и месяца, померла... В страшном сорок втором не было места младенцам.

Как бедовали под немцем, жутко вспомнить! Хорошо, что бабушка Васина через неделю, как он ушёл, преставилась. Чем бы кормила её Катерина? Выгребли всё подчистую нехристи. Бабке до сих пор не верится, что сдю-

жила деревня тогда, не померла с голоду. Картошку прошлогоднюю в полях по весенней хляби собирали, сушили, мололи, «пирепики» стряпали. Хлеба два года не видывали. Всё на подножном корму. А чтоб приварок какой! Об этом вовсе позабыли. От голода пухли, еле волочили ноги. Скот, птицу немец вырезал. Детишки мёрли один за другим. Крыс-мышей и тех не стало. Степка с голодухи стащил у германского повара курицу... Пристрелил злыдень Стёпу...

Бывало, идёт Катерина вместе с другими бабами под прицелом полиция Афони окопы рыть, а сама думает: «Только б знать, что живы, что бьются, а я уж тут как-нибудь». А саму ветром шатает от мякинных лепёшек да от лебеды. Чёрная, словно смерть, в чём только душечка теплится.

А как нашим придти, удумали фашисты девок, мальчишек да баб молодых в неметчину гнать. Двое суток просидели они с Варей в шейной яме. Дед Микитка соломой завалил, стог над ямой свостожил. Тем и спаслись.

К осени сорок третьего, как уж похоронка пришла, надумала Катерина с жизнью расстаться. Прасковья, соседка, из мотка вынула: «Ты что ж это, девка, – серчала она, отхаживая Катерину, – фашиста погнали! Только жизнь начинается. Эх, ты!» А Катерине на белый свет глядеть не хотелось. Ничто не мило.

Но демобилизовали с фронта израненного Фомича, затеплился колхоз. И Катерине некогда стало задумываться о собственной судьбе. Навалилась страшная, тягловая работа. В деревне не осталось даже коров. Подходила весна. Надо было как-то вспахать, чем-то засеять. По четвёрке бабы впрягались в плуги и пахали не огороды, запущенные колхозные поля.

Тупая, тяжкая, каждодневная работа опустошала и тело, и душу. Повечеряв кой-чем, валилась замертво. Наверно, это и спасало. Не оставалось времени на нытьё. Надо было выживать, всем бедам назло. И в душе всё не гасла, теплилась крошечная надежда: а вдруг всё-таки живы ...

В сорок четвёртом на одной ноге вернулся с фронта Фомичёв Михаил. Парень видный. Но на десять лет моложе... Вернулся – и к ней. Так, мол, и так, всегда нравилась, напрасно ждешь, мёртвые не воскресают.

Захолодело у неё всё от правды жестокой, но сдержалась, не накричала, не вытолкала прочь, лишь твёрдо сказала, как отрезала: «Не серчай, Васю люблю». Не «любила», а «люблю!» «Мёртвым не видала, а значит, живой он для меня, и дороже Васи с сыном нет в моей жизни никого!»

Катерина раздвинула занавески, выглянула в оконце. С востока, словно крашенки, выкатились малиновые облачка, вот-вот покажется запоздалое солнце – румяный Пасхальный куличик. Уже блеснула, прорезалась над Мишкиной горой его коронка.

Старушка всплеснула руками, вспомнив, что позабыла о выращенной для Васи с Митей гераньке. Она вынесла и её в сенцы, поставила рядом с узелком.

Выпросила у Семёновны ещё с осени росточек. Выходила. Кустище звон какой вымахал! Геранька – цветок немудрёный, особого ухода не просит. Гореть будет у танка до самых заморозков.

Поначалу власти настороженно отнеслись к появлению бабки Катерины у танка, но, присмотревшись, смирились, допустили, сошли до бабкиного горя.

Обычно она садилась в сквере на лавочке, развязывала свой поминальный узелок, наливала стопочку себе, две других ставила на краешек памятника. На землю, туда, где по весне школьники высаживали цветы, к подножью танка, клала крашенки, крошила куличик. А потом часов до пяти вечера обсказывала родным о своём житье-бытье. Старалась понапрасну не тревожить. Зачем им знать об её хворобах, о том, что угол у горницы осел так, что и зимовать страшно, что в деревне проводят газ, а ей денег даже на дрова собрать не просто? Пусть покоятся с миром. Земля им пухом и царствие небесное.

Совсем развиднело. Прихватив узелок и горшок с геранью, бабка затворила крыльцо, вставив в ручку орешину, и уселась наизготовке под грушежкой. В её кипени уже жужжали пчёлы. Дульку эту раздобыл где-то Митя и посадил у крылечка в предвоенную вёсну. Не один десяток лет кормит она безотказно деревню. Людям на здоровье, Мите с Васей на помин.

Коровы стадом прошли вдоль улицы за околицу, в Марьин овражек. Потянуло парным. Когда-то и Катерина держала корову. С последней Зорькой тяжело расставалась... А куда деться-то? Руки совсем не слушают. А её, сердешную, ну-кась, обиходи. Советовали ей козу завести... Нет скотины, и эта ни к чему. Конечно, стакана б молока ей хватило. Но как вспомнит она вымястую Зорьку!.. Идёт по улице на закате, дойки чуть ли не по земле волочит. И молоко сдержать не может, так и кропит на подорожники...

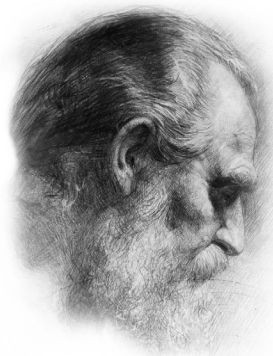
И что это Михаил задерживается? Уж кой год молоковозит, а порядку не помнит. Правда сказать, об одной ноге—то шибко не разгонишься. Да и в дому один. Лидия-то когда ещё померла... Во все концы один... И с конягой поди управься!.. Молочка тайком прямо с фермы завезёт и завезёт Катерине... Тебе, мол, словно дитю малому, полагается... Придумал тоже!.. Не раз, как помоложе была, предлагал сходитьсь... «К чему на старости лет срамиться-то?.. Да и Васю я с годами ещё пуще люблю», — отнекивалась Катерина. Он, видать, за любовь такую крепкую к Васе и уважает её, каждый раз поклон её родным передаёт. Сполню, мол, Катя, просьбу твою, сполню...

Слышится скрип, и из-за Прониной хаты выкатывает телега, груженная молочными бидонами. На передке, на охалке сена, восседает Михаил. Он в новом картузе и потёртом плисовом пиджаке, на котором поблёскивают медали и орден Славы. Заметив пристальный взгляд Катерины, поясняет: «Ить я тоже... не у мамки за печкой хоронился!.. Собралась что ли?»

Катерина, придерживая узелок и гераньку, усаживается рядом. «Ну, милай, поспешай! Аль не знаешь, куда едем!», — прикрикивает на Гнедого Михаил.



СМЕРТЬ КОНДРАТА



С тех пор, как не стало Серафимы, убедился в никчемности утюга... Серафима не любила теперешних легковесных и по старинке держала в хозяйстве тяжеленный матушкин, на угольях. Пусть простит меня Сима... приладил его в погребке вместо гнёта в кадушку с огурцами.

А нынче незадача получается. Тот самый случай, когда утюг позарез нужен. Каждый год числа пятого-шестого мая собираются у обелиска на митинг. Все как есть... от мала до велика. Как же в такой день и без нас? Без меня, Кондрата, без двух друзей моих – Миколы и Тихона? Как записались добровольцами в начале войны, так бок о бок до самого Рейхстага

пёхом... до последней минутки...

Не стало на деревне нашей фронтовиков... ушли один за другим. Только мы, три кряжа, и остались. Может, потому и коптим ещё небушко, что всегда горой друг за друга: и под пулями, и хату поставить пособить, и бакшу вспахать.

Вчера вот Тишина Петровна причепилась, занеси да занеси рубаху. Выглядит, мол. А то как же на такой праздник да в мятой?

Чего утруждать? Пусть Тихона своєю обряжает. Сам справлюсь. Не хитрое дело... Утюг Петровна всучила. Полочки потру, а со спины и не видать – костюм надену.

Костюмчик у меня, конечно, знатный... Спасибо Ивану, сынку. Почитай, лет пятнадцать костюму-то? А то ещё поболее... Приехал как-то в отпуск, подарки выкладывает. Матери, Серафиме-то, – шаль закудрявистую пуховую – носи, не жалей. Сестре Людке – отрез букетистый крепдешинового на платье. А мне – этот самый костюмчик. «Негоже, – говорит, – фронтовику, да с тремя орденами Славы, кой в чём перебиваться. Прямей-ка, батя!»

И надо же – в пору, как по мне шит! Сразу по душе пришёлся: иссиня-чёрный, в тонкую полосочку... А сын: прими, мол, от шахтёра-орденоносца. Он тогда уже орден Трудового Красного Знамени имел... И обувь мне справил. Премию получил... Как он там теперь? Почтальонша чтой-то не заглядывает. Дошла ли посылка-то? Как Тихон увидел его по телевизору у шахт на голодовке, притопали с Миколой ко мне тут же. Сидят, мол, горняки, касками об асфальт бьют, порядку требуют.

Собрали мы им посылочку... Всё домашнее: сальца, самосадику, первачку (не без этого) в бутылку из-под «Буратины» накапали. Петровна сушки какой-то насыпала, лепёшек наварнакала – в общем, по-свойски. И записочку прописали: «Держитесь кучней, мы с вами. Кондрат, Микола и Тихон».

Ну вот... Рубаха на загляденье... Обувку ещё вчера надраил... Сима не преминула б шпильку вставить: «Аль на Красную площадь на парад нацелился?» А что? Мы ежели втроём... И по Красной пройдем, не стушемся. Мы ещё о-го-го!

Ах ты, проказница, Жулька! Ты как тут оказалась? Кто тебя впустил? Опять вертушок в сенцах подкусила? Ну ладно уж, коли такая смышлёная, проходи, чего уж там... Только сиди смирно, не шкودничай! Чтой-то ты вторые сутки не отходишь? То тебя не докличишь, а то ластишься, как котёнок. Ай, что у тебя неладно? Не захворала ненароком?... И ночью спать не давала: то под дверьми скулила, то выть удумала... Накось жамочку. Тиша с району привёз... Мятная... Ешь, не кочевряжься. По нашим с тобой зубам, во рту тает...

Смотри, об утюг обожжёшься. Вот лизнёшь не мою руку, а его... Что я с тобою делать стану? Поди на половичок приляг, жамочку помумли...

Где он тут, костюмчик-то?.. Шкаф мылом земляничным пропах... Сима моли не терпела. Не так свои кофтёнки берегла, как Иванов подарочек, костюм мой парадный. Под праздник, бывало, в саду на сучок повесит, проветрит, почистит... Награды фланелькой, смоченной в конопляном масле, натрёт – горят!

Господи! Да где ж они, ордена-то?.. Замест наград – три дырочки. Куды ж они запропалились?.. Ить я костюм с Симиных похорон не доставал, почитай что год... Сами-то они не сымутся... Кому они нужны?.. Кроме Миколы да Тихона никто и не заходит. А у них и своих хватает. И фронтовые, и мирные... Вот ведь остальные и у меня на месте. А трёх орденов Славы – как не бывало!

Жулька! Беда – то какая! Ну разве ж я фронтовик теперь? Среде мирного дня боевые награды потерял! А ещё думал, перед смертью внуку, сыну Людкиному вручу. Пусть помнит, какой дед у него был, равняется... Род-то наш бравый! У отца мово Георгиевские кресты имелись. В музей на сохранность передал ещё лет двадцать назад. А свои не сберёг... Горюшко-то какое! Как же я на митинг-то? Через час Микола с Тихоном зайдут. Что им скажу?

Чтой-то мне нехорошо, Жулька... жжёт в груди... Ух! Точь-в-точь, как у Симы на похоронах...

Ничего... пройдёт. За час отпустит... Пока побреюсь, оденусь, глядишь, и вспомню, куда ордена запропалились. Память, видно, совсем прохудилась... а штопать уж и некогда... Чужих с поминок не было... последними уезжали Людмила с сыном... Душно было... пиджак я снял... в шкаф повесил... Нет, не помню, чтобы награды прибирал с костюма... Раньше Сима их в шкатулке на Божничке держала... Пустая шкатулка-то...

Что ж так под сердцем печёт? Спасу нет! Счас... счас валидол под подушкой... Мне б только Ивана дожидаться. Обещался по весне подскочить. Холмик осел, пора Симушке памятник ставить... Да и Людмила, может, заглянет... Ох, и не по нраву мне этот её новый ухажер. Больно прыток. Дела настоящего мужицкого не знает. «Я – коммерсант», – говорит. Какой ты к такой матери коммерсант? Спекулянт, самый наипервейший. И Людку с панталыку сбивает. Дома баба не живёт, снуёт с сумарями по Польшам-Турциям.

Совсем Витьку-сына забросила. За ним глаз да глаз нужен – восемнадцать. Как без пригляду в большом городе?

Просил на лето ко мне спровадить, а она: «Хвосты телушкам крутить? Ему с друзьями тусоваться надо, а тут ни клуба, ни вечеринок, ни молодёжи». Избаловуха растит... Сама к лёгкой жизни тянется и сына туды ж... Боится, как бы дед в деревне малого работой не утрудил, не испортил. Бугай вон какой вымахал, а толку с того?

Муторно на душе... Хотел собрать всех на майские... Может, Иван повлиял бы на Витьку. У него-то хлопцы на загляденье: один – подводник, уж майор, другой – строителем будет, университет заканчивает. Правда, Людка и сама особо мало к кому прислушивается. Сколько Иван бился, чтобы образование получила... К себе на Украину забирал. Одевал, обувал... Тогда ещё зарабатывал неплохо... Бросит и бросит учёбу Людка. Похлопочет Иван, опять восстановит... Так и не дотянула до диплома... пустышка... Витьку родила. До школы Сима за им приглядывала, у нас был. Но Людмила наехала, не позволю, мол, чтоб телушкам хвосты крутил. И чего она к этим телушкам привязалась? Вон сколько ребятишек с нашей школы в люди вышло... Нет... Не легчает... И Жулька опять жмётся, скулит...

Ну, вот и нарядился... Только жжёт всё сильнее... как раз под тремя дырочками на пиджаке... А костюм-то выгорел... Там, где ордена были, ткань яркая... Дышать немоготу...

Пойдём, Жулька, на воздух, под черёмушку... Скоро уж Микола с Тишей подойдут... в голове мельтешат какие-то обрывки мыслей... Не продохнуть...

Словно из тумана выплывают две сгорбленные фигуры... приближаются к лавочке...

Что происходит? Зачем они тормозят меня?.. Почему я не слышу их голосов?.. Рты открывают, будто рыбы... Почему я не чую запаха черёмухи? Тихон плачет... и разом осунулся Микола... Не надо плакать! Мне легче... Я совсем не чую боли. Вот смотрите: встану, и пойдём к обелиску. Там, наверно, уже заждались...

Облокачиваюсь о плечо склонившегося надо мной Миколы, и легко, как в молодости, делаю несколько шагов вперёд. Оглядываюсь... И вижу себя, сидящего на лавочке... в пахнувших ваксой ботинках, в выцветшем костюме. Отчётливо темнеют три дырочки на левой стороне пиджака. Внезапно обостряется слух, и я улавливаю дрожащий голос Миколы: «Кондрат! Как же мы без тебя? Что же ты наделал, Кондрат!» Утирая слёзы рукавом, Тихон садится прямо на землю и всхлипывает: «Очнись же, Кондрат! Надо спешить! Нас ждут... Как они без нас?..»

Я всё-таки умер! Не дождался своих. А ведь как просил Иван: «Крепись, батя, скоро свидимся!» Оказывается, это совсем не страшно: я ещё с вами, я тут. Я вас вижу, слышу, только не могу сказать: «Ну что, старые вояки, распустили нюни? Не к лицу вам это вовсе!» Да, голос пропал, зато слух какой, даже мысли читаю. Вот сейчас Микола подумал: «Всё кончено... Утрись. Надо похоронить как следно».

Через двадцать минут, наносив родниковой воды, Микола с Тихоном раскинули клеёнку в сенцах на полу. Сняв пиджаки и закатав рукава, товарищи обмыли меня. Вода у нас в ключах ледяная, аж до ломоты в зубах, но я совсем не почувал холода. Я уже остываю...

– Надо побыстрее одеть в чистое, – засуетился Микола.

– На нём и так всё чистое... праздничное, – всхлипнул Тиша.

Меня снова облачили в недоглаженную рубашу и в Иванов костюм.

С тех пор, как на фронте осколок задел позвоночник, у меня побаливала спина, а с годами мучения усилились. Когда-то я сколотил из сосновых тесин лежак, военврач предупредила: «Спать на жёстком!» Тихон вспомнил о нём и, вытащив из-под матраца, мужики водрузили щит посередь горницы на табуретки. Застелили покрывалом и уложили меня.

Тиша всё никак не мог связать мне руки на груди. Он постоянно утирался промокшим платком, отсмаркивался. Микола молча отстранил друга и закончил дело. Пока он занавешивал окна, Тихон отыскал в Симином сундуке какой-то чёрный подшалок и прикрыл им зеркало. Микола знал порядок в таких делах. Полгода назад схоронил Пантелеевну.

Подойдя к иконостасу, зажёл лампаду. В солонку насыпал соли и воткнул зажжённую восковую свечу. Покопавшись в карманах, отыскал стольник и положил на тумбочку. Тихон, перекрестившись на Божничку, вынул ещё один и положил рядом... Вот ещё удумали! Свои ведь!

Смерть моя за какой-то час состарила и без того немолодых моих друзей. На мгновение они присели... Слышно было, как тяжело вздыхал один, как поминутно шмурыгал носом другой. «Ну, рассиживаться некогда», – командовал Микола, и они вышли... Я расслышал, как брякнула щеколда, и Микола сказал: «Я – к Петру, а ты – на митинг». Я догадался: отправился в столярку гроб заказывать. А Тихон объявит сейчас прилюдно о моей смерти... прямо на митинге. Испортит праздник... Ну, такой уж он был всегда, День Победы. И радость, и слёзы вперемешку.

Оставили одного... Как знали... попрощаться без чужих глаз с хатой надо... Всё на месте... Прабабкины иконы в тяжелых окладах, пожелтевшие карточки в рамках под стеклом, вязаная с голубками скатёрка. Только Симы нет... Теперь и меня не станет... Тишина давит так, что если б был жив, наверно, разболелась бы от её гула голова.

Протяжно завыва Жулька. Её привязали за амбаром, чтоб не мешала, не путалась под ногами.

Послышались шаги, и горница начала заполняться людьми.

Народ, не закончив митинг, потянулся к моей хате. Односельчане входили с зажжёнными свечами, стояли некоторое время, выходили, на их место заступали другие. Старухи расселись по лавкам, помоложе – засуетились на кухне.

Часа через три на подводе подкатил Петро, привёз обтянутый алым сатином гроб. Принесли соломы, разбросали по полу. В гроб уложили тюфячок, тоже набитый соломой. Петровна, покопавшись в Серафиминых ларях, каким-то своим, бабьим, чутьём отыскала всё необходимое. Не могла уйти

Сима, не сготовив смертное и для меня. Здесь было и белое церковное покрывало, и образок, и связка восковых свечей, и ещё куча погребальных принадлежностей. Казалось, Сима и с того света волнуется за меня, заботится обо мне по-прежнему.

– Май месяц, а лето летом, – шептались старушки.

– С похоронами не удержишься. Жара.

– Ивана бы дождаться. Людка-то опять в Турциях. Микола до Витьки дозвонился...прибудет.

Ну вот, даже проститься шепутная не явится. Может, хоть Витёк соизволит. Иван, конечно, с женой постарается. Только бы не закопали раньше срока. А с другой стороны – чего теперя меня беречь? Вон как припекает! Будь что будет, терять уже нечего, всё потеряно...

Жаль только, не успел узнать, куда всё ж-таки ордена задевались. Как-то нехорошо... Будто я их сам перед смертью от глаз людских спрятал... застыдилась ими. А стыдиться мне нечего! Вся жисть перед нашенскими на ладони. И на фронте, Миколай с Тихоном помнят, за мной ничего дурного не водилось. Вшей кормил, грязь хлебал, промерзал до самого сердца, пули не раз ловил вместе с ими...

Прожито много, но как подоспеет весна, кажется, всё вот-вот только и начнётся. И жисть будто целая ещё впереди. И помирать страсть как не охотно! Май-то нынче какой! Сады в кипени, год урожайный, должно, будет. Эх, пожить бы! Ну, ещё хоть годок-другой. Пусть даже печёт в груди и темнеет в глазах, всё равно – жить!

Проснуться от крика петушиного, от тьяканья Жулькиного, выйти с крыльца, вздрогнуть от утреннего холодка, пофыркать рукомойником, согнать Зорьку в стадо. Да мало ли что ещё! И желания-то самые простецкие: пройтись с литовочкой по лугу росному, подышать цветом липовым, хрумкнуть яблочком яровым.

Писал же мне Иван: «Сходи к медичке. Пусть от сердца чего-нибудь пропишет». А что ходить-то? На девятый десяток перевалило... Видать, срок подоспел... Чего зазря лекарства изводить?

Давно в моей хате не было столько народу. Как дети разлетелись, мы с Симой словно осиротели, даже говорить стали вполголоса. Да нам и говорить не надо, с полвзгляда друг друга понимали, с полнамёка.

Вошла Никаноровна. Бабки потеснились, уступили местечко поближе к гробу. Никаноровна раскрыла «Псалтирь» и забубнила по привычке себе под нос. Никто на деревне не знает, сколько ей лет. Я ещё мальчонкой бегал, а уж она и тогда старухой была. Церкви у нас нет, потому и батюшки нет, отпевать некому. На случай похорон призывается Никаноровна со своей древней, как и она сама, «Псалтирью». Коли вздумает кто подтрунить над бабкой: мол, когда сама помрёшь, кто ж тебя, старая, отпевать станет? – на это заготовлен у Никаноровны ответ: «Не дождёсси!» Назначенную самой себе службу старушка справляет добротню. Знает, когда в течение ночного бдения разрешается покемарить, когда перекусить не помешает, когда свечки зажечь, когда погасить. На неё полагаются, и установленные ею порядки принимают за церковные.

Никаноровна прервала чтение, вспомнив о чём-то, всплеснула руками, мол, нехристи вы, нехристи, и приказала задвинуть Симины фикусы куда подальше – не место живым цветам у гроба.

Никола помогает бабам по хозяйству. Тихона спровадил в район за провизией и в военкомат за оркестром. Похороны будут скорые, на завтра передали + 25.

Ну вот... теперь точно Иван не успеет. Он же у нас за границей живёт! Когда это было, чтоб Украина чужой страной называлась? Таможня, граница... Тыфу ты! Разодрали страну на части, ни детям к родителям не добраться, ни родителям их не дождаться.

Односельчане идут и идут. И все ко мне... Даже как-то неловко. Не привык я к такому вниманию. Да и к тому, что умер, тоже пока не привык... Может, я просто сплю? Ведь вижу же я, как Сенька-баламут под шумок будильник мой с подоконника потырил и за пазуху пихнул. Вижу... точно вижу. Слышу, как плачет закрытая в будке Жулька. А поделать ничего не могу: ни Сеньку по рукам шлёпнуть, ни Жульку вызволить. Тело не моё, не подчиняется мне больше.

Видать, я всё же умер... Душа только никак не успокоится... А как тут успокоишься? И ордена не сыскались, и с могилой не определятся. Места, сомневаются, рядом с Серафимой маловато. Ишь, чего выдумали! Не могу я вдали от жены лечь. В тесноте – не в обиде. Шестьдесят годков под одной крышей теснились, а уж там Сима ради меня подвинется. И Ване полегшее будет... траты какие... Памятник уж теперь один на двоих поставит.

Вот Сима-то обрадуется... Дождалась-таки. Я, как в холода её хоронил, места себе не находил. Сон последний год совсем пропал. Как вспомню, что одну в холодной ямине оставил!.. Всё просил гроб постилками шерстяными укрыть, не пожалеть, только потом уж землицей присыпать.

Хотел с Ваней потолковать... Оставался бы он дома. На кой ляд ему эта Украина, коли такой расклад у них пошёл? Никого своих там нету... Опереться не на кого. Дети далеко, в России. Переезжал бы уж на дедовский корень. И нам с матерью спокойнее б лежалось... под его приглядом... Шахты рушатся. Не ровён час, завалит... Вишь, правитель ихний никудышной какой... Напрочь с Россией расхристаться вздумал. От нас отбилси, а один не справляется. Мы рядышком, вот они, а Америка евоная, где это она? За морями-океанами. Когда-то помочи с неё дождётся.

За окнами стемнело. Зажгли ещё больше свечей. Тени расползаются по стенам, снуют из кухни в сенцы.

Командует Тишина Петровна. Жарится, парится, готовится поминальный обед.

Последняя ночь дома... Как я буду без него? Сима же смогла... и я, наверно... смогу. Всю жизнь тянулся к ней ... и за ней... Как увидел её в гостях на Казанскую, так и украла она моё сердце. Ни на кого никогда не взглянул... Куда им до моей Симы! Видать, и я ей приглянулся. Сватов заслал – не от-

казала. Правда, никогда не слышал от неё «люблю». Всё «жалкий мой» да «жалкий мой». Вон меж окон карточка довоенная. Я на стуле сижу, на руках Ванюшка годовалый, а Сима рядом стоит... Краше во всей губернии не сыскать.

Никаноровна помурлыкала, помурлыкала и прикорнула. А бабки наско-ро пробежались по тем, кто не был рядом, быстрёхонько обсудили проблемы местного и международного масштаба.

Перемыли и постель, и косточки Лидке-фельдшеричке. Мол, почему это на медпункте бесплатных лекарств для инвалидов и престарелых нет, а за деньги – бери любые.

Досталось и Сидоровне, что дурманит мужиков некачественным само-гоном. Подсыпает димедрол. Того гляди, траванётся кто-нибудь.

Пробрали Стёпку-тракториста. Вспахал по пьяни «Дорогу жизни» – единственную шоссейку, ведущую в деревню. Теперь автобусник ездить от-казывается, а ремонтом никто не собирается заниматься.

Иногда старухи вспоминали обо мне, притихали, крестились и сожалели, как тому и полагалось: «Хороший был Кондрат, царствие ему небесное!»

Ближе к утру, разобравшись с делами, к бабкам присоединились Микола и Тихон. Микола из нашей троицы – самый молодой. Тихон – самый добрый. А я... Я был на пару лет постарше.

Странно, почему, когда видишь себя в гробу, так остро хочется жить. А в запасе нет уже ни секунды, ни мгновения! Стою у черты... Передо мной, как в ускоренном кино, мелькает моя жизнь... Кадр за кадром, день за днём. Я не успеваю разглядеть картинок. В основном они чёрно-белые, лишь из-редка – цветные.

Да, действительно, праздников было маловато... В большинстве – серые, беспросветные будни... Полуголодное детство... Война... Смерть трёх де-тей... Работа... работа... работа...

Лишь иногда вспышки... Отец вернулся живой с Финской (уже не наде-ялись, пропал без вести)... Сима, свадьба наша... Рождение Ивана... День Победы... И снова Сима... беременная дочерью... Вот, пожалуй, и все ра-дости...

Светает... У крыльца резко тормозит легковушка. Слышится голос вну-ка. Надо же... Не знал, что водит машину, да и вообще, что она у него есть.

«Витя, Витенька! – Петровна кинулась к двери, – Нету больше Кондра-тушки! Что ж, мамке-то сообщил?» «Где за ней угоняешься? В Грецию за шубами отбыла. Будет через неделю». Внук, задержав взгляд на моём пид-жаке, на том самом месте, где должны были красоваться ордена, прошёл к иконостасу, поправил лампадку и по-деловому, чего никогда за ним не заме-чалось, закомандовал похоронами.

«Жарень! Хоронить надо сегодня, часа в два. Дядька Иван всё-равно не успеет», – Витёк заходил по хате, поторапливая баб со стряпнёй. Сам вы-звался сколачивать с Тихоном столы во дворе. Поминать будут в саду под грушенкой.

А что? Место самое подходящее. Бессемянка в цвету, пчёлки жужукают, рай земной, да и только. Сады гудьмя гудят. Нынче мёд уже в мае качать можно. С вербы взятки хороши... теперь яблони пошли, вишни, груши, черёмуха. Только трудись, пчела. Да ей подсказывать не надо. Она, проныра, всё сама наперёд знает...

Да... что станется с моими улюшками?... Может, Микола догадается, подберёт. Хотя... Ему бы со своими управиться. Вот Жульку Тиша точно не кинет. Он сердобольнай... С курами Петровна уже распорядилась – бабы щиплют. Ну и правильно, чего беречь-то? На помин души хозяйской пойдут.

Петровна – бабонька хлопотная. Стряпать умеет, хохлушка. Тихон её из Германии привёз. На работу немцы из-под Киева угнали. А как освободили, она в нашем эшелоне домой возвращалась. Пока ехали, обзнакомились они с Тишей да и поженились. Свадьба у них на колёсах прошла... весёлая... победная...

Микола, тот всю войну по училке, что в сороковом к нам в деревню прислали, сох. Вернулся и не отступил, будто прилип. Не устояла Елизавета Матвеевна. Трёх сынов ему родила, выходила. Только свили Миколины орлы не в наших краях гнёзда, не стало Лизы, дожидает друг мой Микола в опустевшей хате со щеглом Фимкой да котом Филькой. Хотя с ими словом перебросится... Я его понимаю... От одиночества и онеметь не мудрено.

Сам, бывало, затоскую, впору Жульке подвывать. Сбираюсь... и к Миколу... Посидим... выпьем по стопочке-другой, помянем Симу с Лизой... потолкуем, вспомнить-то есть о чём, а там – и на печку пора.

Хорошо всё-таки, что Витёк подъехал. Вишь, как старается, организовывает. А то Микола с Тихоном из сил выбились, годы-то какие...

Привезли венки, расставили вдоль стен. Лесом запахло, смолой. Даже не ожидал такой красоты. Как магазинные. В сенцах от крышки и креста тоже свежей сосёнкой пахнет.

Бабки раскопали Симины рушники. Ещё из приданного. Вот ведь когда пригодились! Один завязали на крест. Отобрали самые длинные – гроб в могилу опускать... Там и останутся... Вот и ладно. Вышивала их Симушка. Опустятся на гроб, словно она руками ко мне на прощание прикоснётся.

Часам к двенадцати начал сходить народ. Откуда столько взялось!

Ах, да! Праздничные дни. Гости понаехали. Вот и привалили со мной проститься. Спасибо, конечно... только не по себе мне от этого... Да уж ладно, потерплю напоследок. И самому всех увидеть хочется... проститься...

Витёк весь день с телефоном ходит. Придумали же игрушку: без проводов, маленькая, карманная, а в дальнюю даль дозвонишься. Иногда Витёк кричит так, что слышно даже в хате. Вот опять: «Не торопи ты меня. Сказал – привезу, значит, привезу». Деловой Витёк стал... Видать, поумнел... Даже радостно как-то... и помирать спокойнее...

Подошёл грузовичок. «Лапник, лапник тащите!» – поторапливает Витёк постовых-пионеров. Пристроившись на лавках в палисаде военкомовский оркестрик настраивает инструменты.

К часу дня Витёк объявляет, что пора заканчивать прощание. Оркестр играет «Славянку». Гроб выносят из дома и ставят на грузовик.

Душа моя разрывается, мечется между осиротевшей, всхлипывающей сенной дверью, хатой и ещё не определённым на вечный покой, но уже готовым ко встрече с Господом и Симой, телом.

На кузов поднимают крышку, венки и крест. У изголовья – Микола с Тихоном. Витёк усаживается в иномарку. Жители деревни идут следом пешком.

Кладбище наше прямо за околицей. Грузовик еле ползёт вдоль улицы... и я... прощаюсь... с каждой хатой... с каждой раkitкой... с каждой скворечней.

Так муторно, а тут ещё этот оркестр! Как ударит своими тарелками! Кто только придумывает такую музыку... Так жалко вдруг стало себя... Поскорее бы, что ли, всё закончилось. Хотя... Вот снова невыносимый приступ – нестерпимо хочется жить! Ещё чуть-чуть! Прокатиться с Витькой на его новой машине, повспоминать чего-нибудь из фронтовых передраг школярам. Да просто поболтать ни о чём с незнакомцем.

Встать бы сейчас и сказать во весь голос, прямо с машины: «Любите друг друга, прощайте друг другу, общайтесь, заботьтесь друг о друге! Нет ничего дороже этого. Потому что это и есть жизнь, и ничего нет прекраснее её! Даже самые невероятные жизненные тяготы – радость и счастье по сравнению с могильным покоем».

А Ивана так и нет... Может, телеграмму не получил? У них там стачки-забастовки. Досадно, не успел даже записку черкнуть, чтоб ордена поискал. Не могли же они бесследно из хаты исчезнуть?

Людка возвратится, приедет на могилку, выть станет. А что теперь выть-то? Мы для неё обуза. Всегда старалась подальше держаться. Семьдесят километров до города, а приезжала в полгода раз, а то и реже. Какой ей от нас прок? Пенсия крошечная. Она за день такую сумму спускает. Научилась спекулировать у свово Вовки-Вольдемара.

У кладбищенских ворот притихшие было музыканты заныли снова, и бабы зашмыркали носами. Мужики подхватили гроб и понесли через погост в дальний левый угол.

Душа моя вдруг почему-то заторопилась. Опередила односельчан, и воспарив над погостом, наблюдала, словно старалась запомнить лица пришедших, расслышать их редкий шёпот, сосчитать их шаги до ожидающей меня со вчерашнего дня могилы. С высоты голубинового полёта ещё печальнее казалась поникшая толпа. Медленно, будто нехотя, пробиралась она меж покосившихся замшелых крестов, расшитых молодым земляничником, осыпанных, словно крошками пасхального кулича, первыми мать-и-мачехами, могильных холмов туда, где совсем недавно сладил я тесовую лавочку, куда зачастил со дня Симиных похорон... Под рябинку... Песню жена про неё всегда напевала...

Когда гроб поставили на табуретки, из могильной утробы потянуло отсыревшей глиной, дохнуло кладбищенской горьковато-слащавостью и провожающие невольно отпрянули, видно, почуяли, как из глубины свежерытой домовины на них взглянула вечность. Мне показалось, я даже вижу

красную материю Симушкиного гроба. Стало спокойней... Значит, всё-таки бок о бок...

Как я и думал, выпитив пузо горой, председатель Прилепкин выступил вперёд и завёл тяготины минут на двадцать. Даже я устал от его болтовни. Но тут выручил внук. Только Прилепкин надумал перевести дух, Витёк предоставил слово представителю военкомата. Тот был по военному краток. Щёлкнули затворы. Два бойца, приехавшие вместе с оркестрантами, произвели салют.

Гроб, наконец-то, начали опускать в могилу. Сильнее запахло сосновой доской... и бездной... Вдруг мне ещё раз захотелось взглянуть... в последний раз... на Божий свет.

Микола и Тихон уткнулись друг другу в плечо и беззвучно рыдали. Петровна обняла их обоих и прижала к себе. Я искал внука. Зазвонил телефон, Витек дёрнулся в сторону, и я услышал, как он в полголоса сказал: «Успокойся! Дай хоть закопать. Ордена получил, получишь и иконы. Я тебя когда-нибудь обманывал?»

Что он сказал? Ордена?! Так вот где взял паршивец деньги на иномарку! Надо что-то делать! Не могу позволить, чтобы в его руках оказался Симин иконостас!

Витёк, не дождавшись, когда засыпят могилу, рванул в деревню. Но где ему на своей жестянке теперь угнаться за мной!

Это только тело! Я слышал, душа, если дела земные не завершены, остаётся на земле до сорока дней. Не всё потеряно! Надо что-то придумать! Надо успеть!..

Ещё издали я узнал его... К хате быстрым шагом с остановки приближался Иван. Значит, всё-таки приехал! Спи спокойно, Сима. Я скоро буду.... Теперь и ордена найдутся, и иконы твои никто не посмеет тронуть... Иван дома...

На крышку гроба глухо посыпалась земля. Очнулась Никаноровна: «Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежде живота вечного предстательшагося раба Твоего, брата нашего Кондратия, и яко благ и человеколюбец, отпускай грехи и потребляй неправды, ослаби. Остави и прости вся вольныя его согрешения и невольныя, избави его вечныя муки...»



НА ХУТОРЕ ДАЛЬНЕМ



Дочь Аня приехала из столицы в отпуск. Надоели ей, художнику-живописцу, пленэры по Карелиям да Суздалям. В коренные места потянуло. Не долго думая, собрались мы и махнули к деду на хутор. Родных поглядеть, этюды пописать.

Автобус рыкнул на прощанье и оставил нас в горячей пыли на июльском просёлке. Когда он скрылся за поворотом, и рассеялась серая пелена, мы скользнули с наезженной дороги на чуть приметную стёжку в донники. И сразу утонули-затерялись в их мареве. Лёгкий ветерок покачивал невесомые куртины-облака бело-жёлтых зарослей. Мы проваливались в эту перину, взлетали вместе с ней на пригорки и опускались в ложбины. Казалось, нет конца и края душистому чуду.

Моя старенькая родина, словно ласковая няня искупала нас в донниках, приголубила дыханием предвечернего ветерка, протянула комариком давно позабытую песню.

Дорога пошла под уклон, и ультрамарином брызнула гладь игинского прудка. Нагруженные поклажей, мы, словно увальни-шмели, выплыли из пушистых зарослей и не торопясь, привыкая к наполненному свежестью и запаху водяных трав воздуху, двинулись по плотине.

С правого гористого берега снежной метелью выюжили и опускались на воду белогрудые стаи. Гуси парили, и за короткие секунды полёта можно было рассмотреть, как грациозны их движения, как тонко-розово отливает на солнце их оперенье.

Под громкое кагаканье мы покинули пруд. Мозолистая дорога карабкалась в гору по подлеску – бывшему пахотному полю, раскинувшемуся до самого отцовского дома.

– Хлеба здесь, бывало, в мой рост стояли! – вздохнула я. – Девчонкой потерялась однажды. Бабушка оставила сыну своему, моему дядьке, меня на пригляд, а ему самому всего ничего, он и упустил меня. Шустрая была. Блудила в хлебах день-деньской, васильки на венок собирала, за куропатками бегала, пока на просёлок случайно не выбралась. А школьницей вместе с классом колоски ржи ножницами состригала на пшеничном поле, чтоб не сорная пшеничка была.

На полгоры остановились передохнуть. Обзор расширился. С высоты обнаружился ряд полуразрушенных обескровленных ферм. Вытянутые остовы зданий, как скелеты громадных павших животных, зияли пробитыми боками, торчали изломанными рёбрами-стропилами. Туча воронья то взлетала, то возвращалась на останки когда-то процветавшего молочного комплекса,

на растерзанные мастерские, разворованные склады, обрушенную мельницу и лесопильню.

Махнув в сердцах рукой на поросшие крапивой развалины, не оглядываясь, я заторопилась к отцовской усадьбе, прилепившейся к самой околице.

Обычно хата наша, поставленная на Мишкиной горе, видна издалика. Но то ли крыша совсем полиняла, то ли хата осела под тяжестью лет, только не разглядеть её сквозь вымахавшие серебристые тополя, не прощупать глазами сквозь вишняк, выбежавший далеко за изгородь сада.

Остановились, чтобы перевести дыхание перед встречей с близкими.

С водонапорной башни, что притулилась к частоколу отцовского огорода, взмыл потревоженный редкими гостями аист, закружил над усадьбой, успокоился и отправился восвояси.

Когда-то всталили на верхотурье колесо от «Белоруси», приметили его птицы, и веточка по веточке устроили неподалёку от людского жилища своё. Детей завели, уж и на крыло птенцы стали, но наехали городские охотники, побили молодняк, – вспомнила я отцовские жалобы. – Исчезли аисты на долгие годы. А охотники повадились, навевывались снова и снова. Уж мало им дикую птицу бить. Подбирались к прудку и устраивали облавы на хозяйских гусей. И так один разор, а тут – прямо беда! Как на ружьё кинешься? – тревожилась я за беспомощность односельчан.

– А как же опять появились аисты? – поинтересовалась Аня.

– Долго дед твой тосковал по птицам. А потом удумал, старый, – выпилил из фанеры аиста и водрузил на водонапорную башню, в гнездо приладил. Да так, что аист от ветра поворачивался, словно живой. В ту же весну приметили его птицы и снова осели в наших краях. Только очень боится за них дед. Видишь, краской половой, чтоб издалика примечали, на башне написал: «Эти птицы охраняются законом и мной – Фроловичем».

Отец мой живёт в стороне от больших дорог, от центральной усадьбы, на хуторке в десять дворов, у самой окраины. Если выйти на улицу в тёмное время, то (уже сколько лет!) светятся окошки лишь его хаты. И ни огонька! Ни души! Вот и считай: из десяти дворов в деревеньке один остался, и хозяевам по восьмому десятку.

Поселившись на этом бугре, отец, крепкий хозяин, держался за него всеми мужицкими силами. А чтоб уехать отсюда – лучше никто и не заговаривай! Куда от такого раздолья! Несколько раз за лето выкашивал он луговину перед домом. Порядок любил всегда. Даже по буеракам и задворкам сбирал сорняк, пересыпая его крупно-зернистой солью, устраивал силосную яму. Не одна, а две-три копёшки отборного разнотравного сена, заботливо укрытые от дождей, красовались за подворьем. Не говоря уж о том, что сеном же были туго набиты все сараи и амбары, а чердаки распирало от гречишной соломки. Зимуй – не хочу! – расвспоминалась я, пробираясь сквозь лопухи, заполонившие не только приусадебную луговину, но одолевшие даже саму дорожку, забив первейший признак путей наезженных – подорожник, – раньше и представить себе без него наш хуторок было не возможно. Колени посбиваешь – подорожник приложи, пчёлы покусали – опять его, а коль крыжовнику в колдучихином саду перебрал – взвар из него, как раз кстати. Выбросит стрелы свои розовые, кремовые и стоит, миром любитесь. Коровка божья

приземлится на него – только покачнётся слегка, и опять – тишь да Божья благодать.

– Куда ж он теперь-то подевался? – всматривается Аня в заросли бурьяника, пытаюсь тщетно отыскать придорожную травку.

– Нет дорог – нет и подорожника. Чернобыльник стеной. Бывало, и косить-то не давали. По ночам урывками неугоды сшибали. А теперь? Посмотри-ка! – и я обернулась на пройденный с остановки путь.

Дочь напряжённо, не перебивая, слушала мою горькую исповедь.

Изрядно истрекавшись, добрались, наконец, до калитки.

Старый мудрый пёс, приметив нас подслеповатыми, выцветшими от времени глазами только у хаты, выполз из-под прошлогоднего соломенного стожка в углу двора, и потрусил за нами. Ласково подскуливал и постукивал о землю тяжёлым от репёв хвостом, предусмотрительно держась подальше от сумок с провиантом.

– Дружище! Узнал, старикан! – дочь бросилась разыскивать привезённую специально для престарелого пса сдобу.

Тот с достоинством принял угощение и закандылял к облюбованному ржаному стожку.

Сколько ни ладили ему конурок, даже на цепь к ним привязывали, упрямый Дружок сбегал и зарывался в приглянувшийся стог, в котором было теплее и уютнее. В конце концов на пёсью прихоть махнули рукой, но знали, что в любое время суток старого бродягу можно сыскать в его логове.

За долгую Дружкову жизнь сюда были натасканы для забавы детские Анины сандалии, потерявшая вид от странствия по полям и сенокосам, выброшенная за ненадобностью, но подобранная предусмотрительным Дружком кожаная походная сумка бригадира Петровича и чей-то ботинок допотопного образца. Все эти игрушки были замусолены и изжёваны-изгрызаны до неузнаваемости.

Аня сфотографировала старого друга в окружении его «ценностей», и мы подошли к крыльцу.

Поразила тишина, с которой встретил нас всегда бурлящий людьми и делами дом.

Камень, заменявший первый крылечный порожек, совсем врос в землю, позеленел и скукожился, осел, словно поросший мхом старичок.

– В детстве казался мне преогромным, – перехватила мой взгляд Аня. – Разложу, бывало, на нём кроватки тряпичных кукол, рядом развалится, кормящая выводок Пятнашка... И миска молока для неё здесь же, и кружка парного для меня... Кошка грелась на солнышке, жмурила глаза, да всё дремала под моё лепетание. И я умоляла: «Питяша! Откой газки, пожалуйста!» Кошка не шевелила ни хвостом, ни ушами, и тогда глаза ей открывались насильственно.

Я понимала, что дочери хотелось поднять мне настроение, ободрить и успокоить. Но ничем не прерываемая тишина не приносила покоя.

Дверь оказалась запертой изнутри. Дочь постучалась в окно горницы. Через некоторое время по веранде зашмурыгали. Послышался отцовский голос: «Кто там?» Дверь болезненно зевнула, и мы увидели хозяина.

Он зашмыгал носом, прослезился – видно, начал сдавать. Время брало свое: дети разлетелись, уж и внуки на широкую дорогу вышли. Показалось, отец стал приземистее. Волосы его, как листва у ноябрьского вяза, облетели, а те, что ещё не успели осыпаться, щедро посеребрил иней.

Он решил принарядиться по случаю редких гостей, и всё никак не мог застегнуть пуговицы на свежей рубашке: болели распухшие суставы рук. Торопился, не получалось, виновато посматривал на нас.

Накрыли стол поближе к давно уже не встающей с постели маме, чтобы вместе поужинать, поговорить о жите-бытьё. Разговор затянулся за полночь.

Отец говорил и говорил. Расспрашивал внучку о столице, справлялся о её работе, об учёбе в аспирантуре, о её прошедшей выставке.

Без перебора рассказывал о том, какого расчудесного козлёнка принесла в этом году однорогая Зинка – цвета молока топлёного, а на лбу – чёлочка кудрявая. Он так и кличет его Кудряшом. Сердился на Рябушку – надо ж, удумала, блудная! – август подкатывает, а она выводок из лопухов привела. Жаловался на половинный «супротив прошлогодного» урожай картошки. Сетовал, что помидоры «почаврили» на корню и попробовать их не успели. Зато огурцы «дуроломят», будь здоров! Развалились на грядках, словно поросля двухнедельные, только что не хрюкают.

Старик захихикал, вспомнив о новой Дружковой забаве.

– Выйду пшеница цыплеткам сыпануть, посчитаю, только что все девять были, нет одного! Клуша вокруг Дружка вхохчет, к нему подсказывает, и назад. Я на Дружка: «Ах, ты такой-разэтакий, ты сбаловал?» А он, проказник, улыбнётся во всю плешивую пасть, зубы-то разымет, а из-за них комочек жёлтенький выкатится, востепенётся, слюни Дружковы отряхнёт, и к матери под крыло – как ни в чём не бывало... Вообще, пёс под старость чудаковатый какой-то стал. Часами может сидеть под дулькой, что над беседкой раскинулась, ждать, когда спелая груша шмякнет. Как раз по нашим с ним зубам продукт, мяконецкий. Так мне почти и не достаётся, все он, прожора, подбирает, даже по ночам караулит. Но Бог шельму метит! Хапнул из жадности! С макушки осыпались самые лучшие, попадали и – вдребезги. Осы тотчас прознали, завились – закоштовались. Дружок и стрескал дульку-то вместе с сюрпризом. Два дня скулил, губа нижняя отклячилась, не до баловства с цыплёнком. Пасть не захлопывал, всё воду из кадушки за крыльцом лакал.

Время от времени отец затихал и прикрывал глаза, потом встряхивался и продолжал делиться с нами своими нехитрыми хлопотами.

– Завтра с утра Сашок Сидорок коня подгонит. Договорился с арендатором, зернеца пару центнеров продаст. Нового урожая. Съезжу, заберу, пока не передумал.

Мама, не перебивавшая его рассказы, не выдержала.

– Уж и отдохнуть им пора, отпусти, за ради Бога. Завтра наговоритесь.

– Отпущу, – отбился отец к Ане, – если пообещаешь наш портрет с Дружком написать.

– Обязательно! – улыбнулась та. – Напишу, и сфотографирую.

– Уедешь, он скучать по тебе станет, а я ему: вот, мол, понюхай – красками Анины пахнет картина-то. Он и тосковать меньше станет.

Долго ещё отец шептался с мамой, всё не мог успокоиться от неожиданной радости – нашего приезда.

Чуть забрезжило, слышу: уже он на ногах.

Подкатила телега. Колёса к ней резиновые превостожены. Что за невидаль такая? Всё как-то не так, не по-нашенски: не скрипит колесо, не трясёт на ухабах, не пахнет свежим солидом. Видать, скрутил Сашок колёса с какой-то колхозной таратайки, вот и раскатывает себе по деревне на автоте-леге кум королю и сват министру.

– Бывало, договоришься на конюшне, возьмёшь лошадку и работаешь спокойно. А теперь кланяются безлошадники низко в пояс тем, у кого ещё хватает силёнок содержать скотину, – поясняет отец. – Колхозную конюшню разбазарили. Не встретишь табунов в округе.

Да, правда, ни ржания, ни топота конского, лишь шуршит на ветру переспелыми монистами завсегдатай лугов пойменных – ничем не истребимый конский шавель.

– Как мужику с перевозом справляться? – и он откинул полу телогрейки, за которой скрывалась до поры поллитра первача.

– А деньгами не проще будет?

– Вот они – деньги-то. Конвертируемая валюта во всех деревнях российских. Без неё никуда. Ни посеешь, ни вспашешь. Ни родины, ни крестины, ни похороны без неё, милой, не справишь, – отец протянул бутылку хозяину коняги.

На телегу подкинули сенца, я уселась позади отца, и мы покатили к усадьбе арендатора.

Редкие петухи перегорливались из конца в конец полужилой деревеньки. Им подтягивали просыпающиеся собаки. Мычала где-то корова, хлопотала колодезная бадья, слышалось рычание удаляющегося в дальние луга трактора.

Густая роса, ещё не выпитая июльским солнцем, склоняла лиловые репейники. Лебеда под тяжестью влаги потоком ссыпала свои гречишки в придорожную пыль, прибитую ещё с вечерней зари волглым туманом. За телегой змеились два глубоких следа.

Сидя на задке хода, я, словно мельник Степаныч, покрылась пылью мелкого помола. Вспомнился как лунь седой, высокого роста, в фуфайке, насквозь пропитанной мукой и отрубями, старый мельник. Из-за вечного жужжания колёс на его меленке он слабо слышал, и детвора шёпотом подшучивала над ним, дерзила и распевала про него тут же сложенные куплеты. Давно уже нет Степаныча. Замолчали жернова, а потом без пригляду по шиферинке, по дощечке, по брёвнышку раскатали и мельницу.

– Тпру-у! – отец подъехал к добротным воротам. Кирпичный забор обрамлял усадьбу арендатора. Залаял пёс. Двери распахнула хозяйка. Видно было, что она управлялась по двору. Подоив трёх коров, собиралась выгнать их на луг, раскинувшийся по-над Кромой.

– Проходите, проходите, Петро должен быть с минуты на минуту.

Мы присели под навес. Хозяйке было недосуг. Воспользовавшись этим, я бесцеремонно рассматривала добротные постройки, молодой, но уже начавший плодоносить сад, рубленый пятистенник с просторной открытой верандой. Любопытно, как живут местные «буржуи».

Подъехал грузовичок, во двор торопливо вошёл хозяин. Чёрный, словно негр, белозубый. В клетчатой рубаше с подвёрнутыми до локтей рукавами.

– Я на минутку, полдник собери, – кинул жене.

Поздоровался, заметив нас, присел на лавку.

– Хлеба, того гляди, перестоят. Спас на носу, уборочная в разгаре.

– И сколько с гектара берёшь? – любопытно спросил отец.

– Да не жалуюсь... Беда в другом – за бесценок отдаю. Кредитов понабрал, строительство развернул. Ангар вон под технику затеял, не оставлять же под снегом. Ферму заложил. Зерно скоту пушу, иначе вообще в убытках останусь. Чем кредиты отдавать буду? Банки за горло берут. Хоть бросай всё к едрене Фени!

– А как же по телику трубят, мол, помощь арендатору, широкая дорога рачительному хозяину, дотации и всё такое?

– Выступают в Москве, а поля наши далеко за её пределами. Вот и барахтайся, бейся на них, как можешь, «новоявленный буржуй»! Так меня, кажется, на деревне кличут?

– Да что ты, что ты, – замахал рукой отец, – какой уж тут буржуй-барин, когда вон как салишь ни свет ни заря.

Загрузив мешки с зерном на телегу, мы отправились восвояси, а Петров грузовичок метнулся к Большему логу, откуда доносился стрёкот, и где виднелись две божьи коровки – бегающие друг за другом комбайны. Арендатор с сыновьями «добывал» дальше поле.

Разгрузив поклажу, я обнаружила по росе два следа, ускользающие в Ярочкин лог. Дочь, прихватив Дружка, отправилась писать восход.

Нигде не видела я ещё такого рассвета, как у нас на хуторе.

Над лозняками укутанной в туманы Кромы выскользнул камушек-голышек. Запрыгал по ракушечным сучкам, по ивовым ветвям, карабкаясь всё выше и выше. А когда взлетел в открытый простор, то оказался великолепным нежно-кремовым опалом, который, будто наливное яблочко, поспевал с каждой минутой. Вот он стал бледно-оранжевым, вот подмешались крапивообразные краски, и уже полурезкое светило покатилося по голубому блюду небосвода. Восход состоялся!

Отец шёл от сарая с двумя плетушками.

– Смотримся до завтрака в Чичинёв сад? Опята ржаные пошли.

В деревне завтрак надо заработать. Сколько дел успевают переделать крестьянин, прежде чем (часам к девяти-десяти) сядет перевести дух, съесть пару крутых яиц да выпить кружку молока с ломтём чёрного хлебушка! Под ложечкой засосало. Прихватив привезённый из города крендель, заторопилась вслед за отцом по знакомой до каждой подворотни улице.

Хуторок плавно скатывался в долину.

Рядом с отцом жили когда-то две его сестры. Пустыми глазницами посмотрели нам вслед хаты моих тёток. В палисадниках мальвы всё ещё сражались с одолевающей их крапивой, всё ещё порхали над её зарослями невестомыми мотыльками лепестки космеи. Ушли тётки одна за другой, задичали их цветы у завалинок.

Чуть ниже – хата бабы Шуры Макеевой. Добрейшая бабулька была, царство ей небесное. Опрятная, хлопотная. Кажется, раскроет сейчас створки

окна и подзовёт, пирожком с яблочной начинкой угостит. А заодно и станет выведывать, кто это по полуночи у неё в саду медовку тряс, да кофтёнку на кустах крыжовниковых обронил. Не я ли? От воспоминаний и тепло, и стыдно. Детство бесшабашное! Отцовский сад от груш-яблок гнулся. А соседские – всегда вкуснее. Надерёшь антоновки кислущей, и кажется, что она в тысячу раз слаще нашего белого налива.

Шли мимо хат... Вот здесь жила моя школьная подружка Галка. Сколько воды расплёскано нами под горой на ручье Жёлтом, сколько валунов, что разбросаны по подгорью, словно шлемы великанов-богатырей, излазано нашими босыми ногами, исползано нами – голопузыми девчонками... сколько головастиков изловлено, сколько песен наших по вечерней заре в тополях на лавочке, что за их хатой, сыграно...

Галка росла, как перекати-поле. Сама себе хозяйка с ползункового возраста. Мать, доярка, день-деньской с колхозными коровами. Своё хозяйство не маленькое, не до Галки, не до мудрёных воспитательных заморочек. Была б девчонка жива, сыта да здорова. А коли хворь какая приключится, на то есть по соседству бабка Колдучиха. Жадная была тётя Паша, Галкина мама, до работы.

Наисосок через дорожку – усадьба бабки Марины. Хаты вовсе уж не видеть, с землёй сровнялась. Доживала бабка – доживала хата. Федот, Маринкин муж, перед самой войной её поставил, а сам под Винницей в братской могиле лежит, не пришлось в новой хате пожить. Так и провековала Маринка-солдатка одна-одинёшенька. Федот издалека её на хутор привёз, родных у неё не было, а деток нажить не успели.

– Под старость чудить бабка начала, – отец прервал мои размышления, остановился у вросшего в землю амбарца – всего, что осталось от солдаткиного хозяйства. – Ахнул я однажды, забравшись на чердак её хаты. Крыша поизносилась, попросила по-соседски подлатать. Смотрю, а в полумраке – новенький тесовый гроб белеет. Я прямо обалдел. «Ты что это, старая, уду мала?» – кричу сверху. «Не хочу, милоч, в целлофановом мешке лежать, – прошамкала бабка. – С пенсии насбирала, Кольке-плотнику заказала. Ладный гробок-то получили, я уж и примерилась, как раз по мне. Уютный такой и сосёнкой, лесом пахнет. Я лес-то завсегда любила».

– Совсем рехнулась старая, – подумал я. – Но это ещё не всё. Не знал, что делать: то ли смеяться, то ли плакать, когда бабка Маринка подвела меня к плетню. Смотрю: в лопухах валун пуда на три лежит. «И камушек на могилочку сготовила», – не без гордости доложила бабка. «Как же ты его с ручья-то прикатила?» – приглядевшись, узнал я камень. «А на тачке, милоч, с Митриной! Три дня по подгорью взбирались». – «Ну, бабки, ну, солдатики! Двужильные!» – только и смог я на это сказать.

Отец вздохнул и продолжил.

– Я онемел. Что мог сказать я бабке, вынужденной заботится самой о собственных похоронах... Пригодился гробок-то, долго не зажался.

И рассказал мне, как через пару недель бабка преставилась, как пришли соседки, обрядили покойницу, похвалили за предусмотрительность – гробик, действительно, пришёлся впору. Погрузили и домовину, и камушек-валунок, и пахнущий свежей сосной крест на кривую кобылу Муску и спроводили на

погост. Чин чином, без лишней суеты опустили на расшитых петухами рушниках в глинистую, выбранную загодя, могилку, выпили по стопке за помин души новопроставленной – и как не бывало бабки Маринки... Теперь вот и жильё сровнялось с землёй...

Когда-то зажиточный мужик, Чичинёв Иван, вцепившись крепко в землю, надеясь, что сыны подхватят задумки его, заложил большой фруктовый сад. Надежды Ивана не оправдались. Дети на земле не осели, не стало самого хозяина, а сад каждый год по весне стоит в белой кипени, как и при Иване. Не ведаёт он, что давно никому не нужны ни цветы его, ни плоды. Да впрочем, та же участь у всех бесхозных садов. Дичают деревья, зарастают репейником стёжки, уж вот и за грибами не в лес, а в сад пришли. Запустелые! Птицы шарахаются, пугаются присутствия редких гостей...

Отца не проведёшь! По воздуху, по вкусу ржи, по запаху трав зачуял: подошли летние опять.

Грибы гранками облепляли замшелые пни. Карабкались по стволам, разбегались по подваленным буреломам. Мы продирались сквозь заросли цветущей крапивы, сквозь разбушевавшийся дичок-малинник. И наши старания вознаградились двумя корзинами мелких, словно гвоздики, ещё не распустившихся опят. Грибов было так много, что отец, сняв с себя майку и завязав её плечики узлом, соорудил мешок, который изрядно набили одними шляпками. Ножки уже не брали – не унести.

Отец довольным взглядом осмотрел добычу.

– Теперь работы на весь день, опёнки-то ещё до ума довести надо.

До самого вечера в хате стоял грибной дух: перебирались, варились и консервировались опять. А когда на столе выстроился немалый ряд банок и я, утирая руки передником, запыхавшаяся, но довольная, любовно осматривала работу, затыкал Дружок.

В распахнутое из-за духоты оконце, сквозь подсиненный до ядрёной голубизны тюль, я приметила, как на бакше очнулась и проскрежетала иссохшими ореховыми жердинками калитка, как шуманул напрямки по свекольному пёс, как дочка, с этюдником наперевес, с охапкой лилового иван-чая, пробиралась по стёжке, задевая маковые кустики-самосевки.

Перламутровые сиренево-розовые лепестки опадали и сыпались, сыпались, устлая шёлком свекольную ботву, вспархивая мотыльками на чуть приметном ветерке, сверкали крошечными лужицами на огородней стёжке. Вместо нежнейших цветков на макушках кустиков обнаруживались пузатые коробочки. Они, как загадочные жуки-скарабеи, туманились тончайшим налётом, но даже сквозь него просматривались их кобальтовые брюшки.

Неугомонный Дружок, не желая слушать Анины уговоры, мял свекольники, обламывая веснушчатые зонтики укропа, пока отец не прикрикнул на неслуха, звякнув для пушей остратки цепью, которая долгие годы за ненадобностью висела на гвоздике позади крыльца. Дружок тут же смекнул: вытянув передние лапы далеко вперёд, уложил на них лохматую голову и замер у порога.

– Сфинкс, да и только! – пошутила дочь над величественной позой Дружка.

Тот передернул ушами, но не обиделся на необычную кличку, сделал вид, что его это не касается.

– Ну, хвастай, внуча, как поработалось, – любопытствовал отец, нацепив свои, с вечно выпадающим стёклышком очки поверх маминых, «для пущей зоркости». Он важно расселся на скамье под диким виноградом, закрывшим стену хаты, карабкавшимся по электрическим проводам, свисавшим с верхотуры антенны. Я, отложив стряпню, выглянула из кухни.

– Кое-что успела, – дочь выставила на завалинку пейзаж.

Совсем небольшой, вытянутый в длину.

Раннее летнее утро. Поле с реденькими подросточками-сосёнками, травы в пояс. Ещё сыро и туманно, ещё тонкий рожок месяца виднеется на небосклоне, но возникает и усиливается, по мере того, как вглядываешься в картину, восхитительное чувство, словно сейчас для тебя раскроется самая удивительная загадка Вселенной – зарождение нового дня.

В левом углу холста всего лишь мельчайший расплывчатый краплавый мазок. Но он уже – будущее солнце, свет, день, сама жизнь!

Дед, будто большой знаток и ценитель живописи, долго вглядывался в Анин этюд, наконец, крикнув, заключил: «И больше ничегошеньки не надо. Не убавить, не прибавить. Игинское поле... как есть. А за Ярочкиным через миг полыхнёт. Ещё чуток – и разродится...»

Аня выставила на строгий дедовский суд второй пейзаж. Дружок очнулся, заволновался и заходил из стороны в сторону, будто оценивали его работу.

С холста выплёскивался прямо на дорожку перед завалинкой ручей Жёлтый. Огромные заплешивевшие старцы-валуны, да высоченные сосны, да заблудившийся в лете пегий в яблоках конь по-над обрывом, да ныряющая в лозняки чуть приметная тропка.

Чудилось стрекотанье кузнечиков на рыжем от зверобоя пригорке, хрумканье коня, плеск шлёпнувшей с валунчика пучеглазой квакушки.

Казалось, слышно было, как тянет от косогоров переспелыми травами, как веет свежестью от прибрежных осок.

Дед молчал, молчал, а потом выдал: «А назвать картину надо так: «Куда не ступала нога человека», потому что, где он побывал, человек-то, хозяин природы, козёл его забодай, столько испоганено, искорёжено, что вовек после такого хозяина землице раны свои не зализать. Покуда остались ещё крошечные уголки, зарисуй их, внуча, а то потомки и знать не будут, какую красоту растоптали да развеяли их отцы».

Всю неделю я хозяйничала по дому: помогала отцу качать мёд, солить-квасить огородную снедь. Воевала с козлом, подкармливала воровитого приبلудного кота, за что отец каждый раз выговаривал мне: «Привадила! Уедешь, что я с ним, лихоманцем, делать стану?»

С самого рассвета Аня спешила в луга, измеряла-обходила окрестные поля и перелески. И вот теперь буераки и заливные луговины переместились на полки, на шкафы и подоконники горницы.

Вечерними часами дед подолгу рассматривал внукины «художества», приговаривал: «А ведь и впрямь приметила, над росстанями в полдень марево курится», – или: «Ну, глазастая! И дятла, что на корявой сосне в Хильмечках обосновался, углядела!»

Однажды задержалась дочка дольше обычного, уж и темнеть стало, а её всё нет и нет. Где разыскивать, не знаем. Вышли с отцом за калитку, откуда ни возьмись – Дружок. И по тропинке, по тропинке – к заводу. Бежит, а сам оглядывается, идём ли мы за ним. «К Ане ведёт! Сообразительный какой!» – похвалил отец псину.

Дочь не показала работу, сославшись на то, что она ещё не закончена, но вечер напролёт толковала мне о женщине, с которой случайно познакомилась на речке. Аня пришла писать пейзажик с утками, барахтавшимися в ряске у берега, а женщина колотила пральником какое-то тряпье в омутке. Разговорились. И вот теперь Аня писала её портрет и никому не показывала.

Прошло несколько дней... Выставив этюд на обозрение, она ждала нашего приговора.

Кого-то давно знакомого напомнила эта женщина. Прошло немало времени, пока до меня дошло: Надежда Филиппова!

– Она самая! Собственной персоной! – недовольно заявил отец. – Нашла кого писать! Не портрет, а плакат «Алкоголю – бой!» Когда-то заезжий художник за большие надои, за успехи в работе Валентину Кузнецову на доску почёта рисовал, а ты кого удумала? – вконец рассердился он.

– Дедушка, ты её вовсе не знаешь! – не стерпела дочь.

– Ды знаем мы её, знаем! – отмахнулся отец и, ворча, отправился спать.

Первая красавица в нашем классе, первая умница из всего выпуска, Надежда Филиппова, тщетно пообивав пороги столичных вузов, осела в родной деревне. Заочно закончила техникум, подрастала дочь. Всё бы ничего, только пошло крахом хозяйство колхозное. Муж, уехавший в Москву на заработки, домой не вернулся. По селу, как дурман ядовитый, поползли слухи: мол, забросил Гришка Надёжку. И она, бабонька в самом расцвете, запила-затосковала.

Такой увидела я свою бывшую одноклассницу. С холста смотрела уставшая, измученная житейскими передрягами женщина. Круги под полузакрытыми глазами, болезненный цвет лица говорили о застарелом недуге.

Больно и жалко...

– Погибают бабы наши в пьянстве. Кого породят, кого вырастят? – не унимается отец. – А я так полагаю: геноцид в деревне полнейший – вырождение нации. Уничтожение крестьянства – истинно русских корней.

Долго в эту ночь не могла я уснуть. В памяти внезапно всплыли события двухлетней давности.

Случилось мне хоронить одинокую старушку с нашего хутора.

Накануне вечером позвонил отец (слава Богу, хоть мобильник у него имеется): приезжай, мол, срочно, бабка Настя только что померла, сидим с Иванычем, кумекаем, что дальше делать.

Я опасалась, что не справлюсь: и обмыть покойницу надо, и одеть, и в гроб уложить, да и на поминки сготовить.

Но не успела бабка помереть, как со всех окрестных деревень потянулись к её хате бабы-пьяницы. Наперебой кидались подсобить, подговаривая: «Только загодя налей. А то к покойнице страшновато подходить». Девять баб хлопотали со мной об усопшей. Пили без конца. Когда, выйдя в сени, я не обнаружила продуктов, закупленных для поминок (их просто разворовали), я взорвалась — хотела повыгонять к такой матери всех до одной. Но с кем бабку хоронить? Съездила на кривой кобыле Муське снова в сельпо и закрыла продукты с водкой в шкаф на ключ.

Обнаружив моё коварство, бабы потихоньку рассосались, как не бывало.

Зато им на смену к назначенному часу подошли ничуть не отличавшиеся по трезвости мужики. Покойницу, пока не поставили гроб на телегу, несколько раз чуть не вытряхнули из домовины. Напереживалась я тогда!

Мужик пьёт — беда! Хозяйство, дети на бабьих плечах. А коли баба запьёт — пожар, и сгорят в нём и она сама, и дом, и ребятина её.

Я вынула из шкафа школьный альбом. Выпускной вечер... Надя в голубом шёлковом платье... Гришка с нею рядом. Гордый такой! Первая красавица — и с ним! Ещё не знают, какая судьба их ожидает, ещё не потухли, горят глаза Надежды, а на лице — счастливая улыбка.

— Хочешь взглянуть на настоящую Надю? — протянула дочери альбом.

— Никогда бы не узнала в этой девочке женщину, портрет которой недавно писала. Какие умные, пытливые глаза! — и Аня задвинула свой этюд подальше за шкаф.

Не дожидая Ильина дня, чтоб не раскиселило, отец надумал выбрать раннюю картошку. Отбив загодя косу, спозаранку вжикал на бакше, смахивал побуревшую ботву. Сноровка, накопленная за долгую жизнь на хуторе, подкрепляла слабевшие с каждой пройденной ручкой силы. В свои семьдесят пять отец старался держаться молодцом, и часа через полтора я, собрав граблями картошник, сложила небольшой стожок (сгодится ворох на ночь прикрыть).

Прихватив двухрожковые вилы и вёдра, мы приступили к работе. Отец выворачивал увесистые гранки картофельных клубней, а я, стараясь не отставать, подбирала их и сыпала в ворошок.

Заботясь об урожае, отец приобретал — обменивал или выпрашивал у односельчан понравившиеся сорта. С годами они опылились и скрестились. И вот теперь из-под вил выкатывались картофелины «Фроловичева» сорта. Удивительного окраса: ни белые, ни розовые, ни фиолетовые, а какие-то, как шутил сам «селекционер», серо-буро-малиновые.

Уж и соседняя деревня разводила этот сорт — разварчатый, крахмалисто-белый и вкуса наиудивительнейшего — сытного да духовитого — самого подходящего для нашего мужичка. Зимой с салцом морозовым да с огурчиком бочковым — за моё почтеньице!

Сколько помню, поспевают картошка — поспевают чернослив. Пока отец, расстилая фуфайку, выговаривал Дружку за то, что пёс, балуясь, понакусал-

наслонявил с полведра картошки, я отправилась к частоколу. В углу, в самом малиннике уж сколько лет бушует «тёрн». Так у нас чернослив называют.

Сняла с головы подшалок, раскинула под деревом. Потрясла увесистые, гнущиеся от переспелых плодов суки. Крупные черносливины посыпались на голову, западали в траву, устлали землю. Надкусила одну. Вкуснющая ягода, – прикинула, – ни с чем не спутать, чуть терпкая, медовая. Тёмно-фиолетовая, с морозным опушением.

Пополдничаю, продолжили работу на огороде и часам к пяти устроили, по словам отца, «праздник с фейерверком» по случаю успешной уборки ранней картошки – на выбранном поле запалили костер.

На его свет подоспела с этюдов Аня. За ней с некоторых пор хвостиком ходил Васёк – восьмилетний арендаторский сынишка. Из вежливости он называл дочь «тётя Аня», и она, гордясь своим новым статусом, позволяла ему мыть в ручье кисточки, портить своими художествами дорожные холсты.

Когда костёр прогорел, отобрали в ведро самые лучшие клубни, и зарыли его в самый жар – испекли картошку. Васёк домой не спешил, выпросился у матери к нам с ночёвкой.

Аня, как заправская тётя, вела с ним важные беседы. Мальчишка с удовольствием растолковывал ей, сколько ещё пройдёт лет, чтоб отец позволил порулить трактором, жаловался на обидчика Костьку, который «спёр» на омутке из его кубаря всех краснопёрок, докладывал, какую обувь-одежду сготовила мамка к школе. Как-никак через месяц во второй пойдёт!

– А что, Вася, кого же больше в вашем в классе, мальчиков или девочек? – интересовалась Аня.

– А нас всего-то – я да Костик. И сидеть с ним за партой не стану, если краснопёрками моими, что за амбаром на тарань сушит, не угостит.

– А в этом году первого класса вовсе не набрали, – встрял отец, – и шестого, говорят, нет. А в выпускном – только Сёмкины двойняшки – Ванька да Валька. Вот и стремись к светлому будущему.

– Не пора картошку-то вынимать? – забеспокоилась я и принялась ворошить почти погасшие угли.

Печёная картошка! Да прямо из костра, да поздним летним вечером! Что может быть вкуснее?

Очищаешь хрустящую кожурку, разламываешь, обжигаясь и перекидывая из руки в руку картошину, ешь безо всего. Только рассыпчатая картофелина, пахнущая землёй и костром да ядрёная соль. И, кажется, нет вкуснее продукта на свете, чем эта, только что испеченная в углях под хуторским, обрызганным звёздами небом, картоха.

Кемарившего Ваську насильственно уложили в хате, отец отправился на сеновал. А мы с дочерью допоздна не могли расстаться с чуть тлеющим костерком, со стрёкотом несмолкающих цикад, с теплом, исходящим от перекопанной земли. И говорили, говорили... О моей старенькой школе, на развалины которой водил Аню сегодня днём Васёк. О том, что, видать, уже никогда не поднимется из зарослей бурьяна заложенная пятнадцать лет назад новая десятилетка. Уж и начатый первый этаж рассыпался прахом. О том, что придётся Ваську с его одноклассником Костькой доучиваться в

опустевшем детском саду, куда перебросили школу после того, как перевелась на хуторе, да и на центральной усадьбе детвора.

Захороводился август. Стояла теплынь...

Правда, в тени садовых деревьев чувствовалось: осень крадётся где-то рядом, и по ночам всё ближе ощущалось её дыхание.

Резные листья нашего могучего клёна, опалённые недавними ранними утренниками, вдруг ни с того ни с сего начали падать, падать...

Во второй половине августа обманчиво-тёплый ветер горстями сорил их по двору, перефукивал за ворота. Сквозь неожиданно рано повосковевшую листву лился ровный медово-золотистый свет, проникал в каждый закоулок двора, проскальзывал сквозь редкий тюль, выплетался золотыми нитями в старённый коврик на крылечке и оживлял его угасшие цвета.

От рыхлого вороха в углу двора потянуло густым ароматом яровых, не по времени спелых, только опавших, ещё живых листьев. С дерева на заветшавшую крышу беседки, на её буро-мшистые лавочки слетались пятикрылые кленовые птицы. Одна из них опустилась прямо на книгу. Я быстро захлопнула её: «Ага, попалась!» Отложила томик и, прищулив глаза, залюбовалась свечением листьев. Ещё с месяц – и она померкнет, вытреплется на стылых ветрах, обливается от нудных дождей, скукожится, сжурится, расколдуется.

Из яркой кустодиевской бабы лето превратится в дряблую, слезливую старуху-осень. Закутается в промозглые рваные подшалки замызганных облаков и покандыляет невесть куда с дырявой котомкой, рассеивая, теряя по расхристанным осенним дорогам то надоедлые хлюпкие дожди, то сырую, неокрепшую от морозов крупу-сечку.

«Пора и нам сворачиваться», – размышляла я, перебирая в беседке только что принесенные из леса ягоды. С утра ходили с отцом в Плоцкий за боярышником да шиповником.

Захотелось, как, бывало, мама, сварить из шиповника варенье. В наших лесах он на удивление крупный, не оранжевый, как везде, а ярко-красный.

К концу лета рассыпает он свои рубины по подлесью, меж кустов лежничника. Надевай куртку поплотнее, чтоб не поцарапаться его шипами-колючками, набирайся терпения и, глядишь, к полудню нащиплешь плетушку отборных калиброванных ягод.

Ничуть не хуже и боярышник-ягодка. У нас она крупная, издалека и обозначаться можно: то ли боярышник-раскрасавец, то ли яблонька-ранеточка.

Настойкой из него всегда в деревне сердечко лечили. Да и не только хвори им изгоняли. На праздники, бывало, в любом доме коньячок свойский на боярышнике со столов не сходил. Зальют ягодку первачом, дадут настояться в тёмном чуланчике, сколько надобно и – никакие тебе коньяки армянские-дагестанские не догодятся. Цвет – изумительный!

Я же люблю его свеженьким, прямо с кустика. Съешь горстку-другую и почувствуешь – давленьице в норме, сердечко не шемит, живи-радуйся! Наберу корзиночку и лакомлюсь. И вкуснятина, и для здоровья польза!

Сидя в беседке, любовалась августом, его щедротами. Послышалось: отец с Кешкой, козлом нашим, воюет.

– Бестия ты двурога, – выговаривал он скотинке, – я тебя куда с утра спровадил? На оттавку клеверную, а ты, леший, куда Зинку с Милкой заманил? Битый час надрывался, не мог из канубрей вывести. Ну, погоди у меня, дождёшься! Как пить, к Покрову на холодец угодишь!

– За что ты на бедного козлика осерчал?

– Да уж! Бедный, разнесчастный! Сызмальства неслух. Вожжами учил – не помогает. Начередит и начередит. Пока в лес ходили, весь хутор со стадом облазал, аж на Ломинке сыскал его! Это сколько ж вёрст! То ли дело, бывало... коровка, Лыска наша... Домой с пасьбы бегом – нате вам, молочка наготовила, – и отец засопел, завздыхал о своей бурёнке.

Забыть о ней всё не мог. Нет-нет, да и защежит по кормилице стариковское сердечко.

Подстегнув к хлеву козье стадо, подсел на краешек лавки, зажаловался.

– С козами этими одна морока, а молока – стакан. Вот коровка... Посмотрел в сторону сараюшки, где испокон веку стояла у нас корова: телилась тут же, зиму зимовала, отсюда её и на первую травку в апреле вербочкой свечёной мама выгоняла.

Посмотрел, будто надеялся, снова увидит, как сначала покажется большая, чёрная с крупной звёздочкой морда, потом и вся Лыска с достоинством, не торопясь, выступит своей дородной тушей в проёме сарая... как подойдёт к развесистому клёну, почешет об него рога и спровадится за околицу, схватывая на ходу длинным шершавым языком мелкую муравку, обдавая теплом навоза и парного молока.

Показалось, что отец хлюпнул слегка, отвернулся и уже никак не мог унятьсь.

– Стадо у нас всегда большущее было, до трёх коровок держали хозяйва. Нет больше стада... Не мычит, не телится... Фёдор Михайлов так убивался по своей Груньке, по коровке своей, значит, три недели без просыху пил-куролесил, с той поры, как сдал её Тихону на мясо. Зайдёт в сарай и рёвмя ревёт, воеет, словно баба по дитю малому.

– Это зачем же Тихону Грунька Фёдорова сдалась?

– Как же зачем. Тихон завсегда нечист на руку был, а теперь и вовсе первый жульман в округе. Приспособился мясо скупать. Подгребает у деревенских свеженьтину за бесценюк – и в Москву.

– На деревне, да без молочка, без творожку, без маслица свойского?

– А государство позаботилось: раз в неделю завозят в сельпо на центральную усадьбу молоко. Три месяца хранится – не прокисает. Ешь – не хочу – с консервантами. Коровье-то коли в подвал не опустишь, через день кислушка кислушкой...

Отец махнул в сердцах рукой и побрёл к хате – пора самовар ставить, вечереет. Управившись с ягодой, и я заспешила на кухню, чай уже, поди, простыл.

Темнеть стало заметно раньше, и Аня, давно возвратившись с этюдов, сидела на стуле у маминой кровати, показывала наброски, сделанные за день.

– И у нас погостила, и сколько сделать успела, – нахваливала внучку мама, рассматривая то один, то другой рисунок.

В последнее время дочь увлеклась портретом и перерисовала-переписала почти всех земляков.

Тут был и её любимец Васёк, недавно помирившийся со своим другом Костькой. Сидят в обнимку на подоконнике несбывшейся школы, улыбаются. Как уж они с Аней пробрались сквозь репейник, одному Господу известно.

Не ускользнул от дочериного глаза и бывший колхозный сторож дед Митяй. Притулился на лавочке у заколоченной конторы, козью ножку сворачивает, не торопится. А куда спешить? Красть-воровать нечего, всё давно растащили, а потому – и сторожить нечего. Тяни, знай, самосадик с донничком, пускай колечки в пустоту.

– И как только смогла Аня уговорить попозировать Петра Алексеевича, даже удивительно, – заметила мама, рассматривая очередной рисунок, – человек он серьёзный, не напоказ. Даже пиджак с орденами да медалями на плечи накинул – уважил.

Старик сидел на завалинке, думал свои думы. Рядом костылик ореховый. Над крылечной дверью – звезда, лет тридцать назад пионеры-тимуровцы герою-ветерану торжественно под звуки горна водрузили. Поблёлка звезда, заржавела от времени и дождей.

– Давно не видались мы с Петром Алексеевичем, – мама продолжала рассматривать портрет фронтовика, – постарел, поседел, но даже сейчас в свои немалые годы – орёл.

Как это Аня не забыла? Чуть поодаль на гороже накинута с десятков плетущек разного калибра. Занемог Алексеич, на бакше работать не стало сил. Чем кормиться? Сидеть без дела не привык, наладил небольшой промысел. Плёл корзинки, плетушки да кошёлки. Снабжал ими деревенских баб. В хозяйстве как без его поделок? И в лес, и в огород, и бельё на речку отнести пополоскать, окуней из омута выбрать. Одинокий он, Марии Акимовны уж лет десять как не стало. Но держится старый солдат, не сдаётся.

– Уважила деда, вот порадуетесь старый, – ахнула мама, взглянув на другой холст.

В центре – высоченная куча рыжих, зелёных, полосатых, в крапинку и в пятнышко, лимонных и почти красных кормовых тыкв. В этом году их великое множество. Выпузатили на унавоженной бакше – в мешок одну не затолкаешь, не в подъём.

Отец, сняв пропотевшую душегрейку, сидит на одной из тыквищ, попыхивает грушевой трубочкой, отдыхает. Только что выпряженный меринок стоит тут же, за телегой, на которой добротно уложены (чтоб не раскатались по дороге) брюхастые кабачки да круглые, с ведёрный чугун, патиссоны.

У ног хозяина, свернувшись калачиком, угомонился-таки непоседливый Дружок. Отец смотрит в глубь сада. Туда, где под пипином погуживает пяток ульев – его давняя любимая забава.

Кажется, передохнёт чуток, потрёт дающую о себе знать спину, выбьет трубочку и вновь пустится в круговорот житейских дел: станет на зиму пчёл устраивать, тесать под сараем колья, чистить кормовую свёклу, сгребать и жечь не по времени палую листву. И нет конца и края его хлопотам...

Ещё и рассвет не забрезжил, а на кухне послышался шум. Выглянув попить кваску, я заметила, что отец достал помазок и бритву. Пристроив на краешке буфета небольшое зеркальце, он сидел с перекинутым через плечо рушником и брился.

«Куда-то собрался, прихорашивается», – подумалось спросонья.

Уж и позавтракали, а отца всё нет и нет.

Хотели в погребке разобраться, а он канул, ничего не сказал.

Часам к десяти мама не выдержала, рассекретила отцово исчезновение.

– Не мог он никак вам открыться, на какое дело решился. Целый месяц сам с собой не в ладу был. А вот всё-таки собрался с духом... Церковь у нас нынче на Поповке, на месте изничтоженной в двенадцать закладывать станут.

– Вот это событие! – изумились мы. – Да как же вы могли смолчать, как такое дело пропустить?

– Ты же отца своего знаешь, – оправдывалась мама, – коммунист до мозга костей. Он и слышать о вере на протяжении всей жизни не мог. Как же теперь на склоне лет сознается своим детям, что нестерпимо ждал этого часа, с тех пор, как узнал о таком благом деле. Денег дал, на колокол, мол. Потому и тайно, потихоньку от вас отправился. Бегите, ещё успеете.

Не раздумывая, кинулись на центральную усадьбу, знали место, где когда-то стояла церковь. Радовались, что посчастливится присутствовать при закладке нового храма. Путь в два километра пролетели – не заметили. Добрались до подножия крутой горы. На макушке её когда-то церковь Преподобного Сергия Радонежского возвышалась. Смотрим: народу! И откуда только взялось! Со всей округи собрались ради Божьего дела: на телегах и мотоциклах, на машинах и пешком. Только бы увидеть это чудо! Восемьдесят лет такого не бывало!

Оказывается, всем миром решили поставить на Поповке новый храм. Сбросились, кто сколько может, из последнего. И на храм, и на утварь церковную, и на колокол. Решили: маковка непременно позолоченная будет.

Фундамент за лето выложили. Когда землю под него выбирали, наткнулись на оконную решётку старинной работы, с разрушенного храма. Заказали на все окна точно такие же, по тому же рисунку.

Мы пробирались поближе к месту будущей церкви.

– Из епархии приехали, освятить место и начало строительства, – долетело из толпы.

И началась служба... Прямо под открытым небом, у будущего храма Преподобного Сергия Радонежского. Впервые за столько лет мою землю кропили святой водой, читали молитвы во славу Божию. Впервые благословлён был народ мой несчастный во имя Господа.

Бабы потихоньку утирались кончиками подшальков, мужики затихли, вслушиваясь в слова священников.

Неподалёку от входа в церковь нагромождена куча валунов, а в середине её пробурена глубокая скважина. Чуть поодаль на струганном щите лежал пятиметровый, тёмного дуба крест.

Мужики не позволили приблизиться к нему подъёмному крану. Навалившись миром, подняли его на руки и установили в скважину, закрепили, за-

цементировали на века. На крест водрузили образок Преподобного Сергия, а чуть ниже – табличку, которая гласила, что здесь когда-то стояла такая-то церковь и был такой-то приход.

Как только народ отхлынул от креста, гора Поповка, словно воспарила над деревней, устремляя людские взоры к поднебесью.

Православный крест вознёсся над полуразваленной деревенькой, над поросшими бурьяном полями, над обезжизненным окрестным миром, словно вновь обращал овец заблудших в православие.

– Помогите, Господи! Дайте сил сдюжить, преодолеть свалившиеся на народ мои беды! Подскажите дорогу праведную! Не оставьте край мой в забвении! – шептала я, потрясённая величественным видом креста, воздвигнутого меж валунов, словно не на горе нашей Поповке, а на самой Голгофе.





ПРЕДАНИЯ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ

*«Мир весь общая могила священная
есть, на всяком бо месте прах отец
и братий наших».*

Акафист об упокоении усопших. Кондак 8.

 еречитывая биографию Н. С. Лескова, узнаю, что великий писатель завещал похоронить его «самым скромным и дешёвым порядком», просил никогда не ставить на могиле «никакого иного памятника, кроме обыкновенного, простого деревянного креста», считая, что наш русский православный памятник – дубовый крест с голубцом – и более ничего. И ставится он на могиле в знак того, что здесь погребён христианин; а о делах его и значении не следует писать и возвещать, потому что все земные дела – тлен и суета. Наш знаменитый земляк знал наверняка, почему многих великих камнями не прессуют, а всего лишь «означают» крестом. Там, где от этого отступают, отступают от древнего родительского обычая.

Справа от большака, на подходе к нашему селу, на макушке горы Поповки, виднеется старинный деревенский погост. Три дальние стороны его окружают хлебные поля, а та, где ворота, подступает к самой дороге. Над аркой, у входа высится восьмиконечный крест, снабжённый небольшой «крышей», защищающей от непогоды осиянный образ Казанской Пресвятой Богородицы. Простенькая икона в потускневшем окладе дни и ночи хранит многовековую память о моих односельчанах.

Сколько раз входила я под сень кладбищенских вековых деревьев! Помню: с малых лет крошила здесь, на родные могилы, с бабушкой на Радоницу пасхальный кулич, лакомилась (не задумываясь, что кладбищенская) спелой земляникой в Духов день. Пока бабушка «правила могилочки» я, без страха (одолевало любопытство) успевала облазать меж холмиков и оградок погост, блуждая вдоль и поперёк по чуть приметным, поросшим простенькими цветиками-муравками, тропинкам. Спустя много лет, прочту у Арсения Тарковского:

«Тот жил и умер, та жила
И умерла, и эти жили
И умерли. К одной могиле
Другая плотно прилегла.
Земля – прозрачнее стекла,
И видно в ней, кого убили
И кто убил: на мёртвой пыли
Горит печать добра и зла.
Поверх земли мятутся тени
Сошедших в землю поколений...»

Старое кладбище, времён крепостного права, окружает высокий вал, непролазно поросший простушкой-сиренью. Этими бледно-лиловыми зарослями мир прошлого отгородился от недоступной ему земной жизни. Деревья, посаженные внутри или за оградками, никогда не пилят. Считается, что они священны. Кладбищенские берёзы и ели, дожив до почтенного возраста, умирают сами. Их придают огню тут же, недалеко от входа, подсыпая затем пепел под кусты шиповников и жасминов.

В плотной тишине, нарушаемой лишь цвеньканьем пронырливых синиц, да редким вскаркиванием важных, словно примогильные служки, ворон, беззвучно суетятся, пристроившиеся к кладбищенским законам, шнырькие ящерки. Непривычно стремительно исчезают, наперекор времени, остановившемуся здесь на веки вечные.

Невольно подумаешь: враки это всё, мол, человек – хозяин, наиглавнейший на Земле. По воле Божией приходим мы в этот мир и по его же Всевышней воле покидаем порою опостылевший, и всё же такой любимый белый свет. Каждый в свой роковой час, но обязательно все... без предпочтений.

Среди обычных крестов на нашем погосте то тут, то там встречаются замшелые, древние, с кровелькой – голубцы. Мимо них даже мне, девчонке не из пугливых, было боязно проходить. Казалось, заденешь ненароком покосившийся, поросший мхами-лишайниками крест, и он тут же рухнет, рассыплется в прах, в мельчайшую пыль. А может это и не голубец вовсе, а сама древняя древность. Мало ли чего можно от неё ожидать?!

Кладбище, как истари повелось, показатель поэтического и художественного вкуса народа. И наши предки, и мы украшаем то, что нам дорого. Для меня, может быть, это осталось из детства: погост – таинственный, непостижимый, сказочный мир. И старинный голубец в нём до сих пор не последний персонаж. Может, подкупает очарованием своих самобытно-чистых форм?

Голубец на русском погосте так же органичен, как запах цветущего шиповника, кипенные кусты жасмина, пуговки дикой герани. Сомневаешься в рукотворности позеленевших от времени крестов, настолько ощутима их слитность с праматерью Природой, словно кресты эти старинные – её детища. Как бездонные небеса над верхушками вырвавшихся из зарослей сирени берёзок, как тихоструйная, пескариная Крома, стеснительно прячущая свои воды в прибрежных осоках под Поповкой, как разукрашенные перламутровыми лишайниками камни-валунки у Василёва переезда.

Вероятно, в деревне нашей когда-то жили и старoverы, такой крест-голубец более распространён на их кладбищах. У нас хоронили всех на одном погосте, а потому и крестов каких только на нём не ставили. Бабушка моя по этому поводу говаривала так: «Что ни мужик – то вера, что ни баба – толк».

Давным-давно уж принято считать крест-голубец символом исконно русской культуры, старины. А потому наиболее распространённой формой древних намогильных памятников на Руси являются столбики-голубцы*. В. Даль относил их к древнейшему периоду нашей истории. Происхождение столбцов связывают с языческими идолами, а также с описанным в «Повести временных лет» обычаем хоронить прах умерших после сожжения в урнах на столбах. Так было заведено и у радимичей, и у вятичей, и у криви-

чей дохристианской и раннехристианской Руси. Несмотря на запреты, голубец прочно вошёл в православную культуру в виде креста с двускатным покрытием из двух досок, объединяющим три верхних конца. Порою можно встретить и более сложные сооружения: развитая кровля с охлупнем, причелинами и помещённым в средокрестии объёмным киотом, что напоминает крошечную часовню, а потому об упреках в язычестве не может быть речи.

Всё это я узнала намного позже, а в детстве меня разжигало простое любопытство. Чуть повзрослев, набравшись смелости, я отдирала мхи с поверхности окаменевших тесин, обнаруживала, что они обработаны контурной резьбой. Торцы выкрошились, но порой можно было ещё различить их причудливость. Встречались и круглые, и восьмигранные без убора с длинноскатной кровлей. Они, словно сухопарые седые старцы (до двух метров высотой) возвышались над сровнявшимися с землёй могилами. Порой в верхней части, под кровелькой удавалось обнаружить почти истлевший киот с медным образком, а коли повезёт, то и с частью еле различимого складня. Однажды посчастливилось: в самом центре погоста, пробравшись в заросли крушинника, отыскала почти упавший массивный голбец. На самом верху – крошечная совсем развалившаяся часовенка. Концы тесин – наконечники стрел. А столбик с несколькими перехватами и обильной резьбой: тут и колобки, и верёвочки, и горбыльки, и бусинки.

Я наловчилась очищать голубцы – мхи и лишайники шапками снимались с дубовых тесин, только поддень их острой щепочкой. Резьба разнообразна, но всё-таки вся она сочетала крупные упругие линии и формы с мелкими ритмично чередующимися деталями. Казалось, мастера изошрялись друг перед другом в умении передать особым рисунком характер того, в память о ком ставился памятник. У каждого столбца обнаруживалось своё лицо!

Позже, увлечшись древней историей, я узнала, что многие элементы декора сложились именно тогда, в дохристианской Руси. Например, круглая розетка на причелинах олицетворяла солнце, зубчатый городок – символ плодородия Берегини, а изукрашенное причудливой резьбой «полотенце» под коньком – знак жизненной чистоты. Встречались голубцы, у основания которых – зубчатые линии. Известно, что это – древние водные символы. Цветок над такими линиями – солярный знак – солнце, плывущее ночью по подземной реке. Тесины голубцов окрашивали в небесные цвета, а солярные знаки на них имели ярко жёлтые расцветки.

Придумана эта форма деревянного зодчества давным-давно, и многие традиции, на основе которых она возникла, уже позабыты. Но стоят ещё кое-где на погостах редкостные памятники старины – кресты – голубцы.

Иногда в лесной глуши, в самой её чаще нет-нет, да и встретишь последнего свидетеля невозвратно минувших времён – замшелый крест с часовенкой на кровле, с иконкой покровительницы Руси – Пресвятой Богородицы, с причудливой солярной символикой.

Обнаружишь его, и захочется заглянуть подальше в историю своего народа, узнать, чему он радовался, какие песни пел, отчего кручинился.

По всей Руси расселились наши пращуры. Из года в год кипела и волновалась жизнь по древним поселениям: одни рождались, другие умирали.

В одной хате радость – сын на свет белый народился, в другой – панихи-ду затанули: отошла в мир иной старуха-мать. На деревенском погосте прибавлялся крест, семья ставила вблизи родных могил новый голубец. С тех стародавних времён и считается русской национальной формой надгробия «голубец»: восьмиконечный крест с двускатным покрытием или завершённый резной столбик, на котором укреплен медный крестик.

Помнится, брали мы с бабушкой землянику в дальнем Куманёвом лесу и натолкнулись на стар-голбец. Сели подле него потрапезничать-передохнуть. Сморило меня, уж и задремала, вдруг слышу: то ли поёт бабуля, то ли плачет. Грустно так, будто по близкому стонет, песню прабабкину тянет:

«Со восточной со соронушки
Подымалися да ветры буйныя
Со громами да со гремучими,
С молоньями да со палючими;
Пала, пала с небеси звезда
Всё на батюшкину на могилушку...
Расшиби-ка ты, громова стрела,
Ещё матушку да мать – сыру землю!
Развались-кося ты, мать-земля,
Что на все четыре стороны!
Скройся-ко да гробова доска,
Распахнитеся да белы саваны!
Отвалитесь да ручки белы
От ретива от сердечушка.
Разожмитесь, да уста сахарные.
Обернись-кося, да мой родимый батюшка
Перелётным ты, да ясным соколом,
Да слетай-кося да на сине море,
Да на сине море, да Хвалынское,
Ты обмой-ко, родной мой батюшко,
Со белава лица ржавчину;
Прилети-ко ты, мой батюшко,
На свой ет да на высок терем.
Всё под кутисё* да под окошечко,
Ты послушай-ко, родимый батюшко,
Горе горьких наших песенок».

То ли об ушедших родных печалилась бабушка, то ли выплакала на безымянной лесной могиле разом горечь за всех наших баб. По всем без вести пропавшим, ни за что убиенным, бесследно сгинувшим на безмерных русских просторах за века дремучие, долгие. Как бы то ни было, только и по сей день не могу позабыть той песни, врзалась она с единого раза в мою генетическую память, да так и осела где-то у самых её истоков. Рядом с накопленной за века предками моими вятичами, впитанной с молоком матери, любовью ко всему истинно славянскому.

Вероятно, это кровь древних русичей радостно вскипает во мне и сладостно тоскует по приокским лесным кушам и безбрежным степным просторам, когда в Третьяковке простаиваю я часами в зале Михаила Нестерова. Чуден и многогранен мир этого великого художника, как и прекрасна земля, породившая его. С нескрываемой любовью создавал он ряд женских и мужских образов в традиционных русских одеждах. Широкие сарафаны, белые расшитые сорочки, большие цветастые платы. Героев окружают обыденные предметы. Это и деревянные бадьи, и коромысла, и рубленые колодцы, и ковши, и те же голбцы.

Мне близко понимание, ощущение автором Родины – это не феерический мир знати, а простолюдинная Русь с её лесистыми холмами и ковыльными долами, с бело-розовыми кувшинками в первозданных затоках, с васильковой просинью среди поспевающих хлебов. Русь М. Нестерова такая же, как и моя: то скромно-сдержанная, то сказочно-таинственная. С полотен прямо в душу смотрят её «из простых простые» святые и герои, купцы и крестьяне, монахи и странники – мой родной народ, живущий испокон веку дедовскими заветами, следуя за Христом. Посмотришь на мастерски выписанные древние погосты, на Соловецких пустынников, на застывших, словно вне времени старцев и тут же уверуешь: русский народ – воистину является носителем православной цивилизации.

Каждый раз, приезжая на малую родину, вижу Нестеровские дали, просторные – не объять – небеса. Встречаю лица с его полотен. Здесь, у нас, на наших просёлках, на наших лесных стёжках.

Застала я за Сенькиной околицей последний придорожный голубец в нашей округе. Сказывают деревенские такую был. Пришёл когда-то на ручей Жёлтый пращур мой вятич. Срубил избу, зажил семьей. Только рождались у него в доме одни дочери, не дал Бог наследника. А без него, знамо дело, и семья – не семья. Затосковал мужичок и поставил у тропинки, ведущей в хуторок, обетный крест с треугольной тесовой кровелькой. А через некоторое время понесла его жена тройню. Да все – парни!

Сколько воды утекло в Жёлтом с тех туманных пор, сколько голбцов источило время за хуторской околицей! А тот, последний, остался навсегда в моей памяти. Дубовый, двухметровой высоты. Склонил главу свою на правый бок, словно всматривался в даль: не видать ли откуда врага. Стоял старинный голубец на страже у въезда в деревеньку, охранял Репейный просёлок. А иконка Пресвятой Богородицы из-под кровельки простирала свой благословенный Покров на хаты и пашни, оберегая скудные крестьянские радости.

Выбегая за околицу встретить корову из стада, мы усаживались вблизи голбца, у Сладкого родника. Водича в источнике, по заверениям стариков, была святая. А потому с детства нас приучили обращаться с нею бережно. Напившись из ковшика, что висел тут же на раковом сучке, располагались чуть поодаль.

Вокруг креста носились ласточки, гонялись за мошками, возвращались к ненасытным птенцам, пищавшим в гнезде под самой кровелькой. Гнездышко это никто (даже Лёха Басурман!) никогда не разорял – Божии птички.

Каждой весной дед Федот, деревенский старожил, выползал за околицу собственноручно подкрасить «лазоревой» краской столбец, перекладинку и

кровельные тесинки. Перед работой, прикрыв глаза, долго стоял на коленях у подножия креста. О чём он беседовал с Божьей матерью, никто не ведает. Мало ли накопилось печалей за такую-то долгую жизнь у осиротевшего старика. Поделиться ими особо не с кем, разве что Казанской открыться.

За лето дикий выюн, проскальзывая по волнистым зазубринам и насечкам до самой кровли, густо украшал столбец нежно-розовыми граммафончиками. Дед сдёргивал прошлогоднюю повить и, перекрестившись в последний раз, принимался за работу. Мы, готовые в любую минуту подскочить на подмогу, крутились около. Но Федот, занятый самым важным для него делом в году, не обращал на нас никакого внимания. Да разве мог он доверить мальчикам свою заботу о хutorском хранителе – старинном кресте-голубце?!

Закончив ежегодный ритуал, старик важно кричал, вытирал кисти и руки пучком травы, степенно крестился на образок, говоря каждый раз одну и ту же фразу: «Пресвятая Богородица! Защити нас!» Полагая, что этого достаточно, чтобы обошли стороной беды-несчастья, чтобы весь год над хutorом сияло солнце, за околицей не полёг хлебушек, чтобы велась по подворьям скотинка. А самое главное, чтобы в семьях земляков царили лад да покой.

Детвора к голубцу приближаться остерегалась, но относилась всегда с почтением. Проходя мимо, в луга на сенокос ли, в ближнюю рощицу за ягодкой-малиной ли, родители наши сбавляли ход, кланялись и крестились, а потому и мы, ребята, крестились за ними вслед.

Парни девушкам неподалёку назначали свидания, бабы тайком прибегали сюда поплакаться о своей незадавшейся доле, мужики, как бы ненароком, заглядывали подумать думки крестьянские, попросить Богородицу о защите.

На Троицу и Духов день водили здесь «карогоды», увешивали голбец берёзовыми венками.

Лето пробегало по пыльному просёлку мимо креста за Сычин бор, за Большой лог, догоняя взбалмошных непоседливых касаток. Над золотистым жнивём парила «богородичная пряжа». С первыми морозами на кресте поникала весёлая повилика. И уже не понять, Казанская ли грустит-печалится, или пронирыливая струйка морозящего неделю напролёт дождя пробралась сквозь обветшавшую кровельку и прозрачной слезкой стекает по иконе на ворох ракитовых листьев, нанесённых занудными ветрами к подножию голбца.

Заблудились мы однажды с дедушкой в зимнее ненастье. Конь из сил выбился, ветер крепчал, впереди – ни зги. И вдруг, прямо перед нами – голбец, наклонился, почти из сугроба не видать, тесинку от кровельки оторвало, закружило, в поле понесло. Крест промёрз, закалянел, аж звенит. Но держится, стоит! Службу свою праведную несёт. Как мы ему обрадовались! Оказывается, два часа водил нас бес вокруг деревни, пока голубец не повстречали. А может, он сам нас отыскал, не дал сгинуть?

А ещё – жил у нас когда-то охотник по кличке Сохатый. Перед тем, как в лес идти, прилажился на околицу, к кресту заглядывать. Положит к подножию с вечера травку «голубец болотный», спозаранку заберёт, приговаривая: «Пойду в лес легко и смело, вернусь с добычей и целый». Травку на груди в мешочке на охоту прихватит. И будет верить, что с ней, с травкой этой освящённой, никакой зверь его не тронет.

В семье моей всегда почитался праздник Воздвижения Креста Господня. Он выпадал на последний день Бабьего лета. Праздник этот постный, а потому, стряпая голубцы с маслятами или рыжиками, бабуля приговаривала: «На Воздвиженье зипун с шубой сдвинется. Воздвиженье – последняя копна в поле движется». Именно в этот день в давние времена ставились обетные придорожные голбцы, водружались кресты на новых храмах. Бабушка рассказывала о том, как на Воздвиженье в былые времена участвовала она девчонкой в крестном ходе вокруг деревни – для ограждения от всякого лиха на круглый год. В каждой хате на стол подавалось блюдо из капусты – голубцы.

Время неустанно бежит вперёд. И вот уже почти совсем незаметны следы нашей родной старины. Грустно... чувствую, как безвозвратно теряются исконно русские понятия. Всё чаще слышу: «Я – гражданин планеты». Обезличивание, обесценивание накопленных столетиями национальных ценностей ни к чему хорошему не приведёт. Потеря генеалогической памяти – страшная прогрессирующая болезнь нашего века. Наверно, оттого так отратно мне нечаянно увидеть у дорог на Орловщине свежесработанные кресты-голубцы с образом Пресвятой Божьей Матери. Потому с великой радостью встретила я и весть о вновь обрётённом моими земляками православном храме во имя преподобного Сергия Радонежского. Церковь-красавица высится на той же горе Поповке, где в зарослях сирени приютился наш древний погост, где хранится «память и грусть моей родины милой». У большака – новый, дубовый, пятиметровый крест-голубец. Смотрю на него и сердце тает, и вспоминаются Бунинские строки:

«В лесу, в горе, родник, живой и звонкий,
Над родником – старинный голубец
С лубочной почерневшею иконкой,
А в роднике берёзовый корец.
Я не люблю, о Русь, твоей несмелой,
Тысячелетней рабской нищеты,
Но этот крест, но этот ковшик белый –
Смиренные, родимые черты!»



* голбец = голубец

* кут – угол в крестьянской избе; Красный угол

СОДЕРЖАНИЕ

Так птицы Божьи поют.....	5
От Рождества до Покрова (Родные запахи).....	10
Колдучиха.....	20
Анисовые туманы.....	23
Райские яблочки.....	25
Леденцы.....	27
Китайские фонарики.....	28
Рой.....	33
Плетень.....	37
Одолень-трава.....	39
Краснотал.....	45
Лесковка.....	62
За час до рассвета.....	65
Рыжик.....	69
Как дед чеснок кабанчика подвалил.....	70
В саду.....	72
Хлопоты кота Потапа.....	74
Пороша.....	79
Три девицы под окном.....	82
Пища богов.....	89
Глашечка.....	91
Поленница.....	96
У бабы Мани (Унесённые ветром).....	98
Невезуха.....	105
Тришка.....	110
Ржаные опёнки.....	118
Весна в лесу.....	123
Старьёвщик.....	126
Родины (Орловская повитуха).....	129
Июньским вечером.....	142
Голубой плёс.....	144
Мартовская лазурь.....	153
От печки.....	155
Заноза.....	160



Рецепт Ньюриной свекрови	163
Сытный месяц	165
Зверь невиданной породы	168
Глупая птица	170
Ключи от весны	172
Пчелиный батька (Мыслитель).....	176
Квас	183
Наследство	187
Поклон просёлку	205
В снегах	208
Илья и Егорка	211
К родным.....	214
Смерть Кондрата	223
На хуторе дальнем	233
Преданья старины глубокой.....	251



Татьяна Грибанова

ЛЕСКОВКА

ДЕРЕВЕНСКИЕ РАССКАЗЫ

Редактор Загородний А.Я.

Художник Грибанова А.А.

Корректор Полякова С.Л.

Издательский Дом «Орлик»

(Орловская литература и книгоиздательство)

Издатель Александр Воробьёв

Лицензия ИД № 00283 от 1 октября 1999 г.,

выдана Министерством Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Заказ № 85. Подписано в печать 15.07.2013 г. Тираж 500 экз.

Отпечатано на полиграфической базе

издателя Александра Воробьёва:

г. Орёл, пер. Новосильский, 1.

Тел.: (4862) 76-17-15, 54-15-48, 48-12-05.

E-mail: zakaz@orlik-id.ru | www.orlik-id.ru